

**Е. Федоров**

**ЖАРЕННЫЙ  
ПЕТУХ**



**Н.КОТРЕЛЕВ (филолог-эссеист):**  
"А по многим, очень многим своим  
характеристикам книга эта / Жаренный  
петух/ более, чем интересна, должна быть  
прочитана и продумана."



**Е. Федоров**

**ЖАРЕННЫЙ**



**ПЕТУХ**

**Л. ТОКМАКОВ**

**(художник):**

“У Андрея Платонова есть пронзительная запись: “Чтобы жить в действительности и терпеть ее, нужно все время представлять в голове что-нибудь выдуманное, недействительное.” В этих грустных словах просматривается ключ к “Жаренному петуху”, удивительной литературной мистерии наших дней... Много можно еще написать о шедевре Федорова.”

**МП «ИТЛАРЬ»  
«CARTE BLANCHE»  
МОСКВА  
1992**

**НЗ4(03)**

**ISBN 5—86661—001—9**

**Федоров Е. Б.**

**«Жареный петух»:** сборник — М.: «Carte Blanche».  
1992.—256 с.

Первая книга известного русского писателя Е. Б. Федорова, лауреата парижской литературной премии им. В. Даля  
Повесть «Жареный петух» публиковалась в журнале «Нева» (9, 1990) и была признана лучшей литературной публикацией года.

#### **Уважаемый читатель!**

**В результате халатности отдельных безответственных сотрудников редакции на страницы книги прокралась досадная опечатка. В аннотации на обороте титульного листа вместо слова «публикация» напечатано «буликация». Редакция приносит свои извинения. Виновные беспощадно наказаны.**

**ТМК РФ**

**© Е. Федоров. 1992**

**© «Carte Blanche» 1992**

*Сейчас очень много пишут о прошлом, и все больше видно, что это — невыполнимо. Смотри по тому, что у него в душе, человек описывает или россыпь гадостей (как бы «правда») или что-то вроде красивого муляжа. Вообще-то, иначе и быть не может, середины здесь нет. Один английский писатель говорит, что если идешь к раю, все прошлое — рай, если не совсем туда — оно ужасно. Дело не в идеализации, а в благодарности. Когда она есть, прошлое обретает черты вечности, когда ее нет — что может быть, кроме тьмы и хаоса. Это — в пределах; а тут, на земле, мы все пытаемся заполнить зазор, написать «как было», и ничего не выходит.*

*Поэтому я не буду и пытаться. Сразу перейду к мифу, которому обязана благодарностью (надо ли еще говорить,*

что «миф» не значит «ложь»?). Тогда, в середине 50-х годов, не было кухонных разговоров, потому что почти не было отдельных квартир. В маленькой Москве, в крохотных комнатах больших коммуналок часами сидели прекрасные люди. Описать их трудно, потому что они слишком прекрасны; ключевым словом здесь будет «свобода». Наверное, ключевое оно вообще для пятидесятых годов. Примерно треть этих людей только что вернулись из лагеря — Григорий Соломонович Померанц, Илья, Кузьма, Женя Федоров (это — не все, а те, кто собирался в самой маленькой комнатке в 3-ем Зачатьевском). Красота и свобода воплощались в Ирине Игнатьевне Муравьевой, которой посвящена повесть «Жареный петух», и были так сильны, что если этим заняться, то к ним можно будет возвести и трогательное противостояние 60-х, и то, что потом назвали «сокровищами семидесятых», и даже то, что еще откроется в наших внуках. Хорошо бы написать про Ирину Игнатьевну музыку или стихи, но я не умею; будем ждать, кто-нибудь напишет. Здесь надо остановиться, проза это не берет — даже такие вполне законные попытки, как у Фриды Вигдоровой, близкой ее подруги, и у Григория Соломоновича Померанца, ее мужа, сейчас же оказались оспоренными: «было совсем не так», «она совсем не такая». Вот и выходит, что остается — символ, образ, миф, попытка проецировать вечность на плоскость этого мира.

Как-то в пятьдесят восьмом году мы с ней обсуждали, кто какой цветок. Напротив их домика росли легкие цветы вроде ромашек, розовые и белые, и она предположила, что вот это — она. И верно, простота и красота были такие же, и сама легкость; но все-таки тогда остановились на розе, обыкновенной, толстой, круглой и розовой. Рядом была кафкианская чернота, мы видели ее, очень страдали, но спасали нас даже не разговоры, а вот это — старинная детская книжка наяву. Может быть, и правда самым сильным противостоянием были попытки жить не только по-человечески, но по-детски, по-райски? Рядом с этим — хотя, наверное, не в этом — набирали силу взрослая свобода писателя Федорова, священника Шмайна, философа Померанца и многих других людей.

Н. Трауберг

# ЖАРЕННЫЙ ПЕТИХ

Ф. ИСКАНДЕР (писатель):

«Жаренный петух» Федорова — один из самых лучших лагерных романов нашей литературы. Стилистическое совершенство, гибкость языка, юмор, внутренняя свобода — все это доставляет при чтении огромное удовольствие. Пожалуй, это единственная книга, которую на сегодняшний день можно поставить рядом с «Факультетом ненужных вещей» Домбровского.»

*Посвящается светлой памяти  
Ирины Игнатьевны Муравьевой*

## ДВЕНАДЦАТЬ

Не лепо ли ны бяшеть, братие, подвигнуться и взяться за обстоятельное слово об Александре Сергеевиче Краснове (да, вы не ошиблись: о том самом, ныне легендарном, почти легендарном), воссоздать хотя бы годы его славного, трудного, кощеева жития на комендантском ОЛПе Каргопольлага, которые целиком и огулом выпали из поля рассмотрения дошлых современных Боянов (у Померанца ни слова; поразительно, если знать, что они на одном ОЛПе пребывали, да и позднее энергично знали, общались в период Ирины Игнатьевны). О житие Краснова на ОЛПе-2 я непосредственно и капитально осведомлен, не хуже, чем кто-либо: вдумчивый, внимательный, честный, истинный свидетель. Вообще-то с Красновым я водился не одну тысячу лет, съел

с ним пуд соли, вылакал добрую цистерну водки — словом, мы накоротке, можно храбро сказать, что мы старые, закадычные, большие друзья, хотя есть мненьице, что нет положительно ничего более странного и загадочного, чем эта перманентная, не подверженная ржавлению дружба: так несхожи дружбующие. Друзья, как не раз говаривал мой замечательный учитель Андрей Андреевич Губер, цитируя кого-то из тех античных, не то Сципиона Африканского, не то Гая Лелия, суть «лучшее украшение жизни». Так-то думали справедливые римляне. А в конечном итоге о дружбе здорово и знаменательно высказался Цицерон: «Бессмертные боги, пожалуй, за исключением мудрости, ничего лучшего людям не дали». А как ярко, проникновенно, сиротски трогательно и романтично пел о дружбе наш бесценный горячо любимый Пушкин. «Я слышу вновь...» В стихах это изумительно! Как жаль, что Пушкин, в отличие от Шекспира, совершенно не переводим на другие языки, человечество обречено на непонимание нас, русских: чего это мы носимся с этим поэтом как с писаной торбой? Расточаем медоточивые речи. Какие основания считать, что после Бога Пушкин величайший творец? Вот и я, стало быть, горжусь своею дружбою с Красновым. В то дальнее, допотопное времечко, когда мы только что осторожно обнюхались, свели первое знакомство, — эх, беспардонно давно же это было, сколько воды в Москва-реке утекло с тех пор! Конец 1947 года — вот когда мы познакомились. К повести о той поре я и приступаю. Если говорить начистоту и нараспашку, то приступаю с подлинной робостью, с умозрительной дрожью в коленках, с нерешительностью, которая вообще-то не свойственна мне: я чужд всех этих «быть или не быть», «иметь или не иметь». Конечно, быть! Конечно, иметь! Отнюдь не потому в душе моей мерехлюндии и гамлетизмы, что тогдашнее, отшумевшее, историческое времечко было довольно трудное, прискорбное, охота на ведьм, анафемное (что было, то было, — любил говаривать Губер, — из песни слова не выкинешь). Дело в том, что я сам жил в эти годы, у меня своя, независимая, пусть и маленькая колокольня, с которой я вижу все по-своему, без прикрас, без шор, не по шаблону, не так, как другие, как принято. Я открываю рот — мною недовольны и справа, и слева. Ни с кем в ногу не попадаю. Не легко и не просто взять да и пойти против общего непререкаемого течения, «начати же ся той песни по былинам сего времени, а не по замыслению Бояню». Ой, не легко! Я отнюдь не Геракл, не Ахиллес, даже не Савонарола, не протопоп Аввакум. Очень даже мне не по себе, когда думаю, что буду косо и криво затолмачен новоиспеченными,



борзыми Боянами, гордыми, оголтелыми, дерзающими, дерзкими, дерзновенными. А я страшусь смелой, критически мыслящей, но в те годы дальние не жившей молодежи. Не мне переть, как грубый танк, наперекор труб времени. Ой, не мне! Ой, рискую! Как муху раздавят. Пятая лагерная заповедь громко гремит: ..! Что в переводе с русского на стерильно литературный значит: не мочись против ветра!

Все вдруг мгновенно прозрели, заскакали романтической резвой белкою по дереву, «серым волком по земле, шизовым орлом под облакы», запели Окуджаву, Высоцкого, Галича. А мне как быть? Подпевать?

Мы с Красновым, собственно говоря, сверстники, одноклассники. Из яйца вылупились в один день, 12 декабря. Вообразите себе, случилось это знаменательное происшествие в одном и том же роддоме столицы нашей родины Москвы, кажется (сейчас уже не проверишь), в одной палате. Нас даже могли — хе-хе! — запросто, невзначай перепутать. Такие случаи бывают, не редки: нянечки сонные, опустошенные однообразной работой, изнуренные, усталые. Они смотрят на такие вещи философски. Не все ли равно! Родились мы под одной звездой, но наши характеры, жизненные пути круто разнятся, и заметно это невооруженным глазом. Мы очень разные. В наше время опять вошли в повальную моду всякие японские, тибетские календари, астрологии, суеверия. Интеллигенция увлеклась сказкою, уверовала, что небо и мерцающие, вечные, прекрасные звезды оказывают роковое, пагубное влияние на земные дела. Все то, что в старину называлось фортуной-индейкой, судьбою, жребием, счастливым или несчастливым, все то, чем у греков испокон заведовали могучие мойры (у римлян — парки), которые, как сказал поэт, «плетут нить бытия роковую»: Лахесис, «дающая жизнь», Клото, «прядущая», Атропос, «неотвратимая», — все зависит от звезд, луны, неба, может быть, исчислено, подсчитано, предсказано с помощью гороскопов. Приведу любопытнейшую историю, которую слышал от своего любимого, мудрого учителя, Губера. Дело было, поди, в 3-м веке нашей эры (уточнять неохота, некогда, незачем: не все ли равно, 3-й век или там 5-й). Один ушлый римский патриций решил, что вера не должна расходиться с делом, согласовал и рассчитал, не валяя дурака, свой брак с данными гороскопа незесты, а именно: женился на бойкой, умной, страстной девице, гороскоп которой предсказывал брак с императором. Как? Хорош гусь? Читатель будет смеяться, когда узнает, что вскоре он потянул одеяло на себя, захватил власть, разбил наголову противников, был провозглашен императором. Это небезызвестный Септимий Север, счастливчик, хронический

удачник. О нем с почтением говорится в учебнике Машкина, по которому я сдавал историю Рима. Его жена — трепетная Юлия Домна: императрица, мать императора Каракаллы, покровительница литературы, философии. Блок о Септимии Севере: «Была бы на то моя воля, просидел бы всю жизнь в Сеттиньяно, у выветрившегося камня Септимия Севера». Анекдотик о ловком, энергичном римлянце, конечно, примечателен, но, на мой взгляд, ровно ничего не доказывает. Ничуть не больше, чем милый французский фильмик «Фанфан-Тюльпан», с Жераром Филиппом в главной роли. Так считаю я, а вы, читатель со мною можете не согласиться. Как угодно. Я — человек старой закваски: ни на йоту не верю в приливы-отливы морей и бескрайних океанов, в действие на расстоянии, в то, что проказница Луна вызывает и определяет менструальный цикл милых девочек, не верю в гороскопы, биоритмы, иглоукалывание, содружества и гневные, ревнивые раздоры планет. Чужды мне эти дикарские, пошлые забавы. Такой уж я человек. А тем, кто всерьез в это играет, надо в ноздри продеть кольцо, водить их по улицам, показывать. Но если попытаться быть до конца честным, то придется сознаться, что было такое время (последние дни во Внутренней тюрьме, в воронке, в столыпинке, на верхних нарах вагонки, в карантине), когда мне порою, сознаюсь, сквозь тусклую, туманную даль мерещилось, что моя неразлей-вода с Красновым не случайна, а форменно судьбоносна, что мы, горемыки, связаны, повязаны, неразлучны, как несчастные сиамские уродцы. Притом именно по жребию рождения: будь проклята цифра 12! День рождения — 12 декабря, арестованы в один день, 12-го, месяц ноябрь, сидим, в 12-й камере, наши дела жалуется вниманием, распутывает майор ГБ, Кононов, в один день, 12 июля, нам зачитают решение Особого совещания, засим 12 августа утрამбуют в воронке, завезут на Северный вокзал, воспетый Магалифом. Кругом, куда ни плюнь, 12. А вот и Каргопольлаг, легендарный, несокрушимый ОЛП-2, комендантский. Астрология сплошь и на всех парах. «Неспроста, — задавал я себе вопросик, — или пустая, тупая, глупая, бессмысленная игра случая?» Никто нам с вами, читатель, на этот вопрос никогда не ответит.

Стало быть, знаком я с Красновым хоть и не со времен Трояновых, но давненько (сравнительно с другими): познакомились во Внутренней тюрьме МГБ еще в юном, нежном возрасте, про который в вечной, прекрасной Илиаде очень ладно по случаю говорится: «Первой брадою окутанному, коего младость прелестна» (Гнедич; неплох перевод, но мне нравится другой: «С первым пушком на губах — прелестный

юности возраст»). Нам еще нет двадцати, скоро стукнет, брякнет. Сосунки еще мы, но сосунками себя вовсе не чувствуем. Пролетят годы, Краснов позволит себе надсадную, ходульную, вымученную остроту (вынужден согласиться с прекрасной полячкою Иреной, лагерной пассивей Краснова: с юмором у Саши нелады):

— Наша дружба, как проспект Маркса, берет начало с Лубянки.

Читатель, случилось ли вам сидеть на Лубянке, будь она трижды неладна и проклята? Ой, не приведи Бог!

1947 год, еще прямые последствия войны, ее длинные, темные тени тянутся и тянутся, еще карточная система. Еще наша семья досыта не наедалась!

Нет, читатель, вы не нюхали Лубянки!

Нужно ли растекаться мыслью по древу, вталдычивать, что впечатленьице не из самых приятных. Грубо говоря — не сахар, не идиллия. Ой, из рук вон не сахар и не мед. Не разлюли малина. Все, кто оказался в нашей прославленной на весь мир, гостеприимной тюрьме, потрясены, поражены, повержены. Кремневым резцом оставила тюрьма заметный след, и это на всю жизнь. Одного моего знакомца жарче всего проняло, что во время шмона ему пришлось разоблачаться до Адама, — «Нагнись!» — обидно-постыдным образом заглядывали в задницу! Наверно, бывали случаи, что и в задницу что-нибудь ныкали, бритву к примеру. А что вы думаете? На что только не способна подлая, мерзкая, бессмертная контра! Другой просвещенный интеллигент был враз, окончательно и бесповоротно скувырнут с панталыка, и все потому, что при приеме в тюрьму его гениальную голову заботливо, тщательно, немилосердно обработали машинкой. предельно наголо разделали, как говорится, «под ноль». Ведь каждого дурачину и лопуха Ваньку-новобранца бреют при призыве в армию. Всем и каждому очевидно, что сие делается для нашей же общей пользы: чтобы не обовшивел наш брат. Так-то так, но вот для слабонервного, неврастеничного интеллигента с незабудками в душе эта суровая, общеобязательная процедура оказалась не по силам, сломала волю, попраля душу, и мой знакомый подписал все, что ему ловкая каналья следовательно деловито подsunул. После незабудочка «рвала на себе волосы» (рвал бы что есть мочи, если бы они не были сняты!). Посягнуть на гриву интеллигента — преступление. Если кто спросит: почему? Ответим вопром на вопрос: если священника машинкой обрить, неужели в этом не увидите вы измывательства, кощунства? Дело в том, несведущий читатель, что для настоящего интеллектуала — Эйнштейна, Гёделя, Кузьмы — гус-

тая, мощная грива является, можно смело сказать, тем же самым, чем и для библейского Самсона (Чис. 6. 5.; Суд 16. 19.), чем для сказочного Карлы Черномора борода! Со мной в камере сидели двое вояк, фронтовики, власовцы (они-то себя называли: РОА), так они и в толк взять не могли, почему интеллипуны так переживают потерю волос. С их точки зрения, потерявши голову по волосам не плачут. А еще я дружил с одним большим чудаком, который на всю жизнь ушиблен тем, что у его ботинок обкорнали шнурки. Укоротили, чтобы случаем чего не повесился в камере. Подследственный склонен к самоубийству — известно. У меня, кстати, тоже так укоротили, обрезали, что стало проблемой зашнуровать, закрепить, чтобы не спадали с ног мои тяжелые, солдатские, гренадерские, неснашиваемые, заморские ботинки. Откуда такие у меня? И следствие интересовалось, протокольчик составлен. Посылочка. Но это особый вопрос, помалкиваю. Так вот, у человека обкорнали шнурки — пустяк, скажет читатель, сущий невероятный пустяк, забыть и не помнить. Сколько лет с той поры минуло (ежовщина, до войны!) — глаза моего друга полны диким, фанатическим блеском, словно он слышит шаги командора, видит жестокого ангела смерти, летящего к нему на безрадостное, неминуемое роковое свидание: — Хабеас Корпус! Почему они это делали? Зачем, объясните? Это никому не нужно, бесполезно, бессмысленно, подло! А затем, чтобы вас унижить! Чтобы в порошок стереть мое «я»! Чтобы обесчестить! Моя-то психика была устойчива к подобным казусам. Я-то, как и эти двое фронтовиков, что называли себя РОА, даже не заметил всех этих унижительных процедур и проделок. Наивно считал, что все так и надо, по темноте своей не понял, что процедура приема в тюрьму должна меня оскорбить и унижить. Мне повезло со следователем. Я не собираюсь уверять вас, читатель, что мне попался приличный, хороший человек. Нет, я вовсе не рвусь превозносить до небес Кононова, не утверждаю, что он был большой добряк. Кому, как не мне, знать, что он за фрукт. Да и Краснов, и Бирон, и ребята, что сидели по делу Кузьмы, и Славка не только о нем доброго слова не сказали, но, уверен, встретить на узенькой дорожке, несдобровать бы Кононову. Так. Но у меня, повторяю, своя колокольня, своя подворотня, своя экологическая ниша. Да поставь вас, читатель, на место Кононова, неизвестно, каким вы были бы. У следователя работа такая. Все мы не свободны, винтики большого механизма, называемого жизнь. Чистейшее заблуждение, что можно жить в обществе и не зависеть от него. Жизнь выше этики, выше логики, выше всех прокрустовых Кантов: она не укладывается в прокрустово ложе категорических импера-

тивов. Поставлю сразу все точки над «і». Тяжких, нечестивых у меня было два допроса. Первые, разумеется. А если вообще честно, то один. На первом допросе следователь ревился, срывался, как с цепи, сущий дьявол, хоть без копыт, бурно угрожал. Естественно, матюгался. А то как же? Руки у него были сильные, кулаки, как у болгарского вождя Димитрова (в скульптуре), грохал по столу, дрючил. Тяжко, ночной допрос. Не отрицаю. Сгноить обещал. Обещал, что живым я не выйду. Статья-то у меня какая — 58-1, А. Это значит: измена родине. Я не запирался, разговорчики все признал на первом допросе. Объяснил, почему была из Америки посылка. Нынче читателю многое непонятно, но все, кто сидел со мною в подследственной тюрьме, не запирались, не фордыбачили, не выкручивались: шли навстречу следствию. Точь-в-точь, как в «Приглашении на казнь». Так было, хотя некоторые считают, что так не могло быть, что это ни в какие ворота не лезет. Дух эпохи. Тогда никто не петушился. Я никого не собираюсь судить. Не судите, да не судимы будете. Читатель, надо жить в дивном союзе с жизнью и не предъявлять прошлым эпохам брандовских, кантовских удручающих непомерных императивов. Мой друг Коган любит говорить: *Deus caritatis*. Что означает: Бог милостив! Отлично сказано. Хочу и Кузьму припомнить, его золотые слова: если хочешь, не терпится сказать о ком-нибудь плохо, скажи о себе! На втором допросе мне переквалифицировали статью с 58-1, А на 58-10. Не вредно знать и помнить, что все, что мне инкриминировалось следствием, так и было, я действительно все это говорил. Пойман за руку, с поличным. Никуда не денешься. При свидетелях говорилось, на факультете. Начиная со второго допроса все пошло гладко, сносно. Не в счет мелкие размолвки, они и в счастливой семье бывают. Эко диво: легкие трения. А допросы теперь днем. мирно, без сукинсыства, без хулиганства. Я не раз пособлял следователю готовиться к семинару по истории партии, толково обучал хитрым мнемоническим приемам, широко распространенным в студенческой среде, но неизвестных в МГБ. Уверен, никогда не забудет Кононов, кто входил в «Группу освобождения труда»! В те послевоенные годы поголовно все взрослое население нашей великой державы, включая, естественно, и авторитетных сотрудников аппарата ГБ, рьяно, неутомимо, оголтело штурмовало «Краткий курс». Когда дело доходило до знаменитой 4-й главы — стоном стонала страна, включая служащих МГБ. Сложнейшая глава. Не по зубам простому человеку диалектика. Еще должен сознаться, а предпочел бы опустить, что Кононов разрешил мне получить из дома передачу, набузованную яствами. Факт.

И какой факт! Свалилось счастье, как тучная манна небесная — к новому году, году 1948. Успел уже зверски изголодаться на тюремных харчах, спал с тела, а мне к этому времени исполнилось двадцать годков, организм растет еще, ой как организму треба жиры получать! Чертовски жрать хочется. Без долгих размышлений и разговоров я набросился на передачу. Как троглодит. Ложка засверкала. Лакомый горох в сале *sim commento*. Читатель, мел ли ты когда-нибудь натошак с голодухи горох в сале, приготовленный *sim commento*? Пальчики оближешь! Пир на весь мир. Пир горой. Гей, славяне! Боже, что потом было! Стыдобушка рассказывать. Благо, дело давнее, маленьким еще был. Оскандалился, осрамился, окончательно опозорился, бесповоротно. Начались, не приведи Господь, дикие схватки и рези в животе, словно налопался толченого стекла. Криком скорбным, диким кричал, выл надрывно так, что поди на всю Москву, а уж во всяком случае в Кремле было слышно, благо близко. Загибался. Сокамерники мигом усекли что к чему, вызвали тюремную медицину. Заявились эти в белых халатах. меня раз-два и — на носилки, понесли. Куриный переполох, суматоха вокруг меня, как это бывает при отравлениях и на воле. Наш дежурный тюремный Гиппократ реагировал решительно, смело, профессионально, безошибочно. Промывание желудка. Спас мне, дурню, жизнь. Ассортиментная с преобладанием гороха и сала, собранная мамой, папой, женою передача не пошла впрок. Очень даже жаль. После этой глупейшей, нелепейшей, раблезианской позорнейшей истории я делаю притчей во языцех. Обо мне каким-то неведомым образом узнает вся тюрьма. А в камере смеху-то было! И не только в двенадцатой камере, подчеркиваю. Шумаков, начальник нашего следственного, доложил своему начальнику, тот своему и так далее, доложили Абакумову; эта обидная история докатилась в высшие инстанции, до самого Сталина дошла. Товарищ Сталин был в добродушном расположении духа. Говорят, очень смеялся. Говорят, все головой качал. Надо же! В стране голод, коров в колхозах на зиму подвешивают на ремнях, чтобы они, дистрофики, не падали, а тут, под боком, на Лубянке, контрики и вражата обжираются горохом в сале до заворота кишок! Спасай их, обормотов, затем! Не готов утверждать, что моя печальная, плачевная история действительно дошла до Сталина. Не проверишь. Кононов мог запросто и сбрехнуть. Не все ли равно. Мели, Емеля, — твоя неделя. Хейфиц, сокамерник, сидевший с двадцатого года в лагерях и тюрьмах, и тогда считал, что Кононов пустое брешет. После моей беды продуктовые передачи с воли были запрещены (возобновились уже после 5 марта 1953 го-

да). Швах. Никто больше ничего не получал. Вскоре, говорят, открылся скудный тюремный ларек. Эх, вот бы рассказать эту историю с передачей и заворотом кишек Шаламову, обзился бы старик, позеленел бы весь, не на шутку бы завелся, замахал бы конвульсивно руками, затопал бы ногами, как Бармалей. Проклял бы. Шуганул бы на хутор бабочек ловить к Набокову, дуropolis и воинственное эстетство которого терпеть не мог, а то и куда подальше послал бы. «Колымские рассказы»! Потрясающий, душераздирающий рассказ «Индивидуальный надел». А я о чем рассказываю? Обжираловка в тюрьме, добродушный смех товарища Сталина! А все было!

Взялся с испанской храбростью за гуж повествования о славном друге Краснове, а сползаю к безостановочному разглагольствованию о собственной персоне, о передаче, которую я ухайдакал, как последний дурак. А что, читатель, если на досуге подумать крепко, хорошенько, может, есть резон в том, что сначала я представляюсь, расскажу о себе. Будет очевидно, с какой колокольни я смотрю на мир. Все относительно. Эйнштейн кругом. Еще мои славные греки знали, что человек есть мера всех вещей, что нет абсолютных, незыблемых, вечных истин, что все зависит от точки зрения, от освещения, от подсвета. Без предварительных сведений о себе и вообще о моем незадачливом поколении, у которого голодные, вшивые детство-отрочество и послевоенная беспорочная юность, картина непонятна. Мерзли руки, мерзли ноги, в школьных классах замерзали чернила. В три смены учились. Карточки, бесконечные разговоры о калорийности, жирах, витаминах. Отцов на войне поубивали. И вообще мы несчастные сукины дети! Хочешь — не хочешь, а об этом следует свидетельствовать. Без подобных штрихов о моем поколении многое, что я пытаюсь рассказать, будет видаться глупым, придуманным, беспросветно вымороченным, преувеличенным, насквозь карикатурным. Впрочем, я вовсе не готов в сей момент отдернуть завесу над историческим прошлым, а лишь слегка. По складу характера я склонен к сдержанности, вежливости, к сглаживанию углов. По свойству природы я тяготею к нежным компромиссам, к оппортунизму, к худому миру вместо доброй ссоры. Не смутьян, не борец. Болото. «Таков мой организм» (Пушкин). Но, разумеется, всему есть граница. И если дважды два — четыре, то четыре, никуда не погрешь. Для примера. Никто не бил на следствии меня смертным боем. И, если свои показания я дал не под жестокими, непереносимыми пытками, с какой стати мне безбожно брехать. Я, заметьте, отнюдь не намерен свидетельствовать, что никого не били. Полагаю, что били. Говорят, били. В ми-

лиции, говорят (сам не попадал), и сейчас лупят направо и налево. Но я избег мордобития и других пыток. Не имею к следствию особых претензий. Все, чем набиты компроматы, что записано в протоколах допросов, суцая правда. Еще маленькая, но удручающая, важная подробность, о которой свидетельствую: и тех, с кем довелось мне сидеть в 12-й камере Внутренней тюрьмы МГБ, не били. Не били моего друга Краснова, вам уже представленного, не били Хейфица, не били даже власовцев (а чего пытаться власовцев? Они не отрицали что были в РОА). Конечно, следователь с нами, политическими преступниками, не в бирюльки играл. Суровые, тягостные, со строгостью ночные допросы. Что греха таить, знатные допросы, серьезные. Но дело не в этом. Мы сами все начистоту рассказывали следователю. Сами доились. А нагло, наглухо запираяться считалось дурным тоном. Может, власовцы думали и иначе, но они помалкивали в тряпочку. Меня никто не запутывал, не обводил вокруг пальца. Дух времени. Дух эпохи. Наше поколение под следствием — загадка для психологов. Может, читатель испытывает досаду, горький стыд за таких слабых, малодушных, ничтожных людейшек, как обитатели 12-й камеры? Но — увы! — так было. Уверен, что если бы и вы, бесстрашный читатель, не в обиду будет сказано, сидели с нами в те годы, вы вели бы себя так же. Я что-то мало встречал дон кихотов. Не думай о нас высоко, читатель. Баста, точка на этом.

Для пушечего разбора и раскрутки следует начать, как говаривали древние греки, с яйца, то бишь с рассказа о семье, родителей. С прозы начну. Как бы вам, читатель, лучше внушить: все тоскливо, скромно, заштатно, обычно, беспробудно, заурадно. Отец, представляете, школьный учитель, а мать учительница. Отец вел математику в старших классах, носил баки, смехотворные, сидящие баки, вообще внешностью сильно смахивал на обрюзгшего, малоопрятного, малогиеничного, состарившегося Пушкина: плюгав, хмырист, неказист, тонкие, рахитичные ножки, сомнамбулическая, порхающая походочка, тонкие, изящные, не очень сильные руки, холеный длиннуший ноготь на левой руке (кажется, у Пушкина такой же ноготь, но то романтическая эпоха, чудили поголовно все), на правой руке перстень, опять как у Пушкина (обручальные кольца в тридцатые — сороковые годы не носили, считалось — фи, мещанство), грудь колесом, надменно вздернута голова, опять же нелепые, неуместные, смешные бакенбарды! Кто в наше время носит бакенбарды? Большой оригинал. Если что-то и было, за что можно относиться с известным уважением к такому странному экспонату, как мой отец, так это лишь за то, что несчастных, ни в чем



не повинных деток он мучил не по Киселеву, как было принято и положено, как учили все прочие нормальные люди, кто не выдрючивался, а по какой-то своей прескучной системе: свой курс геометрии у него был. Отец страстно грезил издать этот курс, превратить в стабильный учебник и через это выпорхнуть, взбежать на тонких, рахитичных ножках на пьедестал. К нему не зарастет народная тропа! Стабильный учебник — немало. Кому-то придется снять шляпу. Киселев где-то когда-то сказал: «Вся Россия мои ученики». Отец корпел над курсом геометрии всю жизнь, вечерами, выходными, в редкие праздники, не разгибал спины, перепыхивал, переписывал, множил, плодил варианты, циклился, опять начинал от печки. Веленью Божию, о, муза, будь послушна. Напомню читателю, что муз девять, что муза Урания занимается геометрией, астрономией, изображается с циркулем. Не мне решать, каким отец был геометром, плох или хорош его учебник, знаю, что ученики его изрядно недолюбливали, прозвали зло, метко, ворошиловский выстрел, не в бровь, а в глаз: «Сухайдр!» Ретроспективится, отец практически все время хандрил, хворал, раздражался по пустякам, эгоцентриничал, беленился, на стенку лез, доводил себя до белого каления, раздувал из мухи слона. Скверный, тяжелый характер. Грандиозный скандал, и из-за чего? Мать ненароком взяла его зубную пасту, свернула резьбу тюбика. Зубная паста была не наша, а импортная, американская, присланная в посылке из-за океана. Почему, как получили мы посылку — целая, отдельная история. Все время отца тянуло на брутальные скандалы с матерью. Сумасшедший дом. Он страдал желудком. Вечные, одолевающие, хронические, ничем не устранимые изжоги, рвоты. Чуть что по нечаянности забудется, съест — все обратно, бежит в нужник (теперь это помещение называется санузел), затем со вселенским отвращением глотает питьевую соду, растворенную в стакане воды (не дай Бог, кто-нибудь возьмет его стакан, не поставит на место! Крику будет на весь мир), — и при этом делает такое лицо, что и меня начинает мутить. Сидел на жесткой диете. Того нельзя, этого вовсе нельзя и думать. Замучил маму неукротимой маятой и привередливостью. Это нынче живем счастливо, просто, как в песне: «чай не пьем без сухарей, не живем без сдобного...», а тогда, сами поди догадались, какво было: ой-ой! Одно слово, страшное слово: карточки. Я хочу сказать, что через рынок питаться — никаких денег не хватит, Рокфеллером надо быть. Мама была моложе отца на целых двенадцать лет, прямо как Наталья Николаевна у Пушкина. Мать — другой характер, легкий, бойкий, заводной, легкомысленный, бесшабашный, безалаберный, куражный. На

зависть необидчива. Она могла на свой милый манер с юмором, беззаботно лепетать, как ловко ее унасекомили злыдни-ученики, подъялдыкнули, задали вопросик, чем отличается женская рифма от мужской, а она, конечно, начисто не знала, что-то с ходу и немедля наврала. У мамы милая, светлая улыбка, обезьяньи подвижное лицо. Смешлива, словоохотлива. Укатали Сивку крутые горки. Годы войны измочалили родителей, волосики поредели, побелели. Устали, раздавлены бытом, апатичны, аполитичны. Среднеинтеллигентская, обыкновенная семейка. Впрочем, мой придирчивый и шибко принципиальный читатель, если вы строги, пуристки щепетильны, можете смело относить моих родителей к полуинтеллигенции. Я-то сам стал рано относиться чрезмерно и немилосердно критически к матери и отцу. Гамлет, принц датский, сын покойного и племянник царствующего короля: «О, мои прозрения!» Не знаю, решусь ли о тайне поведать. А если и решусь, то не вдруг, а с большого разбега. Продолжаю о родителях. О быте, о красноречивых мелочах. Пусть читатель сперва представит нашу преогромную, нелепую, несуразную комнату: тридцать девять квадратных метров, непомерная высота потолка, поднебесье. Вся жизнь в этой дурацкой комнате. Тюлевые безвкусные занавески на окнах, во всю мощь на окне пылает, полыхает отменная герань. В кадке помпезный фикус, как в гостинице. И клетка, в которой безмозглая канарейка щебечет непрестанно, громко, глупо. Можете ли вы, читатель, вообразить, чтобы у Маяковского в комнате стоял фикус, щебетала канарейка? А я все детство, отрочество, юность бредил Маяковским, видел в нем идеал и норму недосягаемого образца. Зачем нам эта безмозглая, мещанская, глупая птаха? Маяковский и пошлая, поистине непереносимая, филистерская, мещанская птичка-невеличка — две вещи несовместные, как гений и злодейство. Канарейка, недостойный тошнотворный фикус — ходульные символы глобальной, вселенской, кафолической смертельно-штопорной заземленности. Все не так, как у людей. Нашу семью, как говорится, посетил Бог. Я — в лагере. У отца — рак. Рак — синоним смерти. Умер. Царствие ему небесное, вечное. Жаль мать. Но я забегаю вперед. Уже упоминал, что я рано перерос тяжелые, болью давящие кандалы родства. Отец меня не понимал и не хотел понять. Общее место, трюизм. Родители не понимают детей, дети родителей. Учителя не понимают учеников. Аристотель не понял Александра Македонского, брюзжал. Мой отец бурно недоумевал, зачем я, непутевый, послушник, дерзнул избрать специальностью искусствоведение, пошел на филфак, а не топаю по его проторенной дорожке, не посвящаю свою жизнь

науке наук, геометрии? Отец откровенно презирал всех, кто пренебрег геометрией. А кто такой искусствовед? Что за профессия? Почему между картиной и зрителем должен быть объясняющий посредник, как между небом и землей? Поручитель, посредник, интерпретатор, Стасов. Зачем они? Безусловно, я могу ответить, что Стасов вовсе не искусствовед, а критик, на редкость одержимый, ураганный направлонец, но я не желаю вступать в бесполезные, бесплодные, утомительные, никому не нужные дискуссии — терпеливо выслушиваю длинные нотации, углы осторожно сглаживаю, но поступаю по-своему, самостоятельно. Конечно, если бы пришлось начинать жизнь сначала, я бы не стал искусствоведом, а пошел бы на классическое отделение филфака, занимался бы древними языками, к которым у меня и способности, и склонность. И кто сейчас на кафедре? Мне учиться на искусствоведческом отделении было интересно, а это сильный плюс в пользу выбранной профессии. А дальше? Кем стану, когда закончу, не задумывался серьезно. Эхма, а какие славные преподаватели были у нас на кафедре! Сливки, деликатесные сливки. Редкостные интеллектуалы. Почтенный, влиятельный вещевик Федоров-Давыдов, бесподобный Колпинский, Недошивин, великий эрудит Губер. Нам, тем, кто учился на искусствоведческом отделении в сороковые годы, можно лишь позавидовать! Если бы вы, читатель, знали, как остро, непередаваемо увлекательно читал Губер культуру древней Греции. Заслушаешься. Тысяча и одна ночь. Всем я обязан ему. Губер увлек меня античностью. А Колпинский — бог, Златоуст. Прости, читатель, мой романтический всхлип: «Были люди в наше время!». Сейчас не то. Выродились. Нет таких преподавателей и не может быть, измельчали, испоганились. Что же я мог возразить отцу в свое оправдание? Жар холодных чисел — претит, увольте хоть без выходного пособия. Не моя свободная стихия, не для моего серого вещества. Разговор на эту тему скучен, как осенний дождь, беспочвен, беспредметен. Я глух, как стенка. Не пойду на мехмат ни за какие коврижки. Точка. Объяснять отцу я ничего не собирался. Почему дети непременно должны беспрекословно, послушно, безапелляционно идти по стопам своих неудачников-родителей? Мой отец так и не завершил свой скорбный труд, не издал учебник. Адски завидовал Киселеву, Гурвичу, немилосердно честил их на всех перекрестках и почему зря: проныры, ловкачи, карьеристы! Особенно Гурвичу доставалось, который по возрасту был ближе к отцу. Киселев-то принадлежал к старшему поколению, дореволюционная штучка. Не знаю, чей курс геометрии стройнее, чище, последовательнее. Не могу судить. Не копенгаген. Отцу

не посчастливилось изловить фортуна за хвост, не повезло издать многолетнюю писанину, как стабильный школьный учебник для средней школы. Интриги, козни. Помню пресловутые, вечные сетования отца, что ему ставят палки в колеса, затирают, замалчивают, что против него кольцо блокад, «профессорский заговор». Неведомый шедевр, труд жизни так и остался незавершенным, в виде нескончаемых, беспардонно нечитательных, бесчисленных, раздрызганных вариантов. Какой бы поздней ночью я ни просыпался, видел горящую лампу над письменным столом с зеленым абажуром, чем-то еще накрытую, чтобы не мешала мне, маме, и склоненную пушкинскую голову отца: мрачная, неугомонная сосредоточенность над каким-то темным доказательством какой-то теоремы. Над громадным старорежимным столом аршинными буквами девиз: «Незнающему геометрию вход воспрещен». Замечу мимоходом, что знаю более точный, более близкий к оригиналу перевод: «Негеометр да не войдет». Но это так, к слову, для интереса. Я-то, безусловно, не геометр, входить не собираюсь, обходить думаю. Еле отбил от обрыдлого, проклятого мехмата, куда меня взяли бы прямо так, почти без экзаменов. Блат был. Заранее известны были задачи. Но мне это ни к чему. Только мехмат дает настоящее образование, приучает человека к самостоятельному мышлению. Знаю, слышал сто раз! При всем том и зная мои наклонности спрашивается, почему же отец вовсе не чесался, не печалился, беззаботно оставил мне в наследство Хеопсовы пирамиды бумаги? Неужели он думал, что его наследие будет изучать, разбираться, как разбирались Жуковский, Бартенев в наследстве Пушкина? Скажите на милость, что с этим густым хламом мне делать? Я — гуманитарий до мозга костей, а мне в наследство оставляют математические рукописи. Зачем? Почему батя не выкроил времени, не разобрал бумаги, не отобрал собственноручно последний, бесспорный, законченный, совершенный вариант учебника геометрии, а остальное не выбросил к чертям собачьим? Зачем мне тонны испачканной каракульной, мелкой, убористой скорописью бумаги, на которой сосуществуют не то пять, не то семьдесят пять изнурительно головолomных доказательств теоремы Пифагора? Почему я, неспециалист, обязан во всем этом разбираться? Сжег бы лишнее и — делу венец. Одну папку, пусть и солидную, его непреклонный великий труд я бы хранил, как зеницу ока, строго наказал бы потомкам «хранить вечно», не отдавать в макулатуру ни за какую «Женщину в белом». Почему нудную, скучную работу по вычитке, выверке, сверке рукописи, по выявлению оптимального текста должен делать кто-то за автора? Нет, никак этого не пойму. Ведь отец «угас,

как светоч» не скоропостижно, как Пушкин, царствие им небесное, а сбирался в далекий путь целый битый год: маялся, других замаял. Времени было навалом, минимум миниморум воз и маленькая тележка. Разобрал бы, рассортировал бы рукописи. Что мешало? Умирал? Не до этого? Но на стенку от боли лез он последний месяц, а раньше о чем думал? Что мне-то делать с тюком желтеющей, хиреющей, ломающейся, скверной дряни? В шестидесятые годы макулатура на абонементы еще не обменивалась. Книг в хрущевское время и так полно было, уцененные, дешевые. Даром. Бери — не хочю.

Горько каюсь, слезы мои не крокодиловы, что совершил сомнительный, неблагоприятный поступок. Совесть нечиста, свербит. В душе заноза. Фу, черт. А если короче: вынес я в конце-то концов непомерные тюки отцовских манускриптов на помойку. В три приема. В растерзанных чувствах шастал туда-сюда, для поднятия духа приложился к бутылке вермута за 1 р. 22 коп. Без проволоочки, забил барахлом контейнер до верха. Я не острый геометр, в широких пифагоровых штанах ни бе, ни ме, ни кукареку. Никто другой не пожелал портить единственные глаза, данные Богом, мучиться над чужими математическими рукописями. Кому охота добровольно и задаром чистить авгиевы конюшни? Любителей и дураков в наше время нет, перевелись. Хранить тюки с бумагой негде. Стечение обстоятельств и все против отца: я расплодился, три юлы, девочки, а тут еще малогабаритную квартиру отвалили. Одно к одному. И без неподъемного отцовского наследства заросли хламом по горло, накопилось, дышать нечем. Ночной горшок бедному человеку негде примостить. Делали бы ручкой внутрь! — другое дело. Учи их, дураков, тупиц. А еще инженеры называются. В шею гнать.

Аз многогрешный предсказываю (чуется мое сердечко): дербалызнут возмездия и справедливости гром и молния: мои наследники, дочери и их наглые, самоуверенные, амбициозные мужья поволокут без разговоров и проволоочек и мои рукописи на помойку. А куда денешься? При этом еще будут надо мною остроумно подтрунивать. Вспомнят и мой подвиг. Скажут: традиция. Скажут, что вот если бы предок на микрофишах хранил свои мемуары, то другое дело. Может быть, для микрофишей и нашлось бы место. Да и то вряд ли. Я-то оставил всего одну-единственную папку, тщательно выверенную, тщательно вылизанную. А, может, туда и дорога? Прав Марк Аврелий, римский император, философ, бескомпромиссный стоик. В конечном итоге всех нас уравнивает миротворная бездна забвения.

Отец, подожди немного, будем квиты. Огонь и сера!

Аминь.

Вот что для меня тайна за семью печатями, вещь в себе, так это союз отца с матерью. Страшная тайна! И росточком-то отец субтильно мал, мельче мамы. Когда вижу замечательную, острую картину Ульянова «Пушкин с женою», вспоминаю другой: марьяж, родителей. Должно быть, не я один диву давался, глядя на сей облыжный, неуютный марьяж. Как-то Гайдар, уходя со дня рождения мамы, будучи весьма под градусом, с раскрасневшейся будкой:

— Такой розан попал в лапы такому крабу!

Вопиющая бестактность, ни в какие ворота не лезет. Сказано при мне, малолетке, впитывающем, как губка, каждое слово взрослых. А еще этот толстокожий, сливающий непьющим, называется детским писателем? Так вот, извольте знать, помните, что говорят про твоего отца и уважать родителей! Зря валю на Гайдара. Зерно упало на подготовленную, хорошо взрыхленную почву. Я не любил и не уважал ни матери, ни отца. Не любил их быт, нелепую огромную комнату с помпезным фикусом, скрипучей, занудной, мещанской канарейкой. Противна заядло пылающая, вечно цветущая на окне герань. Соседи противны. Всех не люблю. Я мечтал жить в общежитии, где-нибудь на Стромынке. Нельзя: москвич. Я знал, что рано женюсь. Уйти от родителей, создать свою семью, которая должна быть радикально непохожей на ту, что воспитала меня. Мечты о собственном домостроительстве цвели, как май, как герань на окне.

— Отломанный ломоть, — сокрушенно, отчужденно сказал отец, замыслив, когда узнал, что я наладился отколоть номер, жениться. При мне сказано. Слово меня и нет, не слышу! Это все к вопросу о том, как он реагировал на мое скоропалительное решение.

— Небось, великая любовь? — холодно продолжал он язвить. — Где они намереваются жить?

— Они будут жить у нас, — бровью не повела мама. — За шкафом.

— Вот какие пироги. А я и не знал, — весь обмяк отец, но продолжал ворчать. — Фу-ты, ну-ты. И рысаков орловских пару. Неизлечимая любовь? Лишь пара голубеньких глаз? Влипли.

— Посидим рядком, поговорим ладком, — сказала мать.

Мать и отец посмотрели друг на друга, рассмеялись, как бы услышав анекдот.

Решение родителей было для меня неожиданным. И не снилось. И заикнуться не смел. Ведь им на старости лет приходится потесниться, начать жить с человеком, которого они не знают. Две хозяйки на кухне и все такое. Оказывает-

ся, я, мнительный, неврастеничный, рефлексирующий Гамлет, плохо знал своих родителей. Но мои охальные глаза и на этот раз остались слепы. Удручающая близорукость. Почему? Не спрашивайте. Живем же мы не в реальном мире, а в мифе, во сне. А родители даже не поинтересовались, какие жилищные условия у будущей жены? А там на четверых 5 комнат, как в сказке. Что пользы в тех комнатах? Жить-то все одно мы стали за шкафом. Почему не в сказке? Длинная история. Не хочется начинать. Обстоятельства, словом.

— Жить, богатеть, спереду горбеть, — пожелал отец, а я, окрыленный, полетел к той, с кем намеревался связать свою жизнь.

А моя жена, Психея, с первого взгляда полюбила моих родителей, особенно они с матерью спелись: подружки, несмотря на разницу лет. Не знаю, как бы складывались мои отношения о отцом и матерью, если бы меня не посадили. Не факт, что все было бы просто и гладко. Полное впечатление остается, что кто-то все время вмешивается в мою жизнь, ставит мне подножку, переиначивает мои планы, намеренья. То одно, то другое. Вроде все хорошо, успокоился, женился, тихая гавань. Так нет же! Послано мне непомерное, сверхъестественное переживание, которое погнало мутную воду на зыбкую рутину семейной зашкафной жизни, и эта жизнь вдруг стала видеться слегка пресной, безрадостной, необратимо убогой, даже замызганной, перемызганной. Бзик.

Пора прыгнуть к сокровенному, сверхинтимному, вожденному, очень тайному. Похотливая, несказанная, скрываемая, огненная гроза: когда же? Хоть бы одним глазком глянуть на солнце! Спал и видел! Ужасно хотелось увидеть Сталина — на Красной площади, во время демонстрации. Знаете, как-то так все получалось, что вокруг меня все видели и не один раз, одному мне, наказание какое-то, отчаянно не везло, всякий раз, когда наша колонна шагала мимо мавзолея, промашечка случалась: Сталина не было. Был, говорили, да сплыл, нетути. Ушел, отдыхает. Те, кто шли позже, счастливчики, везунчики, рассказывали, что видели. Не проверишь. Может, хвастают.

Это случилось-приключилось на большой праздник, то бишь 7 ноября. Год 1947-й, уже история. Погодка, дай Бог памяти, стояла дрянная: демисезонно-ветряная, холоднущая. Хохлилось, куксилось мышино-пепельное, монохромное, бесфактурное, смурное, гнилое ноябрьское небо; оно насупливалось, пугало дождем, непогодой, но все ограничилось пустыми угрозами, блефом, грубой заурядной пропагандой. До дела не дошло: не упало ни капли. Наша колонна блюла черед далеко не первой, высыпали к центру эдак часам к двум.

Подтекли к Историческому музею — у меня засосало под ложечкой, прямо как бывает при коварном расстройстве желудка, даже сильнее. На нервной почве бывает. У многих бывало. Предчувствие, опережающая интуиция. Засквозило. Заэкзальтировало. Душа спорошилась, во всю завибрировала. По какому-то внутреннему чувству, что сродни экстатическому просветлению, я наперед знал, притом знал недвусмысленно, определенно, бесспорно, как если бы это относилось не к будущему, а к прошлому, что нынче потрафит: сподоблюсь. Знобит. Вошли на Красную площадь. Как по гладкой, зеркальной поверхности глубинного родникового озера, легкий, свежий ветерок шибает рябь: «Сталин! Сталин!». Нас тряхануло пьянящее, вакхическое чувство восторга. Вскинулся. Еще не вижу его, но чувство радости нарастает, омывает душу, пронзает ее; дрожь проскакала по спине, по плечам, по шее. Предвкушение. Ни до, ни после ничего близкого и подобного я не испытывал. Я разглядел его на трибуне среди вождей, впиваюсь жадным, пристальным, долгим взглядом, и мне кажется, что я вижу его изумительные янтарные, солнечные глаза, хорошо изученные по портретам, мне кажется, что он смотрит на меня, и в это мгновение я почувствовал, как мое трепещущее сердце пронзила длинная, острая, сладчайшая стрела: удивительное чувство свободы, цельности, исчезновение всех и всяческих границ и перегородок, исчезновение косности, замкнутости мира, решительная, полная, ударная, пронзительная безграничность вовне и внутри себя, дивная легкость, невесомость, бесспорность этого чувства; затем я испытал неопишное, сверхестественное наслаждение. За миг яркого, интенсивного, небывалого, властного, абсолютного счастья готов отдать все и вся, все богатства мира и славу его, готов без оглядки отдать жизнь. Я не шел, а плыл, парил над землей, купался в неизъяснимом, сверхестественном счастье, которое все усугублялось, росло, усиливалось, возгоралось; и мое «я» затерялось в этом чувстве. Разламывало шибко и бурно колыхающееся сердце, которое норовило прямо выскочить из груди. Не могу знать, сколько долго длилось то удивительное состояние. Но кончилось оно внезапно, мучительно, мерзопакостно. Мы стекаем к Спасским воротам. Рубашка на мне — хоть выжимай, мокрая. Я безвольно, растерянно, стыдливо пытаюсь кому-то улыбнуться. Догадываюсь, что не одному мне выпало пережить грохочущее чувство бездонного восторга, что оно владело всеми нами, что мы заражали друг дружку, растворяясь в сверхмощном, бурном соборном экстазе, в неистребимом, кипящем, бьющем через край, фонтанирующем чувстве любви к своему богу. До сих пор храню тетрадку с памятной



записью, которую я сделал где-то вскоре. При обыске в лапы МГБ она не попала, так и наличествует в моих бумагах, где ей и положено быть. Видимо, чекисты работали невнимательно, разгильдяйно, небрежно. Не объяснишь ничем иным. Их никто не контролировал. А вот иностранные деньги, мелочь они нашли, хотя уверен, у нас дома ничего такого не могло быть. Подбросили. Все, кому инкриминировалась 58-1, А, жаловались, что им подбрасывали валюту. Возвращаюсь к записи, читаю: «7/XI 47. Великий день. Сталин. Только Сталин. Один Сталин. Великий Сталин». Читатель, вам ничего не понять! Не понять, чем для меня была встреча с вождем. Сретенье.

Спотыкался о ненужных людишек, словно слепой. Я приволокался на Старомонетный, домой, благо близко. Через силу принял душ, надеясь, что полегчает. Не помогло. Как я доплелся до кровати — не знаю. Рухнул, как подрубленный. Упадок сил, депрессия, лихоманка. Мой молодой организм взял верх над печальным недугом, который обидно, стыдно, покамест неохота вспоминать. Отлежался, возродился, воскрес духом и телом, вновь ощутил испепеляющее желание видеть великого Сталина, вновь испить восторг, слиться в экстазе с тысячной армией демонстрантов, лицезреть вечное, неподвижное Солнце.

Жена, по-видимому, беременна.

Постылой мне кажется зашкафная жизнь.

Пустился во всю нетерпеливую прыть ждать весны, журчания ручьев, цветущего мая, мая 1948 года, колыхания знамен, новой встречи.

Говорят, нет хуже ждать да догонять. А впереди длинная, необъятная, кондиционная зима, снега, морозы. Ой, когда же 1 Мая? Когда же, наконец, праздник? Время как черепаха ползет.

Паника перед денежной реформой, слухи одни отчаяннее других. Нудящие, изматывающие нервы слухи. Скорей бы уж. Город ошалел. Такого никогда еще не видел. Но я-то вне этой нудной суеты, переполоха, неразберихи, кавардака, километровых очередей в сберкассе. У меня в кармане — блоха на аркане, вошь на цепи (и того меньше). Студент, стипендия.

Как кирпич на голову.

Вот здравствуйте!

Впрочем, я чего-то все время ждал, с золнением ждал неожиданного, нового оборота событий. Предчувствие. Оно не обмануло. Оно было. Отхлынула кровь, застыла. Эй, судьба-индейка, поганка, мачеха! С Пушкинской улицы в сюрреалистическом ракурсе, как у Гумилева, возник, громыкает гро-

мада — трамвай, — необычно ярко освещен, без водителя. Что это было? Видение? До сих пор не пойму. Где я? Кто я? Меня везут на «эмочке». Знаю куда. Туда, откуда не выходят. Я на заднем сиденье, трясет, язык откусить можно, по камням, справа со мною рядом — майор. Он сунул мне ордер на арест. Я от волнения даже не прочитал, позже, в деле узнал, что ордер на арест подписан Генеральным прокурором СССР Сафоновым (ходатайствовал об аресте министр МГБ Абакумов). Убыли со Старомонетного с майором; смотрю на его бравое, открывое, красивое русское лицо. Он честно выполняет солдатский долг, он на службе. Бессонная служба: два часа ночи. Его сердце не обременят жалкие сантименты. Никакие слезы не размягчат его честного, каменного сердца. Без всяких перспектив, неуместно, беспочвенно, но вдохновенно, горячо, в лихорадке, вкладывая душу, порывно обращаюсь к нему:

— Черный вечер,  
Белый снег.  
Ветер, ветер  
На всем белом свете.

— Вы поэт? — нависает надо мною.

Теряюсь:

— Нет.

Грозный, клокочущий ужас захлестнул мою сжавшуюся, стекшую в пятки душонку. Хочется волком выть. Что я вам сделал? Ничегошеньки не умопостигаю, как растерявшийся инопланетянин. Бледная, немощная, но настырная надежда: если это ошибка, недоразумение, описка? Я ничего за собою не знаю. Ведь бывают же ошибки. Тридцать седьмой год. «Здесь живет Рабинович?» Из-за двери испуганный шепот: «Здесь живет Рабинович-нэпман, а Рабинович-коммунист живет этажом выше». Есть тайная связь в событиях моей жизни. Меня высек отец, и я оказался в мифе, из которого не мог выскочить. Я женился, чтобы избежать судьбы, выскочить из мифа, но тут это сретенье, опять я оказался в тисках неизбежного, неизбывного. Может, если события расставить в ином порядке, удастся уловить их смысл, уловить замысел?

Читатель, хватает ли у вас воображения представить первые дни подследственного в камере Лубянки? Дни ужаса. То мотаюсь (не сидится на месте) понурым, больным тигром, то плюхаюсь на койку, отчаянно запускаю пятерню в шевелюру, как бесноватый, начинаю чесать башку: о, ужас! — шевелюры нет, как нет, остался один оголенный череп новобранца. Не устаю удивляться, а пора бы привыкнуть, знать. Бьюсь головой о стену, всерьез, чем больнее, тем слаще. Впадаю в тупую прострацию, недвижно, как египетский исту-

кан, фараон, писец, тупо, бессмысленно впериваюсь в бесконечность пространственную, в дальний угол камеры, ничегошеньки ровным счетом не вижу перед собою. Хвастаться нечем: дурной я был в те жуткие дни, дошедший до ручки, пыльным мешком из-за угла по пустой башке тюкнутой, в чаду. Дня через три-четыре острота переживания тюрьмы порядком притупилась. Всего-навсего один срыв, рецидив. На всю жизнь в память вшурупилось жданное, злополучное 1 мая. Да, то: 1948 год. Повторяю (мать учения), что готовил я себя к иной встрече, к сретенью, а заместо клокочащего восторга — упреждающая участь злая: в тюрьме. Лубянка. Я — враг. Как водится в такие дни, понуро слоняемся по камере, кишим, мешаем друг дружке, задеваем, натыкаемся, хмуро, раздраженно, предскандально извиняемся. Нервы натянуты, перетянуты. Камера наша переполнена. Нас не шесть, как вначале, а дюжина. Койки нагромождены в четыре ряда, те, что в центре, стоят впритык друг к дружке, чтобы проходы пошире были. Теснотища. Просачивается несуразной невнятицей отдаленный гул и гомон непомерной толчеи, праздника, демонстрации. Как назло, где-то совсем рядом, поблизости динамик сооружен для праздника, во всю мощь зудит, рыгает, каркает, хрипит, как Высоцкий (читатель уловил анахронизм, но пишу я уже многие годы спустя, и не вижу лучшего образа), нагнетая тяжелый, спертый, непрветриваемый дух камеры № 12 знакомым с раннего, лучезарного, безоблачного, счастливого детства ликующим, душесципательным, болезненным, взвинченным, бесстыдно-демагогическим, экзальтированным, бурным, бравурным оптимизмом. Ангажированный, бесцеремонный, беспощадный оптимизм: «Ну-ка, солнце, ярче брызни!» Там, рядом, везде, всюду. Всюду и везде проник, пролез, давит уши, задирает нервы. Я нелепо, драматически заламываю руки, исхожу черною, неистойвой, испепеляющей, сгущающейся тоскою. В онемелом горле мертвый спазм. Затыкаю старательно пальцами уши. Только бы не слышать назойливую проскальзывающую, пленительную, хрипящую сирену-мучительницу. Вот так же мучился привязанный к мачте корабля Одиссей. Сердце пьет звуки, которые заполонили душу, зовут к себе, зовут к бездонному счастью. Всверливаются, высвечиваются в душе одни и те же жгучие слова: «Ну-ка, солнце!» Знаю, там плотное, бесконечное шествие москвичей, пылают знамена праздника, они обтекают нас, это величественное здание, где мы в камере № 12. А я здесь! Уязвляется сердце щемящею болью. Что я вам сделал? За что?

Здесь грязь, цинизм, злоба; кто-то нарочито, похабно каркает:

— Менструация.

Образ. Почему люди так неделикатны, агрессивны, циничны, грубы, не уважают чужие чувства, чужие переживания?

— Не раз ходил мимо, в голову не приходило, что здесь тюрьма. Тюрьма в центре Москвы! В центре коммунистического мира! Символ!

— Что раньше было?

Я-то понятия не имею. Похоже, что никто из сидящих со мною в 12-й камере не знает, что было здесь, в этом здании до (до революции — понимай).

— Испокон здесь органы, — сказал один из незапомнившихся невзрачных РОА.

— Кто помнит? Какая погода в прошлом году? На май?

— Ветрено. Дождя не было, ясно.

— Что вы, теплынь, без пальто шли.

— А на Октябрьскую?

Тут я не вынес игры на взвинченных, натянутых, как струна, нервах, взорвалась громкая бомба:

— Ради Бога, смените пластинку!

Это я заорал, надсадно.

Возможно, они, мои сокамерники, готовы были взвиться, огрызнуться, хлестануть меня, недотрогу, скверным словом с матюгом. И заслужил. В чем, мол, недотыкомка, недотрога, дело? Заткнись, мол. Закрой хайло. Без тебя тошно. Но я сморщил такую морду, давлюсь истерическими, непрекращающимися рыданиями. Забарахлил, невмоготу мне, маленькому. Так неподобающе развезло меня один раз, на май. Ни в тюрьме, ни в лагере я так позорно не раскисал. Вообще не нюнил. После этапа я очень переменялся, стал духовным здоровяком, иным существом, сменил самость, характер, возмужал, что ли. Сокамерникам я не умел довести до ума, что же со мною. Как рассказать им о Сретеньи? Застенчиво, сквозь слезы улыбаюсь. Они-то поняли, что у младенца сдали нервы. Так, да и не так. Пришел в себя после оправки. Очередь дежурить пала мне. Тащил вместе с Красновым полную, тяжелую, ржавую парашу. Он за одну ручку, я за другую. Поборов позыв к подступающей рвоте, неистово драил агрессивно зловонный сосуд. Скреб яростно шваброй, мускульными усилиями гася гудящую душевную боль; брызгал во все стороны пенящуюся щелочь. Чутьочку утихомирились последние нервишки, укротились. Слава богу, когда вернулись в камеру, непереносимый динамик умолк.

Как хорошо, что в нашей камере был Краснов.

Мне нужен был Краснов.

Если бы не Краснов, если бы не его целительные, соответствующие, нужно-необходимые моей душе речи, я бы

запросто спятил. Он помог мне примириться, замириться. Я привязался к Краснову. Страшно и представить, что нас разбросают по разным лагерям.

Первые дни в тюрьме рассудок бунтует, отчаянно баламутится, болеет, отказывается признать объективность, данность, признать, что в твоей жизни случилось непоправимое, ты порченный, враг, преступник. Худо. Очень дурной я был. А следователь бережно листает страницы, запустив бегло глаза в толстенный гроссбух, битком набитый, начиненный впечатляющими компроматами, как опытный духовник, ведет докучливую канитель, ловко, устремленно, неумемно, невозмутимо выуживает то одно, то другое мое злодейское словечко, выводит меня на промокашку. Удручал меня следователь. Ой как удручал. Все, что записано в пухлом кондуите, говорено было мною, безумным. Как я мог? Локти кусал. И сколько оказалось набрехано за два года, что охотились за мною. Наколбасил же парниша, наломал дров, остолоп безмозглый. Расхлебывай. Незапамятен первый допрос. Кононов деловито листает сексотские материалы, посматривает на меня, головой качает, понимающе так. Зачитывает. Было! То дурного толка и сомнительный, недоброкачественный анекдот, за который надо за ушко да на солнышко, то какая-то глупая, бездарная, пошлая, вредная частушка, которую я пулънул на факультете, пулънул-то бездумно, безмятежно, затем только, чтобы было весело. Все делалось без злого умысла вроде, а, глядишь, накопилось, набралось, короб с верхом.

— Попался, враженек, — хлестанул глазомером Кононов, потер руки. — Долго ты, гад, нас водил за нос. С ног сбились. Скользящий, не удержишь. Долго терпели. Знаешь, куда ты попал?

— В МГБ.

— Встать! — кричит следователь.

Я тотчас вскакиваю, выполняю приказ.

Нечестивый допрос был всего один, я уже рассказывал, первый. Типичный. А на втором допросе словно кто меня в бок толкнул: дерзай. Очень волнуясь, как на исповеди, ничего не утаивая, рассказываю про демонстрацию, что была на 7 ноября. Всю подноготную выложил. Мой бравый следователь, Иван Николаевич, вместо того чтобы задать пфэфферу, густо, пунцово краснеет. Прямо — девица. Не стал протоколировать мой рассказ. Рукой махнул. А я подумал: Иван Николаевич, хоть вы и чекист сталинской закалки, но и у вас есть ахиллесова пята! А у кого нет? Если угодно знать, после моего рассказа следователь крепко сел на крючок: у нас установились нормальные, добрые, человеческие отношения. Следователь следователю рознь. Что верно, то

верно. Я имел продуктовую передачу с воли, имел свидание с женой под маркой очной ставки (разумеется, в кабинете следователя).

Вижу, не забуду.

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. И хлоркой. Параша рядом с моей койкой, в ногах, шибает в нос. Другие дальше от параша, видать, не замечают вони, запахов мочи, хлорки. У меня обоняние исключительное, как у пчелы. Страдаю от смрада, стараюсь скрыть, превозмочь отвращение и начавшуюся аллергию, ловчу уместиться как можно дальше от параша. Не тут-то было. Бесполезно. Амбре — я те дам.

Первое впечатление о Краснове. Похож, как две капли воды. И рост такой же, завидный, поражающий: дяденька, достань воробушка. Такая же форма головы, то же и в полном смысле каменное выражение лица. Жутко похож!

Еще. Краснов стоит рядом с парашей, видать, не воспринимает начисто ее скверных, бьющих ароматов; цепляется за каждое мое слово, когтит, терзает меня каверзными крюками. Я-то теряюсь и при менее мудрых вопросах: не профессор. Сверчок, знай свой шесток.

— Вы полагаете, что у нас не социализм?

Я-то, заблудшая, жалкая овца, невнятно, осторожно, оппортунистически-соглашательски что-то мямлю; Краснов дальше донимает меня страшными вопросами, прилип, как репей, придирается, как следователь на первом допросе. К каждому слову придирается. А что, мол, я понимаю под социализмом? Извольте определить. Признаю ли я, что у нас диктатура пролетариата?

Нас полдюжины гавриков (не пройдет и трех месяцев — доукомплектуют до полной дюжины — предел: койки негде поставить: говорят, в тридцать седьмом году и больше набивали, на полу спали. Не видел. Не знаю). Мне пособляют, подбадривают.

— Ну, какая там диктатура пролетариата, — помогают мне, — диктатура партии, Сталина.

Как глупый простофиля, безмозглый попка, я повторяю подсказку, не утруждая себя проникнуть в опасную глубину слов. Такой ответ только на руку Краснову: он уставился на меня. Он беззвучно смеется. Опять агрессивничает, энергично, с новым пафосом врезает мне:

— Простите, но то, что вы сказали, смешно, невежественно. Я принужден преподать вам самые азы и азбуку марксизма. У вас туманное представление о природе диктатуры. Что такое диктатура?

Краснов пустился растолковывать мне, что диктатура носит всегда классовый характер. Наполеон? Власть, в сущности,

не ограничена. Обыватель обязательно брякнет, что это, дескать, пример личной диктатуры. Или что-нибудь в этом роде. Для нас, марксистов (а это значит — объективно!), диктатура Наполеона — это инструмент, используемый крупной буржуазией в своих интересах. В конечном счете Наполеон был слепым, послушным орудием крупной буржуазии. Должен вам объявить, что по существу диктатор — Робеспьер. Конвент лебезит, малодушно подчиняется его крутой, решительной воле. Но наивно было бы думать, что воля Робеспьера, воля Сен-Жюста носила сугубо личный, надклассовый характер. Что хочу, то и ворочу. Это диктатура низов Парижа, беднейших слоев населения.

Знакомая до чрезвычайной типичности и повсеместности картина: Лубянка, 12-я камера, Краснов маячит у параши. Помню его вразумительные слова, эту дьявольскую, бесподобную, безупречную логику, рассуждения о диктатуре пролетариата. Я не преувеличиваю, не сгущаю красок, хочу заверить, читатель, что это типичная и растипичная картинка. Сидел я в одной камере, в 12-й, а уверен, что если разрезать Внутреннюю тюрьму МГБ, заглянуть в каждую камеру, везде мы столкнемся с такими непримиримыми, горячими, непрекращающимися идеологическими боями. В каждой камере свой Краснов, интеллеktуал, идеолог, теоретик до мозга костей, умеющий прицельными, точными, меткими словами разнести в пух и прах незадачливых обывателей. Наверняка в моем освещении есть субъективизм. Если я могу допустить, что о оценке Кононова я проявил пристрастность, то в отношении Краснова я абсолютно нелицеприятен: его речи — типическое в типичном, архитипичное в квадрате, в кубе (мои милые греки, включая гениального Архимеда, не понимали, что можно возводить в степень большую, чем куб; мыслили чрезвычайно конкретно, а потому полагали, что операция возведения в степень, превышающую куб, бессмысленна: абсурдный, голый формализм).

Век не забуду. Не на жизнь, а на смерть: бой гладиаторов. Генеральное сражение.

— Истина в том, — разгоняет Краснов свою мысль, — что власть Робеспьера — это диктатура суверенного народа, его беднейших слоев, низов Парижа. Это — объективно. И вот теперь я попрошу вас, молодой человек, ответить мне, в чьих интересах диктатура осуществляется у нас, в нашей стране? В интересах какого класса?

Я уклончиво, удрученно молчу. Ведь я — желторотый птенец. Куда мне спорить с Красновым. Не очень хочется впросак попадать. Один из сокамерников театральным шепотом сублирует, подстраховывает меня:

— В интересах бюрократии.

Фамилия сокамерника — Хейфиц. Редкий, экзотический, диковинный зверь: меньшевик. Его, пасынка судьбы, вечного жителя неволи, сидельца по тюрьмам, изоляторам, лагерям, единственного всамделишного меньшевика, встретившегося на моем лагерном пути, поди, давно уж нет в живых. Когда все было? А годы проходят, все лучшие годы. Может статья, никто, кроме меня, не помнит его внушительного, карикатурного румпеля (по величественной форме, как у Троцкого на портрете Анненкова: других портретов врага народа № 1 мое поколение знать не знает, ведать не ведает), неловких, маленьких, рахитичных ручек, которыми он неистово, горячо жестикулировал, этой ущербной улыбки, добрых, хитрых, близоруких рачьих глаз. Как мне забыть его прибауточки: «Поведет нас сегодня правительство в баньку, как вы, юноша, думаете?» Появился в нашей камере не как другие, а с шуточкой: «Приветствую вас, кадры ГУЛАГа!». А я еще и не знал, что такое ГУЛАГ. Пришибленность, обреченность, забитость в этом милом человеке непонятным образом соседствовала с невообразимой, нахрапистой самоуверенностью. Чуть что — Хейфиц лезет в спор. До хрипоты спорит, как пылкий юноша.

— В интересах бюрократии, — ничтоже сумняшеся опрометчиво поддакиваю я; радостно, как ребенок, хлопаю в ладоши. Эврика! Все так просто. Лет через пятнадцать я прочту Джиласа «Новый класс», подумаю, что нет новых идей, что все идеи я уже знаю, слышал. Книжка Джиласа покажется мне скучным, серым трюизмом.

— Чересчур! — Краснов давится деланным смехом. — Хватили, через край. Стой. Не балуй. Нонсенс получается, а? Я не ослышался, Виктор, вы сказали, что вы марксист? Какой же это марксизм? Либеральная, кадетская болтовня. Давайте, как условились, держаться твердой, надежной почвы марксизма. Согласны? Заметано. Вы должны знать, что для марксиста бюрократия не класс, а лишь инструмент того или иного класса. В чьих же интересах диктатура осуществляется у нас? Я спрашиваю, в интересах какого класса? Видите, Виктор, — Краснов эдак запросто кинул меня на ковер, положил на обе лопатки, — получается, что достаточно все поставить на свое место, разложить по полочкам, назвать вещи их собственными именами, по-марксистски сформулировать вопрос, и нелепость, вздорность, дикость ваших завиральных утверждений станет самоочевидной, как самоочевидны аксиомы геометрии.

В замке зловеще заскрежетал ключ. Шумно, гулко распаивается тяжелая дверь нашей камеры, вваливается рябой



вертухай, чертов блюститель порядка. Мы его прозвали Рябушинский (все вертухайи имеют у нас прозвища: Буденный — за усы; Суслов — длинная жердь; Киров, Шкирятов. Сейчас я не мог бы сказать, чем отличался Киров от Шкирятова). Рябушинский очень вредный. Мы испуганно вскакиваем со своих коек, законопослушно замираем, как того требует тюремный распорядок. Кого-нибудь потянут на допрос. О, Господи! Когда же это кончится! Умом-то мы понимаем: исход летальный, никогда. Данте великий сказал: «Похерь надежды всяк сюда входящий».

— Приготовиться на прогулку!

Значит, ложная, фальшивая тревога.

В этот раз нас направляют на верхотуру тюрьмы. Прогулочный дворик огражден глухим деревянным забором, нам ничего не видно, кроме скучного, однообразного неба: потом мы будем зряшно спорить, в какой стороне север, а где юг. Я с грехом пополам буду припоминать, что эти полулежащие фигуры, украшающие нашу тюрьму, можно видеть с улицы, если смотреть от метро. Мы ходим быстрым шагом, гуськом, взяв руки назад. Изю всех сил стараемся надышаться впрок свежим, полезительным воздухом. Прогулка затягивается свыше отведенных тюремным распорядком пятнадцати минут. Опять затхлая, душная камера. После прогулки прерванное ля-ля возобновляется, вскипает с новой жизнью. Я узнаю от Краснова новые подробности, почему его взяли, что ему инкриминирует следствие. Он учился на философском. У всех порою случается разжижение мозгов. Вот и у него случилось. Со школьной скамьи он был связан с какой-то вредной компанией. Кружок, где верховодил Кузьма, самоучка, великий путаник. Этот-то Кузьма и сбил Краснова с толку, запутал, запудрил мозги; начинающий философ шарахнулся в крайнюю левизну (Ленин хлестко назвал левизну «детской болезнью»), решил, что он должен, как честный человек, выступить с прямой, открытой критикой, с предупреждением на комсомольском собрании. И выступил. Нес черт знает что. И во весь голос. А как же иначе? Он же не обыватель, не мещанин. Не хочет и не может молчать, как хладная рыба. Кононов квалифицировал его выступление на комсомольском собрании о бюрократической опасности как «антисоветскую вылазку».

— Здесь, в тюрьме, — откровенно, мужественно сознается Краснов, — я свел счеты со своей философской совестью.

— Ему следователь глаза открыл, — бодает Хейфиц, вламываясь в наш разговор.

— Вздор. Что мне мог открыть следователь? Кононов

отменный дурак, образина, держиморда, прохвост, безобразник, злыдень, садист, сволочь рваная. Это вы вашего инквизитора, истязателя чуть ли не в гении произвели, — козырнул Краснов; хорошо влындил.

Тихо, ладится лишь мне:

— Неужели потому, что нас с вами ущипнули за одно упитанное место...

— Это называется не ущипнули, а взяли за жопу, — у Хейфица слух остер, как жало осы. Спорщик, боевой конь, не унимается, мстит, врывается в наш разговор Хейфиц, — прижопили! Юноша, надо знать русский язык.

Я заржал, как молодой жеребенок. Цирк, да и только! Дело в том, что Хейфиц говорил с комедийным сильным акцентом, неправильно, как говорят евреи только в анекдотах. Поди же, поучает русскому языку! И — прав! Мой Краснов не реагирует: мол, мараться нет охоты. Ко мне, почти конфиденциально:

— Неужели мы, молодежь, отречемся от истины марксизма? Я не отрекюсь. Никогда. И под угрозой смерти. Я с истиной, как бы горька она ни была. Истина превыше всего. Хотите знать, почему я верен идее? Да, здесь, в тюрьме. В тюрьме я обрел, осознал истину во всей ее глубине. А это, — Краснов хлопает себя по заду, энергично формуя зрительный образ, — не орган познания. Мало уважаю, для кого это единственный орган познания. Эмоции, закидончики надо контролировать, сдерживать, угнетать разумом, подчинить ему. На то и дан человеку разум.

Краснов оглянулся, как парфяне: в глазке глаза Рябушинского не было. Он подсел ко мне на койку, что вообще-то не положено, принялся, суд да дело, просвещать меня новшествами, которые разверзлись пред ним во Внутренней тюрьме МГБ; бдительно приглядывался к глазку.

— Надо признать, притом откровенно и честно, что последняя война кинула нас назад, вспять, — говорил он. — Я имею в виду не добычу угля, нефти, стали. Вникните и поймите меня правильно. Я уверен, что у вас на филологическом то же, что у нас. Балаган, пошлые, глупые песенки. На далеком Севере эскимосы бегали. Гимн. На вечеринках танцы, обжимы девиц, пошлость. Мрак. Окопники, фронтовики, партийцы размахивают простреленными шинелями. Мы — кровь проливали. Приглядишься к этой публике. Циники, проныры, карьеристы, стервятники. Точный, дальний прицел. Большая Берта: аспирантура. Противно. Гадко.

Доверительно, по душам, сокровенно:

— Много прилипал и всяких гадов во время войны в партию пролезло.

Затем Краснов зафугасил гулкую фразу, которая прожгла мне сердце, и я застонал от неимоверного восторга. Однако этой мысли, долгожданной и одновременно опережающей мою готовность воспринимать новое, я не решусь произнести без предварительных и нудных пояснений, извинений, оправдываний. С горьким чувством вынужден объявить, что коробки ярких, замечательных, сверхгениальных идей были обпачканы, загажены, осквернены ходом жизни, временем. Начну с далекого примера. Предположим, что вам, читатель, зачем-то важно провести различие между Гитлером и Франко, притом вы полагаете, что между этими историческими феноменами лежит существенное различие, что они по своей внутренней природе отличны, что близость лишь кажущаяся, поверхностная. Словом, вы собираетесь сказать, что национал-социализм представляет собой вариант левацкой, социалистической тоталитарной идеологии, а то, что мы имели в Испании при Франко — есть разновидность вполне пристойного правового режима, при котором очень даже можно жить, притом франкистский строй легко, естественно трансформируется в либеральную, плюралистическую, парламентскую демократию, что произошло прямо на наших глазах в Испании. Но если вы действительно заявите, что в тридцать шестом году вы бы были на стороне Франко, а не на стороне Народного фронта, вы себя безнадежно погубите, скомпрометируете, притом не только себя, но и вашу идею. Знайте и помните, что существует гнет и тирания слов, а в сознании современного человека слово фашизм есть адский жупел: нечто ужасное, страшное. А Франко, как известно всем и каждому, фашист. Против Франко боролся сам Хемингуэй, а он всегда был на той стороне, на какой должен быть честный человек.

Итак, мой Краснов возвел, как римский оратор, к габаритному, штукарному небу правую руку, запузырил:

— Нужна культурная революция!

«Эх, дубинушка, ухнем».

Выражение «культурная революция» обильно, непролазно скомпрометировано китайскими левацкими штучками-дрючками, хунвейбинами и хунвейбиночками, но важно помнить, что борьба за нового человека, стремления и усилия создать прекрасного человека, труженика, творца, лишённого эгоизма и родимых пятен капитализма, человека с высокой нравственностью, самоотверженного, самозабвенного, бескорыстного бессребреника, строителя нового прекрасного мира, глубоко, кровно, крепко преданного сверхличной цели, не только не чужда революционной идеологии марксизма-ленинизма, но была, есть и будет актуальной

и главной задачей коммунизма. А это и есть культурная революция, глубинная, истинная.

Краснов взвился с койки, помотался суматошным, лихорадочным, шизоидным маятником между койками, немного погодя остановился у параши, снял крышку, задумался, опять закрыл парашу; закликает меня:

— Зашвырнем же за мельницу романтизм, мифы, маниловщину. Трезво, мужественно, беспристрастно, непредвзято глянем на действительность.

Гладко, ровно, как по-заученному, давно и хорошо продуманному, продолжая чесать: марксизм, мол, как раз и есть такое замечательное и вечно юное учение о законах истории и общества, которые действуют опосредованно, через экономику, через развитие производительных сил, косвенно формуя и определяя волю людей. А люди, развивал свою мысль Краснов, во все времена были и остаются одни и те же. Не добрые и не злые. Скорее даже плохие, злые, коварные, гадкие, пошлые, мелочные, тщеславные, завидующие, скорее жестокие, чем хорошие, отзывчивые, добродетельные. Если они не буржуи, а непосредственные производители, народ, рабочие, ремесленники, крестьяне, это отнюдь не значит, что в своей серой глине, в своей массе они более порядочны, добры, честны, отзывчивы, чем те, кто их эксплуатирует, буржуйствует, живет за их счет, извлекая и присваивая прибавочную стоимость. Не в этом соль! А в том, что экономические законы определяют волю людей независимо от того, добренькие ли они или безмерно злые, гадкие. Отбросим прочь маниловщину. Человек по своей природе отнюдь не добр, как наивно думал Руссо, а за ним чуть не вся обезумевшая, оголтелая, ошалелая Европа, Кант, Гете, Шиллер, а за Европой и вся образованная Россия, Некрасовы, Толстые (Толстой в медальоне носил портрет Руссо — символ веры), идеализируя, романтизируя простого человека, труженика, крестьянина, крестьянина-бедняка. Золото, золото сердце народное! Безумие это, ложь. Человек по природе не добр, а зол, ленив, коварен, лжив, фальшив, двусмысленен, эгоистичен, корыстен. Это знает средневековье, Августин и иже с ним, об этом ясно, предельно честно и откровенно заявили новые апостолы, Маркс и Энгельс в великом Комманифесте. Лишь из страха перед наказанием человек удержится от взятки, гадости, подлости. Честь, совесть, мораль — устойчивые предрассудки. Они хоть и оказывают влияние на бытие человека, но не определяют его. Не честь, а голый чистоган, свинцовые инстинкты, любовь, голод подлинно правят миром. Для истории несущественно поведение и мировоззрение отдельной лич-

ности, атома. Термодинамика связывает температуру со скоростью движения молекул, но молекулы «идеального поведения», которая движется со скоростью, соответствующей точно температуре, может и не быть. Директор завода, секретарь обкома могут быть карьеристами, трусами, развратниками, сладострастниками, пьянчугами, подонками и ворами. Руководство партии может делать промахи, которые граничат с преступлением. Не будем страшиться слов: руководство партии может сознательно совершать преступления. Но в силу того, что у нас нет частной собственности на средства производства — да, именно в силу этого! — мы были, есть и будем на магистральном, единственно настоящем, истинном пути; а ошибки забудутся, исправятся, сотрутся, нивелируются общим ходом времени и истории. Лес, говорят, рубят — щепки летят. Смысл марксизма как раз в том, что законы истории продолжают действовать вопреки чьей-либо злой воле, вопреки промахам, преступлениям руководства. Маркс использует очень интересное выражение: «в конечном счете». Для истории несущественно, какая из партийных группировок одолела в двадцатые годы. Все это мышьяная возня. И только те, кто не понимает истины марксизма, могут думать, что было бы иначе, если бы был жив Ленин. Абсолютно неважно, начхать, кто у руля, Сталин, Троцкий, Бухарин.

— А что ж важно? — шумно, глумко, скопом и дружно загалдели сокамерники, повскакивали, как на пожар, с коек, ополчились единым народом на Краснова, включая бирюков-власовцев.

Юный пророк и философ глядит на нас, как на непробиваемых, необратимых, злобных тупиц; тоном неистового педагога или укротителя диких тигров и львов (Дуров? Всегда выходил на арену цирка без оружия, взглядом, словом укрощал огромного зверюгу — такой был Дуров) командует:

— Тихо. Без паники.

В улыбке на мизинец все же есть высокомерие; вздернут тяжелый подбородок:

— Неясно? Извольте повесить ваши тугие уши на гвоздь внимания. Слушайте. Мыли уши? Да очнитесь вы, куриная слепота! Лебеди мои белокрылые, важно одно и только это. Партия, стоящая у власти, должна сохранить принцип государственной собственности! Буржуев не надо! Не должно быть частной собственности на средства производства, а остальное приложится. Еще раз повторить? Не стану. Имеющий уши да слышит.

Лебеди озадачены, удручены. Их лица выражают слабоумное недоумение. У них численное превосходство, но лишь

у Хейфица настроение боевое, хорохорится рьяный, неуемный спорщик, ершится, наладился пререкаться: кричит со своей койки, объясняет нам, что все, что только что сказал Краснов, дикость, бред, срам, нелепость, околесица, а главное-де «плохой марксизм», что ему, Хейфицу, очевидно, что Краснов абсолютно не постиг Маркса. Где-то, не то в «Анти-Дюринге», не то в одном из писем Энгельс писал черным по белому нечто такое, из чего необратимо и неукоснительно следует, что социализм не надо намертво связывать с государственной собственностью. Из своей роскошной памяти Хейфиц выудил цитату, убедительную, бесспорную. А знает ли Краснов, что у Маркса и Энгельса выражение «диктатура пролетариата» вообще употребляется в одном-единственном месте, как бы случайно? О себе говорит:

— Я не большевик и не ленинец, но марксист, а потому коммунист.

Но юного философа не сбить так легко и просто. Он выходит на середину камеры, переставляет зачем-то на столе кружки, чайник, как бы собираясь с мыслями; вот он встал в позу перед Хейфицем, парирует его злой, ядовитый выпад, говорит, что в «Анти-Дюринге» и в письмах Энгельса масса сомнительных, устаревших, староверческих, меньшевистских, аховых идей. Вот те на! У меня ум за разум заходит, кружится.

— Может статься, — бесстрашно разгоняет бескомпромиссную мысль философ, — вы еще заявите, что все то, что творится в истории двадцатого века, «плохой марксизм», не по учебнику. Незаконнорожденная революция в России, отсталой, аграрной стране — бланкизм, плохой марксизм? Не во всем мире революция, а в отдельной стране — опять плохой марксизм, буза? Слепота куриная, педант, схоластик! Меньшевику не дано понять революционный дух марксизма, не дано понять тайну истории! Да революция всегда и везде опиралась на организованное, дерзкое меньшинство! В непонимании этой истины близорукость и трагедия меньшевизма!

Хейфиц подходит к Краснову, со вкусом творит всамделишный поясной поклон:

— Большое русское спасибо от еврейского благотворительного общества.

Смех, сбил пафос.

Краснов опять берет слово, овладевает нашим вниманием, говорит, что партия состоит из людей, а люди есть люди. Романтик впадает в уныние и разочарование, узнав, что люди не ангелы, что они ходят, куда царь пешком ходил, в сортир, опорожняют мочевой пузырь, желудок, люди

болеют, стареют, умирают. Они слабы, криводушны, самолюбивы, мелочны, тщеславны, завидуши, злопамятны, мстительны, жестоки. Как так? — козлоголосит романтик, пускает пулю в лоб. А что случилось? Партия круто меняет курс, вводит нэп! Зачем было огород городить? За что боролись? Перерождение! А в тридцать седьмом романтик кричит, истерически руки заламывает: Бонапартизм! Термидор! А как тут пресловутый договор с Гитлером, «дружба, скрепленная кровью»? А кого сажают? Ленинскую гвардию? Ежовщина!

— Я прошел через горнило сомнений.

Расталдычивает, а для меня эти слова ну прямо бальзам на глубокую, кровоточащую рану.

Почему все же он «предпочитает» у руля государства видеть Сталина? Вот почему. Сталин — не романтик, а хитрый, тонкий, ловкий тактик; Пастернак назвал его «гений поступка». Сталин — реалист. А что было бы, если бы одержал в партийной борьбе верх блистательный позер, фанфарон Троцкий? Он попер бы на капитализм войною, стремясь спровоцировать мировую революцию, сделал бы ставку на мировой пролетариат, прежде всего на пролетариат Германии. Ввязавшись в военные авантюры, просадил бы игру, в пух и прах проигрался бы. Допустим, как честный человек, он пустил бы себе пулю в лоб и при этом произнес бы красивую, звонкую историческую фразу, на что он был большой мастак. Но кому от этого бы стало легче? Погибла бы истина революции. А Сталин горазд терпеть, выжидать. Умеет отступать, на словах особенно. Брестский мир многому научил большевиков. Весьма поучительный троп, не правда ли? Главное — власть! Власть и только власть. Сталин умеет и наступать, умеет максимум выжать из ситуации. Его слабости, недостатки более, чем на поверхности. Заранее согласен, что лучше, когда нет недостатков. Но так не бывает. Люди не ангелы. И на солнце есть пятна. Сам видел, смотрел сквозь закопченное стекло. Одно несомненно: Сталин великий реалист. Мастер. За то ему честь и хвала. Он умеет всеми имеющимися и доступными средствами усилить и укрепить принцип государственной собственности. А договор с Гитлером и все, что с ним связано, лишь тактический маневр, обычный в большой политике, попытка выиграть время, улизнуть из-под страшного, смертоносного удара.

— И вот, несмотря на все, мы на истинном пути! — назидает и подытоживает дерзкий философ. Это положительно так, несмотря на тридцать седьмой год, на договор с Гитлером, несмотря на репрессии, на то, что мы, а нас далеко не только двенадцать человек, а поди не одна и не

две тысячи. Нас сотни тысяч! Наш неотразимый удел — всех, без изъятия — лагерь, где нам хана, загнемся. Наша песенка спета! Лес рубят — щепки летят. Утешить мне вас нечем, надежды нет. Человечество стоит перед великой, страшной альтернативой: строй без частной собственности на средства производства или капитализм? Надо сделать выбор. Честно, с открытыми глазами. Третьего не дано. Увы и ах. Тэрциум нон датур. Третье человечеству не корячится. Вперед и выше или назад? За социализм или против социализма? вспомните Александра Блока, его последнюю поэму «Двенадцать». Потрясающая поэма. Прозреческая. Апокалипсично. Окончив поэму, Блок записал в дневнике: «Сегодня я гений». Революция — смута, хаос, воинственное хамство, уголовщина, сведение личных счетов. «Помнишь, Катя, офицера — не ушел он от ножа». Убийства. Гений Блока остро воспринимает и чувствует сердцевину и душу истории, слышит ее великую, торжественную, божественную музыку. Он пророчески дерзает: «Слушайте музыку революции!». Он покорно, деликатно, необъяснимо ясно и радостно, с легким сердцем, даже ликующе принимает все: пожары, а сгорело его Шахматово, любимая библиотека, погромы, кошмары, химеры, убийства, потому, что те, кто вершат преступления, те двенадцать, жарящие державным шагом в даль, в историческую перспективу, апостолы, новые люди. Они несут юную, новую, жгучую истину. С ними Бог, творящий историю.

В белом венчике из роз  
Впереди Иисус Христос.

## УТОПИЯ

Эх, твою мать, перемать совсем. Извиняюсь. По-хорошему, как надлежит пайныке, подвиньтесь. Не вертухайтесь. Было именно так и, поверьте мне, никак не иначе. Картинка с выставки. Однажды в жаркий летний день, роняя на оленя тень, глухой Шаламов, ныне уже покойник (прошу покорнейше, не надо путать с Шалимовым, о котором речь пойдет ниже, а так же со скульптором Шалимовым, другом Гольдштейна; умоляю, читатель: будьте зорче, внимательнее к деталям, не путайте имена) назойливо заведясь, изъявил желание услышать «о самом страшном, что пришлось вкусить в лагере».

— И чтобы без понта! И чтобы без журфикса!

Не легко и не просто держать рачительный, честный ответ. Как же так, с бухты-баряхты. Есть над чем призаду-



маться бывшему лагернику, крупно призадуматься. Не хочется опростоволоситься. Немаловажно при этом ни в коем разе не упускать из виду и постоянно иметь перед глазами в качестве александрийского маяка, отменного путеводного чуда света (без такого маяка, едрена вошь, запросто потеряешь верный ориентир, заколобродишься в кромешных потемках, налетишь на скалу и — буль-буль, пошел ко дну, потонул, только этим самым, что мои греки называли фаллос, болтанул, поминай, как звали) тот несомненный и немаловажный факт, что не только по сравнению с несусветными кошмарами, которые выпали на долю страдальца и страстотерпца Варлама Тихоновича Шаламова (о его мытарствах и страданиях я был досконально осведомлен по ухайдакивающим аккуратно и наповал «Колымским рассказам»), но даже по сравнению с другими моими солагерниками мое пребывание на достопамятном ОЛПе, что в поселке Ерцево, было на зависть благополучным. И вообще наш лагерь, обычный ИТЛ, по сравнению с шаламовской Колымой смотрится фешенебельным курортом-санаторием, притом прозрачайшей, чистейшей воды. А по доброй воле кто будет себе шукать огорчений на хобот? Никто. Дураков нет. Если не считать карантина, первой недели в конторе, пока я не освоился, пока не понял, что справляюсь с новым для меня делом, ничего страшного, печального со мною не случилось. Расчетчик. Работа под крышей, в тепле. Сидишь чин-чином. Грех на судьбу клепать. Конечно, я знал и понимал, что в любой момент мыльный пузырь относительной устроенности может лопнуть: угодишь на общие; а того хуже: на другой лагпункт; а то и на 46-й ОЛП, повальный, штрафной, где всю работу жареный петух, клюет ээку мягкое место, пока от него не останутся одни кости, где, как говорились, «вечно пляшут и поют», где так и снует лютая, невозможно жадущая, наглая ненасытная жница смерть, где не только забудешь дум высокое стремленье, но забудешь какой зовуткой-уткой нарекли тебя мать и отец, где полжос голода, где держава смерти (туда-то в конце концов угодил мой друг Краснов, но про это в своем месте). Хочу еще напомнить, что мне крепко повезло со следователем, что у меня было легкое, бархатное следствие: втерпеж. Знаю, что у других было иначе и по-другому, но в моей жизни все по-особому. Я не скажу за всю Одессу, а меня следователь любил. Факт, пусть не типично и льет воду не на ту мельницу. Пусть нет аналогов. Да знаете ли, что меня любил и Владзилевский, главный бухгалтер ОЛПа-2, а о нем никто слова хорошего еще не сказал. Меня все любили, с кем я сидел: и Коган, и Гладков, и Минаев, и Померанц, и Борис

Арбузов, и Славка, и Татаринцев, и Васяев, и Федоров. А с Красновым мы были просто други. Любили меня и Кузьма, и Шмайн, и Красин. Вспоминаются строки Тютчева: «И нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Да, по статье 58-10 я получил всего пять лет! А признайтесь, читатель, что вы не знаете никого, кто по этой статье в послевоенное время имел всего пять лет? Ах, да: Померанц. Среди женщин были: Калина, подельница Кузьмы, у нас Ирена, прекрасная полячка. Были. Не один я в рубашке родился. Но нас мало. Нас так же мало, как хороших следователей. Дело Померанца я в подробностях не помню, хотя сидел с ним в одном лагере. Конечно, Померанц — великий ум, можно сказать, гений, крупнейший философ нашего времени, с другой стороны, нет пророка в родном отечестве. Ничего лучшего не придумал, как давать советы Сталину, поучать его, письмо какое-то написал, где разглагольствовал о недостатках в армии, чернил нашу победоносную армию, что-то о пьянстве офицерства писал, о хамстве, невежестве, грубости. Я не задался целью объяснить Померанца — могу и промах дать. Сам, чай, Померанц, разъяснит людям, подробно и честно расскажет о своем деле, почему отделался маленьким сроком. Он не молчальник: тверезо, ретиво, рьяно пишет. Язык хорошо подвешен, мастак. А Ерцево, куда я волею судеб и случая, был заброшен совсем не на краю света, как прославленная Колыма, не во глубине сибирских руд, а недалеко от Москвы, на юге Архангельской области. «Машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь олени» — право, не про нас с Померанцем. Где точно расположен наш лагерь — вразумительно не представляю. Против неба на земле. Луга хорошие, тучные. Макар телят гоняет сюда. Леса еще полностью не вырублены человеком. Каргопольлаг — лесные разработки. И в лагере я сходу выудил счастливый билетик, устроился в конторе, сразу пришелся ко двору. Всю дорогу на комендантском, и если не принимать во внимание карантина, где последнюю неделю о нас с Красновым вспомнили (порядком досталось: с непривычки, выбивался из последних сил, спина не разгибалась), то должен сказать, что за весь срок, который я, кстати, отбыл от звонка до звонка, я ни разу не вышел за зону. Извиняюсь: планида! В конторе, в тепле хранил гордое терпенье, а говоря попросту: жил припеваючи, лучше и желать нечего, работеночка не пыльная, протирал лагерные штаны, казенные, которые хоть и выдавались нам каждый год, но на другой день уже лоснились и блекли. Для того, чтобы попасть в контору, я не ударил палец о палец, не шустрил, не пресмыкался. Само в рот

свалилось. Ума не приложу, кого и благодарить должен. Может, Фуриков, добрая душа, пожалел меня, малолетку?



Поскольку Варлам Тихонович размахнулся и в свой личный творческий план забил книгу про ужасы в лагерях, про всякий там ад и скрежет зубов, то мой незамысловатый, честный сказ должен был много его разочаровать. Это уж как пить дать. После моего рассказа, возможно, он перестал думать о своем великом замысле. Сбил я его пыл. Насколько я знаю, он не приступил к грандиозной задаче, а лишь трепался о ней на всех перекрестках. Может, оно и к лучшему. Не нужно ему такой книги: не его жанр. Зачем писать на основе чужих, сомнительных недостоверных сведений, когда и своего, пережитого материальчика ему хватало не на одну книгу. Словом, когда я простодушно поведал ему про самое ужасное, что довелось пережить, то весьма обескуражил старика, и он тут сделал свой всегдашний, выразительный, заблатненно-конвульсивный жест, как припадочный или бесноватый задвигал руками, под током словно. Вот он принялся меня, балду, бомбить, учить уми-разуму:

— Всю-то правду о себе не рассказывайте. С Лисы Патрикеевны образец берите.

Тут я без всяких обиняков, с наивной евклидовой прямолинейностью задаю старику вопрос, как мол, вы, Варлам Тихонович, относитесь к Ивану Денисовичу.

— Лакировка действительности, — отлил Шаламов лапидарные слова, вошедшие ныне в исторические анналы, ставшие хрестоматийными, известными всем и каждому. — Флер. Глянец. Конфетти. Полуправда, выдаваемая за всю правду, рассчитанная на дурной, примитивный вкус Твардовского, а, может, и на вкус Хрущева. Хитрый, ловкий, успешный ход. Кого он двинул мне в герои? Лагерную шестерку! А эти эффемизмы, — патока. Журфикс, знаете, получается. Помяните мои слова, эта дешевка будет иметь успех у нашей стадной, шибко безмозглой интеллигенции, шумный успех.

— Иван Денисович, позвольте вам заметить, — запальчиво я брыкнулся: слова Шаламова все во мне возмутили, — не лагерная шестерка, а мужик. Скромный, честный, беспрекословный, неподдельный, святой труженик, на котором, как на трех китах, стоит Россия и мир испокон веков.

Я чуть было не брыкнул, что называть гениального, посланного нам Богом Солженицына Лисой Патрикеевной может

только последний подлец, что Иван Денисович в сто и тысячу раз лучше и правдивее всего того, что вы, Варлам Тихонович, написали и напишите. Это у вас, дорогой мой писатель, все неправда, литература, журфикс. Пляска смерти, эстетика ужасов, безвкусице, нагнетаете ужасы, а лагерь не такой, как у вас, а в точь-в-точь, как у великого Солженицына. Я сам с усами, нюхал порох, кровь мешками проливал, клопов кормил! Знаю, где раки зимуют, хоть в БУРе и не сидел. А вы-то сами сидели? Знаю и чувствую лагерь сердцем, как мусульманин Коран. Оставьте чванство, Варлам Тихонович, и не шебаршите. Не трясите Колымой, как орденом. Не вешайте людям лапшу на уши. Хватит. Долго страшно не бывает, а вы хоть там отмахали семнадцать лет, но лагерь не поняли, ничего не запомнили, кроме чехарды ужасов. У вас все серо. И ужасы серы. Романтизм. А где закон звезды и формула цветка? А у Солженицына все это есть. Он гений. Все это у вас, Варлам Тихонович, прет от черной зависти, и отсюда выходит математически, что по сравнению с гениальным Солженицыным, отмеченным Богом, нашим властителем дум, вы — подлинный пигмей. Это все я готов был сказать, но обуздал предельно смирительной рубашкой самолюбие, совладал с собою. И нынче, когда Шаламова нет среди нас, я бесконечно рад, что не дал воли мутным чувствам, душившим меня. Шаламов — редкостный старик, самоотверженный служитель пера, и на нем больше, чем на ком-либо, почил святой дух диссидентства. Это истинный бессребреник, восьмое чудо света, и я вполне искренне считаю, что он занимает первое место в моей коллекции выдающихся умов. И я не принадлежу к тем быстроногим, кто в темпе и со злорадством выкрикнул, что имя Шаламова зловонно, как кошачий кал, и столкнул старика под откос за его письмецо в Литгазету. Елки-палки, сколько раз я одергивал злые языки, хотя отдаю себе отчет, что тех, кто стоит на бескомпромиссных позициях, мне не переубедить. Глубоко ж копнул наш Достоевский. Ничто нас так не радует, как падение праведника и позор его. Не судите да не судимы будете. Перестаньте. И завидовал он, может быть, потому, что поэт, как сказал Гесиод, «соревнует усердно» (в отличие от простых смертных). В тот вечер я расстался с Шаламовым сухо, а он, уходя, как назло, надел мою новую ушанку, а свою, старую, с пролысинами, оставил на вешалке. Ничего не хочу сказать. Уверен, что старик без хитрой, задней мысли перепутал. Впоыхах обознался: опоздывал куда-то. Все ушанки похожи, как счастливые семьи. Да вскоре мы с ним и обменялись обратно. А, если кому я не так рассказывал, как рассказываю сейчас, то это для цирка, для красного словца,

когда не жалеют родного отца. Признаюсь, говорил, что это типичный поступок лагерного волка. Но не думал так.

В целом, не будет преувеличением, если я скажу, что самым героическим, голгофистым из всего, что пришлось пережить после ареста до выхода на волю, выдался этап, сиречь дорога до Ерцева. Путешествие предрасполагает к созерцательному, философскому умонстроению. Гоголь страсть как любил протрястись с ветерком по долинам и взгорьям Святой Руси. И Европу без внимания не оставил, исколесил вдоль и поперек: Рим, Париж, опять Рим; в Иерусалим мотался. Жил в дороге. Только в дороге легко и ладно себя чувствовал. Чудо-тройка, кто тебя выдумал? Какой же русский не любит быстрой езды и гоголем? С утра садимся мы в телегу. Пошел! И пошли перед глазами версты русские мелькать. Говорят, влечение к путешествиям — атавизм, воспоминание о кочевом образе жизни, который, как считают все историки, вели наши далекие предки-скотоводы. Где-то такое объяснение я читал. Словом, сел в вагон, набросился со вкусом на курицу, запил сухим красным вином («Мукузани», к примеру), можно из горла; на худой конец можно и портвейн употребить; отключился, словом, забыл и выбросил из головы невзгоды, нелады, проклятую жизнь. Хорошо. Ой, братцы, хорошо! Этап так запросто не роднится с путешествием. Для кого лето красное, а нас, преступников, утрамбовали в воронке — человек не знаю уж сколько, как сельди в бочке; стоим, вплотную прижавшись друг к другу. А воронок, сами можете вообразить, не резиновый. 12 августа, как говорилось. Тупой, неподвижный полдень. Вовсю шурует и польхает надмирная свирепая жаровня. Зной напирает, жмет, лютует; гнетущий, суровый, несусветный, неслыханно африканский, губящий. Жестяная крыша воронка безжалостно, адски раскалилась: плита. На улице тишь и непомерная жарища. Воронок стоит на самом солнце-печеке, понятно, что внутри чистая, умышленная, как все мы считаем, стопроцентная душегубка, как в немилосердном, анафемном медном баке Фаларада: кровь сворачивается сывороткой. Эх, завернула! Живите — можете. Тянемся к крошечному окошечку, которое предусмотрительно переплетено толстенными, в два пальца, надежными прутьями железа, чтобы мы, зеки, с отчаянья не рванули на барочно-романтический марафон. Окошечко глядит в тамбур, куда в свой удел размещается конвой, которому, думается, в такое жестокое адово пекло тоже не сладко достается. Мы изнемогаем, доходим, заходимся. Накидывается волком матерым ураганный страх. Вот тут, вот сейчас кранты! Скопычься! Я теряю связь событий, дух вон. Сердце бешено коло-

тится, из груди готово выскочить, дать свечку. И ритмизованный звон в ушах, словно медный, мерный, гулкий ростовский колокол: бам! бам! бац! бенц! Мухи черные перед глазами хаотично, назойливо, густо носятся, крутятся, вертятся, а вот заметались круги, красные, кровавые, по краям весьма темные, черные, словно углем проведенные, обрамляют, а к центру бледнеют, размытые, какие-то сиреневые, оранжевые, пепельно-багровые, красные. Краснов крепко, как большая птица, держит меня за руку, пособляет; я слегка прикостылился на его железную руку. Он льет мне в ухо: «Голубь, не терять крыльев! Повторяй за мной. Человека создает его сопротивляемость окружающей среде». Послушно, как пай-мальник, как попка-попугай, твержу за Красновым, бубню его врачующую молитву, черпаю в ней силы; доверился молитве, как ребенок. Где я? Кто я? Я это или не я? Так с цитатой из Горького я все это и рассказал Шаламову!

А вот еще картиночка, которую жажду вытурить навсегда из памяти, но она, заноза, не вылезает. Комом стоит непроглоченный крик, режет. Несообразный, невообразимый — как если бы дружным хором заголосило сто полоумных огромных зайцев. Ринулся и упал. Тянется к окошечку воронка, целяется руками, за решетку цепляется, за эти убедительные, бесспорные, железные прутья. Он один пьет наш кислород, который отпущен на всех. Нам тоже надо, мы тянемся, задыхаемся. Наш кислородный воздух он один хлебает, а он всему живому необходим для жизни. Не один здесь! Свести нет! Дудки, для всех воздух! Вижу, кажется, и одобряю. Но не я это сделал. Тому, наглому, звезданули по яйцевидному, едва обросшему волосиками кумполу. Тряханули. Нет, мы не чикались. Но это сделал не я. Но я был заодно с теми, кто это сделал. Воздух для всех. Все мы хотим жить, выжить. И еще ему приложили, чем попадая, неоднократно. Совесть надо иметь. Он сник, обмяк, вроде воздух выпустили, как из надутой куклы, осел; с полу, утробно, сипло: «Конвой!» Начал, как ненормальный, в дверь дубасить, откуда силы взялись, на помощь кличет двуногих зверей, но там, за зверью, обитой толстой жестью, видать, не очень нас слышно, а может, неохота конвою валандаться с нашим братом. Опять упал, уже иное запел, уже умирающего лебедя поет, уже ревет ревмя, шквально:

— Братцы! Родимые, умираю!! О!!

Рванулся подняться, чтобы к окошечку. Еще одна попытка. Не смог, кувыркнулся, плюхнулся на карачки, прямо у дверей, закашлял порывисто, астматически, непрестанно, опять заблекотал. Хрюкнул неуверенно наконец движок, заурчал, недозвольный, с перебоями, надсадно, за сим — устой-

чиво; воронок задрожал противно, дернулся глупым, ретивым козлом, рванул с места в карьер: нас куда-то помчали. Беспорядочная болтанка, утруска; мотало, как в шторм на море. Шофер, поди, дурак или сроду так. Или неопытный. Забыл, видать, что людей везет, хоть и зэков, а не мешки с картошкой. На ходу полегчало. Ехали изнурительную вечность, сто лет. Я искренне и истово бормотал красновскую молитву, хорошо укреплялся ею. Саша припомнил потом, что из Горького. Откуда — не знаю, до сих пор. Не полюбобытствовал, а надо бы. Ткнулись, наконец. До мурашек противно лягнул засов, распахнулась тяжелая дверь «воронка». Начальник конвоя деловито, донельзя скрупулезно выкрикивает нас по списку — в час по чайной ложке. Крикнет фамилию, а дальше шепоток, словно слух у вас пытается, проверяет: Имя? Отчество? Статья? Срок? Окончание срока? Надо шустро высказывать из «воронка», а то как бы добрые молодцы, старатели, невзначай тебя прикладом не угостили.

— Краснов?

Очередь дошла до Краснова, скоро и меня, значит.

— Александр Сергеевич, — отрывисто чеканит Краснов, — 58-10. Девять лет. 1958-й.

Диалектика, Гераклиты всех времен и народов нас учат, что все, что имело начало, будет иметь свой конец. И до меня, стало быть, черед доплелся. Протиснулся вперед, отбарабанил что надо, порывно, правильно — откуда-то силы мобилизовались. Брезгливо, кабы невзначай не задеть, не коснуться, перепорхнул через горбившееся тело того, кто пил наш, общий воздух, а теперь, по очевидной видимости, отбросил копыта. Я проворно ныряю из «воронка», выплюнул. Глотнул жадно воздух — так, должно быть, глотает новорожденный пузырь, вывалившись из мамки. Я чуть было не завопил что есть мочи, потрясенный. Рождение — и все тут. Благословенны наши пять чувств! А сердцебиение невероятное. Ненасытно, большими глотками, хлебаю московский воздух. Продышаться — не налаживается, дыхание перехватывает. Прочухиваюсь. Силы мои неукоснительно крепнут, как на дрожжах прибывают, полуобморочные, тягостное изнеможение тает, испаряется, как дурной сон, как недоразумение. Жив курилка! Все. Сдюжил! Не вешать нюхало! Глазею по сторонам. Радость неподдельная. Где мы? Спешно верчу голову. Жмурюсь, вглядываюсь. Мало-мальски я продышался. Режет глаза, спит солнце. Обезумело: и здесь пекло. Улица. Деревянные домики, двухэтажные, с выцветшими наличниками. В три окна домишки, хибары. Не мощено. Пыль — само собой. У вокзала, небось. Куры бесстрашно, спокойно ходят. Глупая коза с бородкой,

как у Калинина, привязана к забору, тянется куда-то дура, фальшиво, неестественно блеет, словно разучилась или стесняется. Остановилась какая-то женщина, пожилая, уныло, невозмутимо, прикрыв глаза ладонью, смотрит на нас. Глаза ее ничего не выражают, равнодушие. Не впервой видать такое. Принесла бы попить. И колонка рядом. Студеная вода — рукой подать. Шаг вправо, шаг влево считается побегом, конвой стреляет без предупреждения! Танталовы муки. Может, колонка и не работает; так, осталась от прежних, неблагоустроенных времен. Москва все-таки: и на живописной окраине должен быть водопровод, сработанный еще рабами Рима. Хорошо бы добрый глоток жигулевского пива! Не сумел рассказать, как доходил в «воронке», Шаламову, обострить, драматизировать, форсировать, а надо бы.

Прощай, родная, шумная, пыльная Москва! Прощай, первопрестольный вечный град!

— Либерман?

Осечка. Никто из «воронка» не отозвался.

Рассказанное происшествие заземляет душу до сих пор. Оно является самым голгофистым из всего, что пришлось пережить. Я отнюдь не изгибался над Шаламовым, когда выбрал именно эту историю. Прежде всего и во-первых, оно имеет для меня острую символическую значимость и сакральность: завершается большой период жизни, полный мытарств, смятения, недоумения, ошибок, глупостей, начинается другая жизнь, спокойная, полнокровная, уравновешенная. Второе рождение. Я стал иным человеком, прямо-таки несвойственно сменил характер. Я давно стал ощущать, что все, что со мною происходит, не напрасно, а имеет особый, не всегда мне ведомый смысл. Кто-то вмешивается в мою жизнь, подталкивает меня на поступки, чья-то пекущаяся, опекающая, старательная, распоряжающаяся воля определяет и задает мою судьбу, карму, которые не всегда гуманны и милостивы ко мне, но непременно дидактичны. За дерзкое слушание я был высечен отцом, запомнилось. Педагогика. Очутился в темном, душном, пыльном шкафу, очнулся в мифе, во мраке, в смуте. Я и женился, должно быть, затем, чтобы выскочить из смуты, взбрыкнуться, уйти от путаницы. И ушел бы, избег темного, свирепого, терзающего жребия, но увидел Сталина на мавзолее, опять все замутилось непробудно, закружилось, завертелось, полетело в тартарары. Спятил. Я ведь рассказывал, что со мною творилось: еле ноги приволок, добрался до кровати, еле оклемался, очухался. Тема весьма и весьма деликатная, интимная. Не знаю как и быть? Не смутить бы невзначай тебя, читатель. Сначала такой сюжет, далекий. Не о себе. Один мой друг завел



собаку. Бывает. Псина к нему привязалась, представляете? Дико, безумно полюбила, боготворила, ела обожающими, влюбленными, бесподобными, преданными глазами, впадала в черную меланхолию, когда он отлучался, уезжал в командировку, ходила понурая, осунувшаяся, с permanently опущенным хвостом, места себе не находила, страдала, изнывала, того гляди окочурится. Да так по моему другу не тосковала жена, ненаглядная, любящая, преданная Ярославна! Случай из жизни друга. Ненастный, осенний вечер, когда он возникает на пороге дома после двухнедельного отсутствия и несчастный, богооставленный пес вновь видит своего повелителя: зверь впал в истерику, подлинную, конвульсии, экстаз, сопровождающийся припадочным, неумным кручением волчком, неуклюжими прыжками, лаем, надрывным, отчаянным, несусветным визгом, навзрыд, сумасшедшим лизанием рук. Э, тысяча чертей и одна ведьма. С ним еще что-то стряслось: стало корчить, сгибать; забила судорога, наконец, виденью моего друга предстало (забыл сообщить, что песик был мужского пола, самец, кобель), как за экстатической радостью, за неистовой любовью к человеку, как к божеству, проглянула неромантическая, низкая, грубая сексуальность: вылезла здоровенная, красная елда, длиннущая, по форме морковь, стала прямо на глазах расти, раздуваться, достигла непомерных размеров, хочется сказать, неправдоподобных огромностей, подчинила силе страсти, скрутила; дальше продолжает расти, как в сказке (такого не бывает!), еще бухнет; и вот — лопнула, хлестануло; весь блестящий, выдраенный к приезду моего друга паркетный пол очутился залитым семенем, хлынувшим под неимоверным напором. А чуткий, легко ранимый, безъязыкий друг, растерянный, расстроенный, угнетенный, униженный случившимся, угрюмо, уныло, смиренно заковылял по-стариковски заколоденной растопырой прочь, понуро пряча умные, полные отчаянья и стыда глаза.

Лады. Может, я это и зря. Решаюсь. Была — не была. Собрался с мужеством. Долго я эту тайну носил под сердцем, все: кончаю игру, кончаю намеки, двусмысленности, жмурки. Вперед! Смелость, говорят, города берет. Читатель, поди догадался, что мой друг, который завел собаку, и я — одно и то же лицо. Это я завел собаку. Прости меня за этот ход, стыдлив оказался. Итак, читатель, я должен сознаться, что мой восторг перед живым богом, восторг неопикуемый, немислимый, неукротимый, увенчался внезапно, скоропостижно и точь-в-точь, как у моей архичувствительной псины. Хорошо, что люди, большие, взрослые люди, со времен печального изгнания из сада-Эдема прародителей Ада-

ма и Евы напяливают на срамные места всякую там одежонку, а тем паче без одежонки нельзя в нашем климате, в этой северной, объективно скверной, подлой, нервной холодрыге. На демонстрацию я летел, как на орлих крыльях, одет был в новенький демисезонный реглан, купленный в ЦУМе к свадьбе. Последний ухватил. Почем зря хватали перед реформой. Я хочу сказать, что brutальная, безобразная сторона экстаза осталась тайной. Я покидаю живого сущного бога, стоящего в фаворской, непоколебимой высоте на фоне древнего, прекрасного Кремля. Топаю мимо драконоподобного, одетого в леса Василия Блаженного, кругалю даю, вот уж на мосту. Да-с, такие пироги. Ощущаю себя изнуренным, ощущаю порядочный спад душевных сил, крутую подмену настроения, депрессию, будоражащий, мучительный позор. В душе занозится унизительное, свинцовое чувство вины перед тем, что восторг сорвался, завершился так неблагоприятно, так злодейски материально, предательски, грязно. Где-то, когда-то, у кого-то я прочел, что динамика мистического экстаза близка к динамике полового акта и порою захватывает сферу грубой сексуальности. Очень думается, что мои наблюдения и записи были бы крайне интересны и важны Солovieву, Мережковскому, Белому, Розанову, Скрябину, Чюрленису, Нестерову, Врубелю; их бы внимательно прочли и прокомментировали Экхарт, Беме, Паскаль, испанская Тереза. Помните у Пушкина в «Рыцаре бедном»: «Не путем де волочился он за матушкой Христа»? Ах, Пушкин! Вот уж кто «несносный наблюдатель»! Мне отнюдь не удивительно и не странно, что Спаситель воспретил Марии Магдалине прикоснуться к себе, хотя и предложил апостолу Фоме вложить персты в кровоточащие раны свои. А с кем бы я поделился своими переживаниями и сомнительным, химерическим опытом, так это с Паскалем. Попадался ли тебе на глаза, читатель, «Мистический амулет» Паскаля? Вот выдержки из него (интереснейший документ!):

«От приблизительно десяти с половиной часов вечера до приблизительно полуночи с половиной.

Огонь.

Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова.

Не философов и ученых.

Достоверность. Достоверность. Чувство. Мир.

...Радость, радость, радость, слезы радости.

...Разлучился с Ним.

Оставил меня, источник воды живой».

Обжигающие записи! Зашиты были в сюртук Паскаля, зашуканы. Не предназначались для постороннего, чужого взгляда. Обнаружены случайно после смерти.

Спустя время, будучи уже взрослым, большим (уже в хрущевское время), я намекнул о своих чрезвычайных переживаниях на Красной площади в разговоре с одной очень умной, трезвой, интеллигентной женщиной, а она вдруг, непристойно покраснев, потупив глаза, доверительно поведала мне, что испытала нечто схожее, похожее, близкое, но, «как женщина». Тут же сообщила, что ее ближайшая приятельница, «очень интеллигентная женщина», после одного такого восторженного экстаза на Красной площади отказалась делить с мужем супружеское ложе, прогнала несчастного бедолагу, обозвав «грубым животным», а он-то ни сном, ни духом не ведал, что же такое случилось, в чем же он так провинился, чем прогневил обожаемую женщину, нежную супругу. Потом она спала на раскладушке, жила воспоминаниями о встрече, надеждой на новую, превратилась, если так можно выразиться, в мистическую супругу Сталина. Не хочу на эту тему распространяться. Может быть, испорченный телефон, не все так просто. Да и плохо представляю потенции, парадоксы и хитрости женской психики, женского организма. Одно добавлю, что полученного эмоционального заряда хватало ей с лихвой до следующего праздника, а о сюрреалистических последствиях удара и экстаза не буду распространяться.

Таким образом, выскакиваю я из «воронка», вдыхаю всей грудью горячий московский воздух. Второе рождение! Все вздор! Свободен! Какой же я был дурак, дурак набитый! Как умна, чутка, как права моя жена, когда сказала мне:

— У тебя замечательные родители!

Эх, мой зоркий, внимательный читатель, уж как я желал и надеялся, что удастся хитро увильнуть от излишних подробностей, дипломатично объехать стороною печальные воспоминания нежного возраста, не бередить болячки, как я надеялся изъять из рассмотрения все, что стоит за этими геркулесовыми недоразумениями. Ничего не выходит. Без разъяснений останутся одни недомолвки, намеки, двусмысленности, темные айсберги. Итак, я вывалился из «воронка», глянул на мир божий, на небо, на домики, на всамделишную, глупую козу, ощутил себя переметаморфозившимся, новорожденным, ощутил себя блудным сыном, вернувшимся в семью, к отцу и матери, в отчий дом. Но разве я уходил из-под родительского крова? Разве я бежал куда глаза глядят? Нет. В том-то и дело, что я ушел, никуда не уходя, отпал, стал внутренним эмигрантом, чужим. Почему? Что вымело меня помелом из семьи? Что вернуло? В ретроспективе прошлого видятся события, которые сильно попрали, исковеркали мою детскую психику. А ведь могло ничего такого

не быть. Грубый, разбойничий произвол случая. Читатель, поди, насторожился. Опять воспоминания детского возраста. Фрейд. Я и сам не люблю этого Фрейда с его эдиповыми комплексами. Остроумно сказала Анна Ахматова: у Эдипа не было эдипова комплекса. Конечно, Фрейд — гений, но какой-то противный, самоуверенный, самоупоенный, упрямый. Все же я намерен говорить о детстве. Я был и слыл покладистым, отзывчивым, славным пацаном, радовал маму и папу, любил их. В меру резв. Все в меру. От двух до пяти лучший возраст, говорит Чуковский, а дальше всякое бывает: характер портится, ломается; притом сплошь да рядом. На стыке возрастов грянуло событие. Врасплох. Играл, как обычно, во дворе с ребятами, заигрался. В этом возрасте ребенок без царя в голове. Меня окликнул отец. А я продолжаю отрешенно, обуюнно играть, делаю вид, что не слышу. Очень допускаю, что сцена вышла непозволительно смешной. Кто-то произвольно прыснул. Слушайте дальше. Отец обозлился, заклокотал, как индюк. Еще бы: учитель, а сын не слушается. Честь мундира! И дернула же его нелегкая продемонстрировать перед людьми законную, веками освященную отцовскую власть, проучить, вернуть в чувство малое дитя, послушника. Огромная тень накрывает меня, и властная рука отца хватает за шиворот. Все бы хорошо. Все бы этим и кончилось, да как назло, отец поскользнулся, потерял равновесие, замахал нелепо руками, как птица крыльями, плачевно хлобыстнулся о землю. Грохнул хохот — как из орудия. Всегда смешно, когда человек неожиданно падает: закон анекдота. И дети, и взрослые покатались, за животики схватились. Особенное веселье началось, когда я дунул тикать, раз, цирковой номер, ловкость рук и — след простыл. Как метеор: нет меня. Эх, свобода, свобода! Озорство, шалтай-болтай по улицам и дворам. Вечереет, скоро и ночь, темнеет. А куда деться? Помыкался, взгрустнулось, стало невыносимо скучно. Некуда такому ребенку наивному, как я, запропасться. Стою долго, как блудный сын, перед отчими дверями, не решаюсь звонить. Душой-то наладился туда, в тепло. Давлю неуверенно на кнопку. Робко позвонил. Собираюсь делать вид, что никакой вины не ведаю. Знает кошка, чье сало съела: вид у меня несчастный. Отец сразу открыл дверь, словно притаился за ней, поймал чадо за руку. По сравнению со мною, былинкою, он был сильным, как кран. Энергично, не говоря худого слова, поволок меня в комнату, а там, приготовленный заранее, терпеливо ждал меня соответствующий ошейник, немецкий. Сразу мне он в глаза бросился; декоративные металлические бляхи, тяжелая пряжка, красавец; еще с той войны, воспоминание о плене. Не

размусоливая и без рефлексий (Гамлет: «Так трусами нас делает раздумье») отец начал молча, безбожно, безудержно учить уму маленького гаденыша, грешника. Не стану вас заверять, что до этого печального случая я не ведал, что такое физическое наказание. Знал. Нынче кардинально и беспримерно переменялось представление о том, что полезно для души и тела ребенка, что вредно. Сейчас вроде не принято сечь детей. А до войны иная была жизнь, на нынешнюю вовсе нисколючко не похожая. Моя мать была поборницей суровой, немецкой школы воспитания, горячо проповедовала экзекуции, считала, что порка отнюдь не вредна маленькому человечку, а очень даже идет на пользу, закаляет его нежное тельце, укрепляет волю, твердость, бесстрашие, сопротивляемость невзгодам. Всыпать, особенно за дело, очень даже стоит: сразу мурзилка становится кротким, как овечка, положительно шелковым, начинает ходить по струнке. Но она, как и всякая женщина, была не слишком последовательна. Ее рассуждения о том, что в жизни не одни пироги и пышки, а бывают синяки и шишки, носили абстрактный характер. Так, дарила подзатыльники и затрещины, а шлепала редко и нестрашно. Не по-настоящему. Наказания за провинности вершила она одна: отец не вмешивался в мое воспитание. Но час пробил! Ошейник взял в руки отец. Целеустремленно, рьяно начал меня стегать. Не как мать, а самозабвенно, щедро, без удержу. Помню его дрожание, синие губы, ошалелые, хищные, страшные, ополоумевшие, сверкающие и одновременно кроваво-мутные буркалы. Жарит, поливает меня, вымещает на мне, цыпленке, что был смешон, что честь его пострадала. Лупит вовсю, заходится, свирепеет. Небо с овчинку. Я верещу, как свинья, которую режут, задыхаюсь, захлебываюсь от собственного крика: «Больше не буду!». А отец все сечет, подбавляет. Ору страшно, мой голос ломается, хрипнет, слабеет. Я уже не рыпаюсь, лишь судорожно вздрагиваю всем телом. А родитель все прибавляет жару, выкладывается, вымещает, сам остановиться не может. В дверь раздался сердитый стук. Мой ангел-хранитель, посланный Богом, — сосед. Видать, переутомился, не выдержал душераздирающего, отчаянного, дикого, пронзительного, проникающего сквозь стены SOS, вмешался: «Дайте покоя!». Отец разом опомнился: дернул тормоз Матросова, бросил затягивающую как омут, страду. А что было бы, если бы не возмущенный стук в дверь старого хрыча? Мне бы ангельский чин в лоне вечности, а отцу? Не знаю и знать не хочу. Пришла мама. Куда она запропастилась? Я продолжаю беспомощно, распластанно лежать в кресле, где меня огорчали нещадно и жарко, учили манерам, уважению

старших, безоговорочному послушанию с первого слова и даже с полуслова. Нет бы маме раньше прийти! Я душой потянулся к ней, хотел пожаловаться, что меня чуть не забили только за то, что я не выказал уважения к предкам, к корням. Отец первым поднял тему, сообщил, что сын растет хаменьшем, что он вынужден был учинить большую порку, вложить мне березовой лапши. Но отец не сказал, что увлекся, что лупил меня так, что небу было тошно, что чудом не забил до смерти, что только стук соседа в дверь спас мне жизнь. Мать взыскивающе, отчужденно, осуждающе посмотрела на меня. Она одобрила отца. Даже заметила, что хорошо, что он наконец-то занялся воспитанием сына, не отлынивает. Ее слова больно ранили мое угнетенное сердце: предательство самого родного, самого чуткого человека! Нет у меня матери! Подступила истерика к горлу. Я ощутил беззащитность, беспомощность в злом, холодном мире взрослых. Повержен, сломлен. Душевная рана не зализывалась. Присмилел, избегал отца. Не мог простить матери. Слабое, ласковое, доверчивое существо сразу сделалось чахлым подранком. И сейчас заявляю. Всем! Всем! Во всеуслышанье. Родители, опомнитесь, не порядок лупцевать так увлеченно Богом посланного вам беззащитного человека. Нельзя без меры и удержу. Зачем отводишь душу, истязая маленькое, психически неокрепшее существо? Пусть оно виновно, но нельзя же так! Приструнить, слегка, для ума и острастки в духе и букве Пирогова — другое дело, святое дело. Но не так. Не уклонюсь и скажу: взрослые дяди и тети, извольте обуздывать разбушевавшиеся инстинкты, извольте не вымещать дикую вашу злобу на детях, гасите самолюбие, обиды. Дети наивны, глупы. Все равно они не понимают, что такое честь мундира, дворянская спесь и вообще честь. С Дантесом, если обижен, дуэлируйся сколько угодно (еще кто кого?), а сына-кроху, подлец, не тронь. Не гаси свет разума, когда хватаешь в руки орудие наказания, ремень, плетку, розгу, ошейник собачий, воспоминание о немецком плене. Зашло для меня солнце детства, самоизолировался, чуждался родителей, приохотился проводить время с нянькой, привязался, тянулся к ней. Хочется еще раз сказать, что довоенная жизнь сильно разнилась от теперешней. Мы жили скромно. Учителя мало зарабатывали. Я все детство мечтал о велосипеде, двухколесном, как у больших. Даже заикнуться о своей пламенной мечте не смел: это все равно, что просить луну с неба. А прислугу родители держали, на сундуке в коридоре спала, соседи понимали, терпели. Вера привязалась к нашей семье, родной была. Примета времени. Рассказываю, самому странно. Вера матери поверяла свои тайны, о чем-то

они непрерывно судачили, шептались, о чем-то Вера советовалась. Я залез в шкаф, закрылся, тихо там играю, сижу в сплошной плотной темноте. Задремал даже. Очнулся, когда мама и Вера пришли с рынка, громко беспечно тараторят, зацепились языками, как это водится у женщин, отцепиться не могут. Разговор не для моих ушей предназначен. Невольно и незаконно подслушал треп взрослых, сделал капитальное, царапающее сердце, обескураживающее открытие. Слабая, робкая детская душонка вскипела страшным волнением, но мир, окружающий меня, стал пронзительно ясным, не противоречивым: все объяснилось. Конечно, такого рода наваждения частенько врываются в обиженные, мнительные детские головки, но не надолго, не приливают навсегда. У меня иначе. Всерьез, род болезни, недуга. Итак, из разговора мамы и Веры я узнаю, что я отцу вовсе не родной. А кто же мой родной отец? Отвечаю: Маяковский! Нарочно не придумайшь! Тише, читатель. Без шухера! Знаю, у вас куча вопросов. Но прежде всего позвольте напомнить, что в тридцатые годы, когда происходило событие, Маяковский не воспринимался таким уж Голиафом, гигантом, как ныне. Смею думать, если вам кто-нибудь скажет, что его настоящий, родной отец Сельвинский, вы не воспримете это как безудержное, непревзойденное хвастовство, арапство, прощельность, манию величия. Сельвинский так Сельвинский. Эко диво. А в те годы все эти Маяковские, Сельвинские, Каменские котировались приблизительно одинаково, равно. О них знали в узком цеховом кругу, за пределами которого они были ничто и никто. А сейчас Маяковский чуть ли не равен Пушкину. Уверен, найдется такой Г. В., который прогорланит: «Выше!». Вообще-то я знал, что мать якшалась с Маяковским, что он надписал ей несколько своих книжек. Как только отец поссорится с матерью (а это бывало частенько), летят на пол злосчастные книжки, отец сумасшедше топает ногами, орет, как тюлень, пинает книжки. Мать кротко его увещевает, говорит: «Хочешь, я их сожгу?» Книги почему-то не сжигаются, не уничтожаются, принимают участие в следующей, скорой, очередной розни. Вот оно что (открытие!): он мне не родной, этот изверг, лупивший меня, а Маяковский мой настоящий отец, большой, замечательный человек, революционер, борец; его, моего отца, Маяковского, любил Сталин, назвал «самым талантливым». Мать предательница, изменница, обманула отца, то бишь Маяковского, бросила, сошлась с этим злым, грубым, пошлым существом, которого и человеком не назовешь. Сухайдр, кашей бессмертный, злыдень. И этот изверг ненавидит меня, принца и нищего, наследника прекрасного, сказочного царства, задумал забить, изжить, изничто-

жить физически. А отец мой, Маяковский, покончил жизнь самоубийством из-за измены матери, не пережил ее женского коварства. Ты не отец мне, а шут на троне, фальшивый купон, самозванец. Тушинский вор! Вот ты кто! И росточек у тебя крохотный, заурядно-позорный. Я тебя скоро перерасту. Да, да. Скоро. А книги, подписанные Маяковским, подтверждают, что он нежно любил мать. Какую жалкую, угрюмую мымру мать предпочла тому, кто был и остается самым талантливым поэтом нашей эпохи! Как это могло случиться? Где были ее острые глаза? Ссоры родителей, случайно оброненные слова, укрепляли мою догадку. Смута, ураганом ворвавшаяся в мое сердце, легко, в два счета, без выстрела единого покорила его. Приютская крыса, круглый казанский сирота! Будоражил, растревлял рану. Безотцовщина. В матери видел развратную подлую женщину. Есть такая песенка: «Наша мамка стала нехорошею...». Ужасная песенка! Двор, улица открыли мне свои объятия. Завязались дружбы. Другом я был отличным, как Пушкин, нелюбимый сын. Ценю дружбу. А сколько детей, потерявших отцов на войне, страдали, как я, от безотцовщины, стыдились, презирали, ненавидели, проклинали, как Гамлет, распутных матерей, ищущих мимолетного счастья. Мы обрели объект горького, болезненного, истерического поклонения: Сталин. Он, Сталин, стало быть, заменил нам отцов, погибших героями на войне. Так все естественно, просто, в порядке вещей. Мы безумствовали, когда видели Сталина на мавзолее. Нас надо понять, простить. Мы голодные, натурально вшивые, несчастные, неухоженные дети военного времени. У нас нет отцов. Мы и создали истинный, истый культ Сталина. Мы, а не пропаганда, уверяю вас. Может, мне следует быть осторожнее с обобщениями. Может, все не так. Может, это мнимое, одностороннее, субъективное, тенденциозное толкование исторического процесса и такого сложного, дремучего явления, как культ Сталина. Где миф, где почва и реальность? Думается, что читатель не удивится, что мудреная трагедия Шекспира «Гамлет» имела на меня угнетающее, деморализующее воздействие. Обо мне! Для меня писалось! О «Гамлете» немало спорят литературоведы, филологи, говорят много стоящего, умного. Каждая эпоха заново читает и открывает эту вещь. Для XIX века — лишний человек. Нас в школе учили, что это глупо. Всякий школьник знает, как свои пять пальцев, и вам запросто докажет, что Гамлет никакой не лишний человек, не Рудин, не Чацкий, не рыцарь на час, не Печорин. Перед нами не трагедия безволия: Гамлет умеет интриговать, действовать. Он человек Возрождения, притко, ловко владеет шпагой, любо-дорого смотреть на сцене, как он дерется с



Лазртом, братом Офелии. Гамлет закалывает короля. Сколько раз взхлеб я перечитывал «Гамлета»! Не бессильным, сухим умом, а глубокою печенкою чувствовал, что это все обо мне, о моих болячках, что есть здесь сокровенный смысл, который литературоведы игнорируют. А все так просто и ясно. Я — это Гамлет. Моя мать — коварная предательница Гертруда, королева. Грубый, пошлый, фальшивый Клавдий, король — мой мнимый отец. А Маяковский — истинный, убитый, великий король. Расставил я все точки над «і», и вы, читатель, улыбнулись: неприлично как-то. Нарушена этика, правила игры. Так о чем же «Гамлет»? Имеющий уши да слышит. Имеющий глаза да видит.

— Либерман!

Начальник конвоя повышает голос, рвет глотку. Опять осечка. Заминочка. А из воронка — молодо, озорно, дерзко, кто во что горазд — понесли рапортички:

— Был таков!

— С концами, ушел!

— Ищи ветра в поле!

— Сидеть, начальник, тебе!

— Эх, какой ты говорок...

Начальник конвоя замешкался, сунулся было в тамбур нашего воронка, но чуть не кубарем оттуда вышмыгнул, заметался, засуетился, замельтешил, забегал. Времени у него, знать, было в обрез, и этот подарочек судьбы ему совсем излишен. Остается одно: на скорую руку химичить акт, объяснить, поспешно оправдываться, отбредиваться, как, почему, при каких таких стечениях обстоятельств человек, вверенный ему, скончался, да еще вроде бы естественной смертью. Тебе сдали по списку живых людей, и ты по списку и по счету должен сдать столько же, а у тебя сказала усущка, утруска. Интересно знать, сулятся ли ему неприятности за такую халатность? А в чем, скажите на милость, виноват начальник конвоя? Солнцепек, жарница. У нас климат такой. А ведь могут по головке не погладить. Сегодня несчастный случай, завтра несчастный случай, а у других все хорошо, гладко. Недолго и должности лишиться. Того, кто окочур выдал в воронке из-за жаркого климата, выволокли за руки и ноги, понесли в тенок, голова раскачивается на длинной шее, как у гуся, ненароком оторвется. Глаза открыты. Приметная, седая, жесткая, очень с виду негигиеничная щетина, очень уж замшелый. Смерть лишена величия, тишины. Уложили в тенок у забора, в двух шагах от нас. Не знаю, кто он: бытовик или 58-я. От этапа в утлой памяти спаслось от всепоглощающей, всепожирающей реки забвения напут-

ствии и предупреждение, брошенное в отсек столыпина: «Вологодский конвой шутить не любит!». И еще — резь в мочевом пузыре, разорвется того гляди. Это все в столыпине.

По моему впечатлению, очень рельефно оформившемуся, вовсе не из-за меня Шаламов не поднял очередной, великой книги. Ему, знаете ли, очень трудно было наскребать материал. Туг на ухо. А для глухих, говорят, две обедни не поют. Помнится, докладываю ему подробности, а он никак не усечет, в чем перец и соль рассказа? Естественно, зэкoв в «воронке» повезут. Возили и будут возить. Как же иначе? Где ж крутой маршрут? Говорит, гефсимании не вижу! Я же, как дебильный неуч, начинаю кренделя выкаблучивать опять от печки, повторяю снова сказ, а Шаламов становится все нервнее, раздражительнее. Я горланю ему прямо в ухо, рупором руки сложил, а он, глухая тетеря, опять переспрашивает, моргает: где ужасы? Где Голгофа? Где индивидуальный надел и авва отче, если можешь, чашу мимо пронеси? Почему кисло в рот?

□ □ □

Коль скоро в балладу о нашем живописном, легендарно-упомрачительном ОЛПе, на котором разразились события большой исторической, космической важности, на котором вовсю била ключом интеллектуальная жизнь в начале пятидесятых годов, собралось волею судеб немало гениальных голов, интродуцирована сцена смерти, то есть основание для опасений: а что если вы, читатель, высмотрите в интродукции-присказке литературно-художественный трюк, эдакое нарочито-намеренное «ружье», которое теперь обязано по законам жанра выстрелить, шибануть, так сказать, обрамить, фланкировать. В школе все мы проходили Пушкина. Как же, «Евгений Онегин», роман в стихах. То да се. Пятое да десятое. Объясняли нам, что структурно роман в точности повторяет басню Эзопа «Журавль и Цапля», действие развивается между двумя письмами: письмо Татьяны к Онегину и письмо Онегина к Татьяне. Какая стройность! «Анна Каренина» начинается зловещим случаем на вокзале, кончается тем, как сама Анна сигает в пролет между двумя вагонами, падает под колеса поезда: «Свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». «Илиада»: единоборства Менелая с Парисом и Ахилла с Гектором — обрамляют и фланкируют остальные события. Но поверьте мне, читатель, что у меня вовсе не

прием, как у Гомера, а тоскливое и не меркнувшее в памяти событие жизни, о котором я в свое время чистосердечно, без дураков, рассказал Шаламову, а Шаламов признал это все негодим для своей новой книги, признал недостаточно апокалипсическим и социально значимым. Раз выплыла тема умирания и смерти, позволю себе немного полюбомудрствовать. Я, знаете ли, очень интересовался предсмертными мытарствами и приключениями души человеческой. Пофилософствуешь, и ум вскружится. Говорят, что первое, что чувствует рождающийся ребенок, это удушье, судорожное, инстинктивное желание-неумение хлебнуть воздух, расправить легкие. Из вечной тьмы небытия с ужасом от удушья, с криком отчаяния душа выпрыгивает в жизнь, глотает воздух. Это вначале. А в конце: вне зависимости от того, какой неминуемой смертью вы, читатель, окочуритесь, — от дурацкого легкого гриппа, от инфаркта, от инсульта, от рака, от непроходимости старческой — жизнь завершается удушьем. Если в счастливой Америке вас ненароком жажнут по голове гуманным, безболезненным электрическим стулом, и вы, как принято считать, мгновенно, через общий паралич, отдадите последнюю чалку, последнее чувство, что вы, как живой организм, испытаете, будет не боль, а одно сугубое удушье. Удушье, а за ним: дзинь-ля-ля. Неколебимая, верная долгу Мойра Атропос (буквально: та, которая не оборачивается назад) обрывает тонкую нить субъективного бытия и субъективного времени. Конец! Больше ничего нет, а значит, как это гениально схватил, уловил Достоевский, удушье никогда не кончается, остается в вечности. Дурная бесконечность. Вечно и присно удушье. Быстроногий скороход Ахиллес, воспетый Гомером, никогда не сможет преодолеть дихотомии, не догонит черепаху, а это знали и умно изрекли мои подопечные греки. Они доказали. Мутно болото, пахнет тухлой, гнилой метафизикой. Может, вечного, незатухающего, неумирающего удушья вовсе нет. А проще, наше вам с кисточкой, пробежит, как у Чехова, стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, а дальше, как уверяет Шекспир, «тишина»: «бобок», каюк, белые тапочки, вечный тлен, абсолютная, вечная тьма, великое всепоглощающее ничто, черная дыра, поминай, как звали.

□ □ □

Вообще-то, как уже недвусмысленно сообщалось, я попытался на летописный очерк о Краснове, своем друге, а в связи с ним и о Каргопольяге, о благословенном ОЛПе-2 — Афинах мира, где к началу пятидесятых годов сгрудилось больше выдающихся умов, чем в солнечной Греции в век

Перикла, и если я так долго не переключаюсь со своей особы, то только потому, что о себе писать проще. Можно зедь и не справиться с поставленной задачей. Можно всю жизнь смотреть в потолок, созерцать его, но так и не понять каким образом Краснов в столь неблагоприятных условиях, как лагерь, смог оседлать и взнуздать великую идею, дать ей неожиданное, дальновидное, пророческое истолкование. Отметим, что изложение и описание внешних условий быта не сулят понимания идеи. Хотелось бы эти слова подчеркнуть жирно. Отнюдь не значит, что мой друг был всего-навсего далек от действительности, предрасположен к абстрактным, метафизическим построениям, в чем-то был подслеповат. Не буду отрицать, что отчасти это так. А быть может, для того, чтобы видеть, как орел, дальнее, идею-образ, и надо быть дальнзорким. В земных, суетных делах был подслеповат великий астроном Тихо де Браге — о чем полно анекдотов. Бесспорно, имеется разлад и раскол между повседневными несносными реалиями лагеря, опытом, который волеяневолей должен был стяжаться по мере того, как мой башковитый друг адаптировался к экстраординарным условиям и глубинным, метафизическим осмыслением, оформлением этой эмпирии в головную теорию, которая запросто могла разворотить мозги любому, которая до сих пор вызывает мое подлинное восхищение. А знаешь ли, читатель (может быть, этого ты и не знаешь), что все великие философские концепции создавались как результат внутреннего озарения, а не под влиянием повседневного опыта и жалкого житейского быта. Я был крайне смущен, когда взял в руки историю философии (поневоле: греки стали моей специальностью, пришлось продирааться и сквозь их интеллектуальные построения), прочитал о Фалесе, которого древние причислили к семи великим мудрецам: мудрость Фалеса сводилась к тому, что он учил, что все состоит из воды. Ну это же явно не так! Какая-то глупость! Может быть, надо мною шутят. Может быть, это надо понимать как-то аллегорически, ну не прямо из воды, а... словом, как-то иначе. Одна моя знакомая, открыв Гегеля, сказала: или я дура, или Гегель. Все, значит, состоит из воды. Нет, нам, русским этого не понять! Почему именно из воды? У Гомера куда ни шло: «Река Океан, от коего все родилось». Еще больше испугал меня Парменид, который уверенно отрицал реальность изменения, развития, движения. Движения нет. Нелепость. Как это можно серьезно говорить? В чем мудрость? Оказывается, если бы вы сказали Пармениду, что видите движущиеся предметы, что факт наличия движения вам гарантируют ваши органы чувств, он бы вам возразил: «Нет, с помощью аргументов разума обсуди ты предложен-

ный мною спорный вопрос». Значит, и Фалес, и Парменид, отлично понимали, что их философия находится в явном, кричащем, нахальном, неприличном противоречии с повседневным опытом простых людей, человека с улицы, неизощренного в любомудрии. Великая философия греков дерзко, смело противопоставлена образному, предметному, чувственному восприятию мира: она представляет собою результат интеллектуального осмысления бытия, плод могучих абстракций. Это философия впервые в истории человечества декларировала абсолютную автономность мысли. Она больше ценила внутреннюю логическую непротиворечивость, последовательность, чем совпадение с той картиной действительности, которую лепят нам пошлые чувства. Увлекаясь греками, я не раз и не два вспоминал о Краснове, вспоминал дерзкие, высокомерные, интеллигентные, выигрышные концепции моего славного, несравненного друга.

Эй, ямщик, не гони лошадей! Избежим крутых виражей фабулы, не будем перемахивать барьеры, форсировать изложение, забегать вперед, пренебрегать мерой, воспетой великими эллинами, а равно и последовательным чином внешних ситуаций и обстоятельств, которые тесною толпою обступили новоиспеченного лагерника, юного, дерзкого бесстрашного философа.

Вы, благородный читатель, поди, не раз слыхивали, что лагерная хмарь и фантазмагория начинается чистилищем: карантинном. Это так. В карантине я впервые увидел новые денежные знаки.

Нас с Красновым на работу почему-то не гоняли, позабыли, что ли. Погодка выдалась пригожей во всех отношениях: безветренно, теплень. Млеем на нетомящем архангельском солнышке у барака, баклушничаем, предаемся последнему пuzогрейству и спиногрейству. Краснов разоблачился до пояса, нацелил малокровно-мертвенную спину лучам любезного августовского, неведомого солнца. Я зажмурился, пребываю в полузабытьи и бездумье, наскреб с трудом энергии, чтобы положить хер с прибором на звезду пленительного счастья и не дурманить мои зэчьи мозги привязчивой, не знающей границы, прожорливой мечтой-грезой о несбыточной, уплывшей из жизни воле, о нормальной, простой человеческой жизни, а эта хитрая, непокорная греза того и гляди подкрадется, прорвется, тяпнет и утащит фантазию прочь от грубой, твердой почвы, унесет, как унес орел Ганимеда, в сияющую обитель света, туда, где «нет опоры живому телу». Ни о чем не думать, не думать, главное, о завтрашнем дне, который, как говорится в древней книге, «сам о себе позаботится». Жизнь полетела под откос, пошла сикось-накось. Впереди

корячится лагерь. Его же царствию не будет конца. У меня очень даже получалось: укрощал фантазию и пустые мечты. Царство Божие внутри нас. Забывался. Чувствовал себя отлично. Без ложной скромности скажу, что моя психика уравновешена. Не ведаю, что такое тоска, не склонен к меланхолической созерцательности, умею легко, спокойно засыпать, не думать о девочках на сон грядущий, как некоторые. При невзгодах я, как эластичный мыслящий тростник, сгибаюсь, но не унываю: пройдут громы и молнии, я опять, в отличие от дубов, выпрямлюсь. Паскаль, Тютчев уподобляют человека тростнику. Значит, милый читатель, мы в карантине. Представь. Новенький забор, запах свежего теса: забор отделяет мужскую зону от женской. Почему-то в одном месте забора доски всегда оторваны: дыра. Каждую неделю дыру зашивают, но она вновь и вновь, как по щучьему велению, образуется на прежнем месте. Доски не держатся здесь: сами собой отлетают. В амбразуру удобно нырнуть глазом, усмотреть, что там, за забором, делается, и, если бы ты, читатель, туда нацелил изголодавшийся, тоскливый глаз, то увидел бы, как там в некотором отдалении с ленивой грацией крупных хищниц шастают эзчки, бабье — «наши женщины». Они постарше нас с Красновым, им под тридцать, а в общем кто их разберет, тучногрудые, донельзя широкобедрые, сдобные, перезрелые халды, лахудры, кикиморы; как в песне: «Моя милка сто пудов, не боится верблюдов!». Так видит этих женщин Краснов. Я бы рискнул назвать их цветущими женщинами. Тициановский, зрелый тип женщины для Краснова не существует. В глубине души он не верит, что таких женщин вообще кто-нибудь может любить настоящей любовью. Там, за забором, для Краснова зряшный, несуществующий мир. К тому же эти фефелистые тетки блудливы, неразборчивы, как кошки: каждую ночь меняют «мужей». Об одной — «красючка, век свободки не видать» — наш брат ээк судил с нескрываемым восхищением, переходящим прямо в испуг: ненасытна, десяток за ночь пропускала. У нас междусобойчики и дразги. Кому первым на Зойку сигать, а кому вторым. Кто последний? Очередь, записывались. Не для Краснова, не для меня.

Приютились, говорю, мы у барака, нежимся, кемарим, кости, отсыревшие в тюрьме, прогреваем. Я котом жмурюсь, морду солнышку навстречу тяну, поддался сумрачной приятности. Кто-то (соображаю, что то может лишь Краснов) тырк меня локтем, заядло:

— Лебедь, глядь. Резвее. Совсем девчурка. Мила, как мила. Ангел! Глядь же! И галстучек пионерский.

Читатель, судите, рядите сами. Чудеса в решетке, да и

только. В амбразуре забора было видно существо столь юное, что моему философу оно увиделось сущим ребенком — чистым, невинным, взаправдашно прекрасным, излучающим мощное, магнетическое, гипнотизирующее очарование. А на шейке отроковицы, и правда, что-то вроде красненькой косыночки, что принималось за пионерский галстучек. Любо-дорого смотреть! Было очень странно и не верилось, что здесь, на нашем пятачке, в карантине, где царит и бушует знойная, гомерическая похабелъ, где все грязно, грубо, примитивно, преступно и пошло, возможна хрупкая, изысканная, эфемерная красота. Голенастый подросток смотрелся волшебным, эйфорическим символом, одним из тех, кто временами заскакивает в наш грубый мир, скажем, в часы лютой, одуревающей, затяжной, ничем не гасимой зубной скорби (в народе есть поверие, что физическое страдание — короткий, прямой путь к спасению), когда неожиданно и невнятно почему боль отступает, накатывает облегчение — становится легко-легко и малость неправдоподобно: еще не верится, что черная боль убыла навсегда, еще есть страх, что она вот-вот нагрянет с новой силой и с новыми правами; но вот уже цветет, сверкает надежда на исцеление; и ты испытываешь чувство, которое сродни мистическому просветлению, сродни с пневмой: непосредственно знаешь, что соприкоснулся с безмерной, краеугольной, неизъяснимой тайной: очевидным, как дважды два, свидетельством, что Кто-то смилостивился над тобой, что живешь ты среди непонятностей, загадок, иероглифов, Сфинксов и тайн, что чудеса никогда не переводятся. Остановись, мгновение! Нам некуда больше спешить: мир прекрасен! Мой Краснов в немом, нелепом восторге, как лунатик в трансе, поднялся, все еще держа лагерную сбновку второго срока в руках, которой прибарахлился в каптерке, и рубашку. Стоял, как стояли перед Прекрасною Еленою троянские мудрецы, а если попросту: маячил эдакой нелепой орясиной. Глаза моего высоколобого друга намертво приклеились к «ангелу дивной красоты», под легкой маечкой-матросочкой которого едва дыбились груди; не груди, так, что-то едва наметившееся: два сладких трюфеля. Она, ангелочек, — ноль внимания на опупелого философа. Она от души и навзрыд хохотала, захлебываясь, заразительно искренне, счастливо, как смеются в классическом детстве. Замечу и обращаю для полноты картины ваше внимание на то, что она у забора не была однаодинешенька. Уже по нашу сторону забора, перед амбразурой, но так, что девочку нам видно хорошо — злобно-угрюмый тип, здоровенный детина с густыми, черными, как у армян и всяких там восточных народов, дремучими усищами.

Мурлом он даже смахивал на молодого Хемингуэя. Есть такая фотография, кажется в ЖЗЛ, тридцатые годы. На морде нашего, лагерного Хемингуэя дохлое уныние, как у шизоида, а в то же время откровенная, бесчинная, пошлая, неприличная похотливость: млеет. Дышит, как паровоз. Левой, могучей, короткой рукой он мнет, мучает безвинную кепку: терпенья нет. На руке выразительно, жирно, расплываясь, синеет наколка: «Помни заветы матери!!!». Увлеченный неземным видением красоты философ и не дал себе труда приметить мордастого, гориллоидного Хемингуэя: абстрагировался, убрал все лишнее, случайное, мешающее видеть лик дивной, божественной красоты (Плотин в «Эннеадах» описывая процесс художественного творчества, замечает: «Ваятель отбрасывает лишнее»; Блок: «Сотри случайные черты / И ты увидишь, мир прекрасен»). Незнакомка наконец поцеловала глазами Краснова, привычно-победно, дерзко-бесстыдно, демонстративно. Она ничуть не удивилась его дурацкому столбняку. Еще зыркнула, высунула язычок, длинненький, тонюсенький, нежно-розовый, как семга, — подразнила философа.

Читатель, прошу тишины: спокойствия, внимания.

Продолжая, забыв о философе, предназначая Хемингуэю, в сердечной простоте она искренне по гениальности пустила: — Умру за горячую...!

О, силы небесные! Где вы? Хлестануло — убит наповал наш философ, Краснов Александр Сергеевич. Ах, если бы вы, читатель, могли видеть этот экзистенциальный, сверхисторический момент, с которого начинается лагерное существование моего замечательного друга! Ушам не верит. Поверил. Его, зайчика, скособочило всего, как если бы кто-то за здорово живешь шарахнул его по голове увесистым дрынком. Да и как было не сверзиться с вершины седьмого неба на грешную, грязную землю, когда из невинных, детских уст небесного создания, воплощавшего так полно гений чистой красоты, слетает запросто эдакий смачный, кудрявый, обескураживающе-скабрезный, соленый шедевр, спархивает и больно разит ваше не очень еще адаптированное ухо. (Гомер-Жуковский: «Странное, дочь моя, слово из уст у тебя излетело». Гомер-Губер: «Дитя мое, что за слово выбежало у тебя из-за ограда зубов?». В выразительности с Гомером только наш Пушкин может соперничать: «Какое слово ты сказала?») Вижу, как у Краснова всполошились и запорхали ресницы, как он, приснодева, сам не свой, сунул голову в плечи, напомним видом оторопелую черепаху, прячущуюся под каменный панцирь, поддел хламиду второго срока и ру-



башку, стреканул тараканей рысью в барак. Антракт. Занавес. Читатель, аплодисментов не слышу.

Я, выждав приличествующую минуту, захватил манатки, побрел за убитым, осрамившимся Красновым. Он сидел бледный, как глиста в обмороке; силком выдавил улыбку.

— Бывают в жизни злые шутки, — сказал я.

— Все. Хватит. Тихо, без шухера, лебедь мой! — нервно разрядился Краснов. — Не выношу паники. Все, ясно, как солнце. Комментарии излишни, скучны.

После короткой паузы он выхлестнул тираду:

— Все же хочу проиллюстрировать на наглядном примере, что то, что мещанин называет фактом, далеко не элементарная штукавина. Видимость не всегда впору сущности. Платон считал истину, добро, красоту как бы единосущными. Поверь мне, лебедь, что это подлинный, кромешный, густопсовый романтизм. А если оформить мысль и обвинение рельефнее, точнее: грубая пенка. Наша скороспелка в пионерском галстуке лишь видится ангелом, но это отнюдь не факт, тем паче не действительность. А кажимость, видимость, дым, который рассеется, вылетит в трубу, как банкрот, труха, сон пустой. Действительность выше видимости, выше факта. Кажется, тот же Платон считал, что ухо мудрее глаза. Скажу свое мнение. Девочка с платочком на шее лишь воспринимается чудом, а на поверку: наглая, бессыжая, аморальная тварь, клоака, рвотный порошок. Пробы негде ставить. А ты — факт, факт. Факты затемняют истину. Стоит подумать честно и серьезно, сильно, что такое факт. Да ну ее в болото! Что ты на меня вылупился? Не узнаешь?

□ □ □

Нас оставили на комендантском ОЛПе. Краснова маханули на шпалорезку. Место, я вам честно скажу, аховое. По мне бы — ад. Надо ли объяснять? Какой-то зэк обмишурился, не успел моргнуть глазом, напрочь отхватил себе пальцы рук. Маятниковая пила не шутит. Надо думать, такое от усталости, ротозейства, хронического недоедания, недосыпа, апатии, задрипанности. Не членовредительство. Злонамеренного ничего не было, и никто уголовщинки ему не паял. И до него, кто стоял на маятниковой пиле, так кончали: все. Рано или поздно. Недоброе для зэка, доходяги, место. Краснов встал на маятниковую пилу, с ходу сделался заправским, незаменимым мастером; заявил мне, что шпалорезка для него самое сподручное место, что работа посильна (радовался!), что готов отбыть свой червонец на маятниковой пиле.

— Лебедь, — говорил, — за себя я абсолютно уверен. Ничего со мной не случится. Глаз острый, рука твердая, не дрогнет. А знаешь, за пилой время летит. Как заведенный работаю. Не успел оглянуться — обед привезли, жбаны с кашей разгружают, звенят; перерыв, а там, глядь, гудок, конец смены. Сосновый дух, свежий воздух бодрит. Усталости ни в одном глазу. А нож, как гильотина, сам, собственной тяжестью режет, рвет древесину, усилий почти не требует. Звенит! Нудит, зудит, скулит, на нервы, правда, действует. Даже весело...

К этому времени я привык к Краснову, пристально его разглядел, изучил его, всерьез привязался к нему. Я был изрядно высокого представления о физических и духовных данных Краснова. Я свято верил в Краснова. Его слова не считал пустым бахвальством, брехней, мало опасался, что его пребывание на шпалорезке закончится осложнениями, неправимыми увечьями. Предварительно и мимоходом сообщу, что нисколько не мазанул: на шпалорезке с Красновым, слава Богу, ничего худого не приключилось.

23-й барак — клоповник сумасшедший, немилосердный: насекомые в нем выволюционировались на богатых харчах непомерные, как черепахи мезозойской эры, притом морозоустойчивые и с крыльями, говорят, хотя я сам не видел, чтобы они летали, врать зря не буду. Запах, если невзначай, случаем раздавишь, резкий, надрывный, пронзительный: армянский коньяк три звездочки ереванского разлива, точно! Клопы несметными, несчетными стадами бродили по нарам, по стенам, по потолку. Мы с Красновым, как единокровные братишки-близнецы, повязанные жребием, гнездимся на хлипкой, туда-сюда качающейся вагонке — верхние нары. На соседних — Шалимов (прошу не путать с Шаламовым, с которым я познакомился позже у Надежды Яковлевны Мандельштам), напарник Краснова по шпалорезке: неумемный трепач, воодушевленно плетет одну за другой саги, повествует, как был на страшном 46-ом ОЛПе, куда и злейшему врагу попасть не пожелает. Две трети ОЛПа — доходяги.

В пору иную, в незабвенные шестидесятые годы, уже на воле, когда я через Краснова перезнакомился и сблизился со всей их шатией-братией, опаленной лагерем, с несравненным их предводителем Кузьмою, так до конца и не разганным, гордыми, мощными умами: со Шмайном, Красиным, Александровым, Смирновым, Федоровым, с другими гавриками (братались, как ошалелые, напропалую говорили о лагере, о веселом житии-бытии, о каторжной молодости — заново переживали прежнее, наговориться всласть не могли), так вот раз Илья Шмайн потребовал безотлагательно, чтобы

каждый из нас, вынь да положь, выудил из памяти единственный эпизод, в котором полно, как солнце в капле воды, отразилась душа лагеря, самое характерное, сверхтипичное. Подход отличный от шаламовского: Шмайн хотел не самое ужасное и страшное, а типичное. Как ни странно это может показаться, для самого Шмайна лагерь видится хотя и мрачным, зловещим, пророчески апокалипсическим, но все же немного театральным действием. Представьте, поножовщина. Не так уж важно, что было. Ну то, ну се, пятое, десятое, лагерь, словом. Все позади, стихло. Ночная смена, рабочая зона. Илья вышел из курилки в осеннюю неразбериху-непогоду, а в природе случились изменения, стихло, нахальная, преогромная, непомерная, каких не бывает, луна вылезла одним боком из-за буйной черной тучи, пугает нещадно, вот-вот туча снова заграбастает ее, обнимет, слопает. Безнадега в сердце. Душа тускла, подла, смердит, как Лазарь-четыредневник. Чей-то молодой голос; блатной запел, посланный, как ангел молитвы, насквозь просек душу: «Нависли тучи, словно гроздья винограда». И душа Ильи воскресла, словно кто, имеющий право и власть, прикрикнул: «Лазарь, встань, иди вон». Все изменилось и в природе. И луна уже льет не кровавый, а зябко-меланхолический, двусмысленно-гермафродитический, таинственный свет, вдруг фасонно переменялась, умеренно водворилась над лесом чернеющим, блестят безупречно круглым николаевским золотым или той путеводной унцией, прибитой высоко к мачте корабля, призывая смело сразиться с роком, преследовать неумолимого Белого Кита. Блатной пел. Луна сияла. Если бы вы, читатель, знали, как я люблю и уважаю Шмайна. Шмайн — голова. Мое восхищение Шмайном не знает берегов, как реализм. Однако в моих воспоминаниях лагерь преснее, будничнее, не так театрально эффектен, не так художественно закончен. Возвратимся в наш чертог, барак 23: длинный ряд вагонок, идущих по обе стороны широкого центрального прохода, полумрак, узаконенный и привычный гомон, тарарам, дым коромыслом, радио вовсю ревет. Вот уж зло, нервы не выдерживают. Лежу на нарах, слушаю надоедливый, дидактический треп Шалимова. На сей раз он брехает, как обмишулил голодную смертушку, как ускользнул из ее цепких, когтистых, железных лап.

— Студент, слушай былинку, учись пока жив! — присказка. — С воли ни одной посылки, никаких шишей, а жив. Почему? За пайкой лишней не гнался. За добавку и лишний черпак каши не выкладывался. Приходим в лес. Первое дело — нарубить сучьев, сухих. Первое дело — костер. Весь день дотемна у костра кукую. Приди, приди ко мне желан-

ная свобода, я обогрею тебя ласковой рукой. Думку думаю, а в груди на весь мир злорадия тлеет.

Заливается соловьем Савич, как с кипяточном штрафную пайку сосет, как от зубов мороза хоронится. А пилу и в руки за весь день не берет.

— Слушай, студент! Семь месяцев на штрафном летел — подумать страшно. Ой, как жрать хотца! Штрафная пайка, вода. Во рту вкус смерти, язык распух, гниет. В животе неладно, мутит, сводит болью, корчит. Зубы кровоточат; давно их на полку положил. Сидеть — зябко, бо-бо: не на чем. Одни костяшки кожей обтянуты. А на перекомиссовке, суки бесстыжие, наглые, норвят первую, повальную влындить. Опять, значит, лес. Взбеситься можно. Говорю ему, псу большеголовому, будке, волкодаву: дистрофик я, не видишь? Окочур близ, рядом. А ну, валяй, сделай нам одолжение. Это мне он, волкодав, говорит. Присядь пять раз. Быстро! Быстрее! Маши руками! Работай, пошел. Я машу всю, поддаю пара, стараюсь из последних сил, как воловая лошадь, а медбрат, шакал, стручок поганый, шавка, открывает дверь кабинета: я яростно машу, как ветряная мельница крыльями. А кровосос, будка, с несказанно гаденькой, подлой улыбочкой тихо мне на ухо шепчет: сильнее. Лети, лети. В моей башке мара, ничего не понимаю; а он: ауфидерзейн, орлуша. Как гаркнет: лети, сука, отсюда! В коридоре буза, смех. Третья лагерная заповедь: падающего подтолкни. На себя пенять приходится. Гад, мразь. Опсовелая совесть. Умирать буду, а с ним на одном поле не сяду. И это называется медицина? Гитлера бы на нас! Между прочим, — обращаясь к Краснову, — вашей нации.

— Как, как? — я пришел в телячий восторг и взвыл от удовольствия. — Саш, слышь, в наш огород!

Но Краснов лишь спросил:

— А какой, по-вашему, я нации?

Шалимов не имел настроения пикироваться, доискиваться до правды-матки, пропустил несогласие Краснова мимо ушей, распространяется дальше:

— Опять злыдень-лес, зарядилась пурга, колет лицо, в рукава, за воротник лезет, мохнатые шмели выются, слепят глаза, во все набиваются, жалят. Сугробища, снега гибель сколько. Зима всю работает, старается. Нездоровый для эка здесь климат, погубительный. Слушай сюда. Случай из жизни. Повал. Пилу не трогаю. Болтается весь день на суку. Лишь костер подбадриваю, соблюдаю, друг подбрасываю. Грею то один бок, то другой подставляю. Валенки сушу. Это дело надо с умом и остоожно делать. Оплошно прожечь — раз плюнуть. Пайка, как повелось, штрафная, жук чикнул.

Четыреста грамм черняшки — весь ассортимент питания. Мамочка, роди меня обратно. Запоешь. А напарник, хохол-верзила, полтора Ивана, двухжильная, трудолюбивая орясина, не наш характер. Вовсю выкладывается, старается очень, стахановец. До посинения. За добавкой, дурында, гонится, норму гонит, бендеровец. Дундук, ишак. Спину гнет, ломает, на мускул и силу надеется. Упирается так месяц, два. Силы есть — ума не надо. Пилит, искры из глаз. И на третьем месяце, глядь, зафитилил, голова садовая. Идем в зону, ветер гудит, гудит, как бык: у-у! — Савич вложил в голос стихии крылатое словечко: у...у! — Готов бендеровец: ноги заплетаются, кренделить начал. Наломался дурень за день — силы оставили. Сразу. Так сразу. А у меня еще ресурс. Я ногами легонько перебираю, семеню, качусь, как шарик легонький. Пушинка. Заерихонил Бендера отпетым, дурным лебедем: Савич, земля, пособи, дух вон! Накося — выкуси. Черта лысого! Не выйдет! Я на штрафном качусь какой месяц! Чего захотел. Как дух легонький. Отбузуй свою пайку? А хохол жох, жаден. Гуд бай. Не жди пощады! Вот моя хиромантия. Умри сегодня, а я умру завтра — четвертая лагерная заповедь.

Надменный, гордый смех победителя: Савич решил страшную теорему жизни.

— Отстал от строя, — постепенно, с чувством собственного достоинства роняет слова Шалимов, — пиши пропало. Думаешь, конвой на руках понесет тебя в зону? Держи карман шире. Пиф-паф, девять грамм в затылок. И был таков, Иван Пятаков. Убит при попытке к бегству. Хай живе Степан Бендера и его сообщники — допрыгался стахановец!

Венчает нравоучительную притчу Шалимов блистательным афоризмом, который непосвященному может показаться искусственным, крикливым, пустопорожним парадоксом:

— Лучше недоесть, чем переработать.

И еще история с географией про то, как Шалимов в долгожданной и размечтанной больнице оказался, задержался там, санитаром что ли работал или еще кем-то. Я спать хочу, просто умираю. Мои свинцовые, отяжелевшие веки слипаются под его неиссякаемый, черный благовест (чего нет в бараке, так это безмолвия и тишины), и я сползаю в объятия благодатного, целительного сна и дрыхну без задних ног, пока дневальный не начнет тормозить: «Витек, столовую пропустишь». В памяти держатся ошметки слов Савича: «Испить, браток?». О чем? Что было потом, о чем рассказ — не ведаю.

Однажды Краснов кликнул меня из барака, сказал, что попал в непонятное. На шпалорезке перерыв. Проглотили кашу. Гудок, кончай перекур. А вот тут-то и разверзается

самый перекур с дремотой, дорогие минуты, сверхсладки. Заводской родной гудок призвал подлого, лукавого зэка напрягать мускулы, все спешат еще малость урвать. Вытряхнулись, наконец, из курилки, побрели с Савичем за шпалой. Нехотя, неспеша. Леса не было. Шпалорезка стояла. Подгребали, подскребали остатки, что когда-то в завал было пущено. Они, Краснов и Савич, идут. Шалимов забегаёт вперед, встает перед Красновым настырным фертом, камень, не сдвинешь его.

— Слушай сюда, Сашок! Эту видишь? — тычет ногою в шпалу. — Честь-честью прошу,пустишь мне!. Как с человеком говорю, — Краснов нагнулся, легко поднял шпалу за один конец, навалил ее на плечо: не ахти тяжела. Шалимов присел на корточки, крепко прижал короткопалую кисть руки к шпале, зажмурился, отвернулся, сжался в комок: «Готов! Пошел!» Краснов уверенно пустил шпалу с плеча. Глазомер. Тютелька в тютельку. Хорошо, точно лягнулась. Шалимов разинул сперва пасть, оскалились гнилые зубы, выкатил очумелые бельма, долго не мог голос пустить, задыхался. Замахал подбитой, поуродованной рукой, запрыгал бесновато, высоко, на метр. Рука сделалась белой, какой не бывает: лист бумаги писчей. Забазлал. Приналег на рысях к вахте. Вскоре туда, на вахту, тяганули и философа. Шалимов был тут же, с неподдельной вроде злобой матюгался, повторял одно и то же, назойливо. Вот-де дают в напарники Фан Фанычей, интеллигенцию, азохон вей, а они калекнами нас сделают. Студент, философ, азохон вей. У него из рук все валится. Ничего, кроме ручки, в руках не держал. Ему в конторе сидеть. Чай гонять, а не со шпалами мудохаться. Ему ручечку, дебет-кредит, геморой высиживать.

Мы шлендаем по ОЛПУ; история, которую поведал мне Краснов, завершена пронизательным умозаключением, которое я помню почти дословно:

— Факт это, спрашиваю, или не факт? Лагерь, утомительный, изнурительный труд. Перерасход энергии, и она за время отдыха не восстанавливается: хроническое недоедание, следует дистрофия. Материал для долгих размышлений. Допустим, Шалимов спас себе жизнь, улизнув от работ на повале, выбрал четырехсотграммовую штрафную пайку вместо рациона лагерника. Я не такой простака, чтобы не видеть, что Шалимов враль, пустомеля, арап каких мало, забубенная совесть, большой сукин сын. Я не забываю другое. Человек, немощный сосуд, по природе подл, мерзок, гнусен, страшен и отвратителен. Не спорь. Лучше вспомни «Комманифест» Маркса, Фрейда, приоткрывшего завесу над кошмарами подсознательного, вспомни Штейнера или своего любимого До-

стоевского, подпольного человека. Такой тип, как Шалимов, будет работать только из-под палки. Дело отнюдь не в лагере, как ты отлично понимаешь. Может, и есть Моцарты, Бетховены, Эйнштейны, которые не равны нам природою. Пришельцы из других миров, творцы, захваченные высокими болезнями. Сделаем еще шаг вперед. Всякое отклонение от нормы — болезнь. Гений — болезнь. Лебедь мой, мы прекрасно знаем, что кроме Бетховенов, Моцартов, их экстазов, существует низкий труд: физический, неприятный, тяжелый. Этот труд никто не хочет выполнять, отлынивают. Я Горького уважаю, многим ему обязан, но он врал, прекраснодушествовал, когда воспевал тяжкий физический труд. Не спорь. Я лучше, чем ты, отношусь к Горькому. Честнее были древние философы, которые откровенно говорили, что физический труд унижает человека, что он постыден, противоречит добродетели. Так думает Аристотель. Конечно, просидел день в конторе, почему не размяться, то-се, почему не разогнать кровь. Можно и дрова поколоть. Но когда ты зверски устал, вымотался? И изо дня в день, без просвета. Нет. Пусть каждый задаст себе вопрос. Ответ, согласился бы ты всю жизнь вкалывать? Не жду ответа, скажу, что я не готов. Ни за какие коврижки, хоть озолоти. Никто без палки работать не будет. Так устроен человек, такова его природа страшная. А из своей природы не выскочишь, как на ребра не опирайся. Лагерь ни при чем. Простые люди, которых миллионы и миллиарды, которые бесчисленны, как морской песок, без палки, без лагеря не будут работать. Не перечь. Не шарахайся. Я отнюдь не оговорился. Вся наша жизнь в некотором неромантическом, нудном смысле слова есть неволя, лагерь. Только в лагере все обнажено, откровенно, что там, на воле, прикрыто фиговыми листьями. Вот от этой печки будем смело танцевать.

Кошелев, начальник ОЛПа, с напористой ретивостью и хлопотливой энергией Петра Великого исполнил предписание ГУЛАГа: буквально за два дня провернул «великое переселение народов» — отделил политических от уголовников и бытовиков, расселил нас, эзков, по статейным признакам. Помню точно, когда нас переселили. Умер Жданов. Вскоре нас с Красновым из клоповника перегнали в барак 22, фашистский. Краснов водворился в том бараке надолго, а я перебрался в барак, где собралась придурня. Хрен редьки не слаще, но все же. Чуть чище. В бараке 22 дневальным оказался наш старый речистый знакомец — Шалимов. На сей раз он обвел медицину: после трех недель больницы урвал временную инвалидность. Краснов получил в бараке отличное место. Хоть и на верхних нарах, но в закутке, ря-

дом с лампочкой: можно читать, не ломать глаза в темноте. Еще и тем потрафило Краснову, что сосед в ночную смену работает: никогда нет. Никто рядом не гомозится. Я приютился похуже, на юру, но тоже ничего. Жить можно. Я в конторе, в тепле, за зону ни ногой, а потому грех роптать и сетовать на судьбину. Авось да небось. Срок помаленьку идет, катится. День, ночь — сутки прочь.

Мне кажется, что если кто-то и имел влияние на Краснова, так это Эдик Бирон, пусть это может показаться натянутым. Сам Краснов никогда не признавал этого влияния. Уместнее говорить не о прямом влиянии, а лишь о том, что то, что случилось с Бироном, способствовало становлению мировоззрения Краснова.

Раз на разводе к Краснову подкатился невысокого роста, шпингалетистый человечиска. Малокровенное, серое лицо, напоминающее цветом ростки клубней картофеля. Видать, только что испеченный, тепленький.

— Здорово, мужик, — это с ходу. — Стойте. Глазам не верю, Краснов?

— Он самый, — сказал Краснов.

Шибздик учтиво давит позу, церемонно и, как только можно вообразить, затейливо раскланивается; после этой неуместной у ворот вахты пантомимы, начал с места в карьер.

— Мое вам с кисточкой. Кузьма! Кузьма! Шмайн, Красин, Александров, Смирнов, Калина, Житомирская Нина, Житомирская Маша, Татаринцев, Васяев, Федоров. И уж конечно, Краснов! Как же без него могло обойтись? А кто это ходил на поклон к Кузьме? Не стыдно? Молодая Россия? Идеологические, философские бури? Святое беспокойство? Вечная тревога? Идеиные и метафизические скитания. Русские мальчишки. Здорово я вас вычислил? Как? Как вам это нравится? Не Бирон, а сама Жанна д'Арк. Ясновидящий. Вижу: дядя Степа, стропила, Эйфелева башня, каланча с усиками. Он, думаю. Точно, думаю. Всю вашу подноготную знаю. О подвигах наслышался. «Слух идет о твоих поступках». Кто это? И я забыл. Значит, «новый комсомол»? Так? Злобная, вражеская вылазка на комсомольском собрании. Докатились до открытой борьбы, заострили, подняли ядовитое идеологическое копьё. Глаголом жги сердца людей. Но МГБ не дремлет. Цап-царап, обезвредили. Логика стремительного падения. Как говорим мы, юристы, сегодня ты не наденешь галоши, а завтра убьешь свою мать. Эх, прокурором бы мне быть. На месте Вышинского я был бы хорош, с удовольствием бы эту сволочь жучил. Какой рост?



— Сто восемьдесят девять, как у Маяковского, — сказал Краснов.

— Ого! Почему на общих? Из убеждения? Давно в лагере? Ого! Старый лагерник. Разрешите снять шляпу. А я из жарких объятий Лефортовской. Незнакомы ненароком? Великолепный казематик. Говорят, еще со времен Екатерины Великой. В плане буква К. Не знаю, кто архитектор, но он гениален. Литая. Хорошо строили. Еще тысячу лет простоит. «На закате наша тюрьма прекрасна». Читали «Мои записки» Андреева? Блеск. Советую при случае прочесть. Не ленитесь. Сколько? Червонец? На месте Советской власти я бы за такие делишки расстреливал. Комсомол устарел? Так? Вас забыли спросить! Нет смертной казни? Большевики никогда не были формалистами. У нас не правовое государство. Не поняли? Сегодня комсомол устарел, а завтра подавай вам Учредительное собрание. Знаю я вас! Юноша, зарубите себе на носу, в России никакой демократии не было и не будет. И не надо! Проклятая Россия! Неужели вы верите в Россию? Клоака. Следовательно кто? И у меня! Кретин, каких мало. Одно долдонит: а ну, давай рассказывай! Представьте — самое невинное мое высказывание: Советское правительство тире банда уголовных преступников! Говорил, говорю, было дело. Взвился бесноватой ракетой: Бирон, мне страшно, у меня холодеют руки. На батарею положил ручки, греет. Помните его лапы, красные. Лучше бы ты, Эдик, человека убил! А прокурор кто? Дорон? Сволочь. Кровавая сволочь. Из карантина месяц, а вот за зону иду первый раз. Элементарно. О чем речь? Чему же я на юридическом четыре года учился? Все мастырки знаю как пять пальцев. Здешняя медицина — пустая, дремучая публика. Ровным счетом ничего не петрит. Элементарно: кладу на ночь под веко горчичное зерно. Утром глаз — во, дуля с кулак. Горы сдвигает. Вынимаю зерно. Работа чистая, не придерешься. Ничуть не опасно. Советую. Зернышко одолжу. Да и кто мог подумать, что я, москвич, интеллигентик, маменькин сынок, птичье молоко на губах не обсохло, дерзну начать хлебать лагерную сивуху с мастырок? Начальница санчасти мне соболезнует, печется обо мне. Безмозглая старая калоша. Не завести ли с ней шашни? Подумаешь, тридцать пять лет. Старуха, да? Нет, нет. Эдуард Васильевич, побойтесь Бога, так низко вы не пали. А как вы, юноша, отнеслись бы, если бы узнали, что у меня роман? С этой старой редькой?

— Никак, — со спартанской прямоотой и простотой ответил Краснов. — Я вас не знаю.

— И знать не хочу, — продолжил Бирон. Какой вы, юноша, грубый. Нехорошо. А эта жидовка отнюдь не против.

Чего ей ни выдам — хихикает, заливаясь, словно я ее щечочу. Бальзаковский возраст, перезрелый фрукт. Как там у Олеси? «Зависть» читали? Советую. «Она посмотрела на меня как женщина», а? Женщина — курсивом выделено. Все ясно. Каков подлец! Не отнимешь. А как вы к Олеше относитесь?

Краснов целомудренно молчал.

— Одесская школка. У Бирона отличный вкус. Куда вы?

— Не люблю похабства, — с досадой объявил Краснов, неучтиво и решительно отчалил прочь. Его бригаду уже вызывали.

После работы Краснов лежал на нарах, впивался что было сил в Гегеля, которого прислала (по настоятельной просьбе) ему мать.

— Гегель мне требуется, как кислород.

В барак завалился Бирон.

— Что, занимательное чтиво? — чирикнул, бесцеремонно взлетел к Краснову на нары. — Дико извиняюсь. Виноват. Чем это вы, юноша, так безумно увлечены? Ого! Самообразованием занимаемся. Не теряем времени, усовершенствуемся в любомудрии. Готовим себя к приходу новой власти. «Другое само по себе есть другое в самом себе, так как другое самого себя есть другое другого»? Высоко немного, да темновато. Что-нибудь понимаете? Это вы серьезно? Вам не скучно? Пасую. Не по зубам Гегель вашему покорному слуге. Не даром Женька гремел хвалу вашей философской шишке. Учите, он ваш настоящий друг. Юноша, а почему не набили стружкой матраца? Почему трын-трава и спим по-спартански, на голых досках?

— Привычка, — сказал нехотя Краснов. — Я и дома так спал. В детстве увлекался Суворовым, затем привык. Говорят, полезно на жестком.

— Суворов? Ура, Варшава наша? На Шипке все спокойно. Нет, из другой сперы. Краткая история России в анекдотах. А Рахметовым вы не увлекались? На гвоздях не спали? Клопы вместо гвоздей? Вы, я вижу, не очень гостеприимны.

— А я разве приглашал вас в гости? Что-то не помнится.

— Незванный гость хуже татарина. Уж эти кретинские русские поговорки. Почему незванный? А Кузьма? А Кузьма! Вам мало? У меня знатные рекомендации. Женя, Александров. Кузьма! Неужто Кузьму вы чистым гением мыслите? Шесть классов. Как его угораздило? Каким нужно быть остопом, чтобы не окончить советскую школу? Семь, говорите? Колоссальная разница! Почему вы морщитесь? Да, я принадлежу к тем докучным, несносным людям, которые говорят правду и только правду. А вашего Женьку я как

облупленного знаю. Он из-за Риточки прекрасной быть собою перестал, чуть руки на себя не наложил, не слышали? Слушайте. Треугольник у них там образовался, классический. Догадываетесь? Женька, гениальный Кузьма и Риточка. А отца Риточки чуть кондратий не хватил, когда она этого Кузьму привела в гости. Интеллигентский, белогвардейский дом и Кузьма? Да на месте папочки Риты я бы этого оборота вышвырнул... — Бирон запнулся, видать, мысленно соразмерив свои физические силы и Кузьмы, театрально закончил: — У ней из головы!

— Как вы смеете! Я не позволю в таком тоне говорить о моих друзьях! Святые имена! Рита необыкновенная девушка! Прекратим разговор.

— Цирлих-манирлих. Сплошной многоуважаемый шкаф! Эдуард Васильевич, с кем вы вынуждены сидеть?

— Всего наилучшего, — сухо, скрежеща зубами молвил Краснов, демонстративно окунулся, углубился в Гегеля.

Так примерно через месяц Бирон перебазировался в наш «фашистский барак»; место урвал завидное, внизу. Видать, Шалимову шикарно подмазал.

— Туточки ваше место, — говорил ему Шалимов. — Я вас прописал внизу, не будете возражать?

Утро. Выходной. Бирон чуть ли не час ожесточенно драит зубы, брызгает там и сям. Его оттолкнули. Недоуменно:

— В чем дело? Хамье. Подонки! Остолопы!

Наладился в санчасть, а вернувшись:

— Порядок. На завтра в законе. Дольче вита. Яшка, передай маршалу. Не буди утром. Так и быть, от моих щедрот, возьми мою кашенцию. А я, проспавши до полудни, курю табак и кофий пью. Откуда?

Бригады уходят на работу, а Бирон уютненько, как сурок, спит так часов до десяти, затем, спорхнув с нар, старательно, долго умывается, направляется в каптерку, где хранит полученные из дома продукты, приносит в барак колбасу, масло, сало, ест эти вкусности, крикает, обзереает при этом барак, красуется: «Люблю пошамать, едрена вошь! Погибель моя: чревоугодие. Смертный грех». Плотно поев, на боковую опять, дрыхнет; продрав глаза, читает что-то, по-французски. — «Французский я знаю лучше, чем Бидо». Не скажу точно, сколько минуло времени, может, месяц, может, больше. Не важно. Бирон объявил во всеуслышанье, что переутомился, что работа на лесозаводе не для белого человека, что самое время лечь в ОП. Горизонтальное положение больно заманчиво. Заваливается Бирон на комиссию, и, как это ни странно, комиссия направила его в ОП,

притом на месяц, а не как обычно, да и то при бесспорной, заметной дистрофии недельки на две.

— Жидовка ему потрафляет, — пытается раскрыть успех Бирона его напарник по бассейну Яшка Желтухин. — Русскому человеку туда нет хода, хоть ты околеи.

— Дурак же ты, Яшка. Кретин редкостный, стопроцентный. Да я русак! Да я больше русский, чем ты. Яшка, друг ситный, заруби себе на носу, что мой род древнее, славнее, чем Николая Кровавого, которого ты, кретин безмозглый, паразит, сверг, пристрелил в подвале. Думал, с колокольни долой, нет, спросится: теперь в лагерях маешься. Не ты застрелил, а кто? Пушкин? О чем говорить, такая же сволочь, как ты! Все виновны, евреи, масоны, поляки, литовские стрелки, а мы ни при чем, сидни, Ильи Муромцы. Нам навязали оккупанты Советскую власть?! Кто революцию делал? Не прикидывайся, я помню. Как твоя фамилия? Белобородов? Желтухин, говоришь. А кто орал «Долой самодержавие»? Яшка, откуда у тебя такое имечко? Уж не еврей ли ты? Авраам, Исаак, Яков? Как? Что скажете, подсудимый, в свое оправдание? Подсудимый, встаньте! Ведите себя прилично. Хамло. Яшка, твои отцы у моих рабами были, а ты тут раскомандовался. Старшой, где ж справедливость? Да я не выдрючиваюсь. Это я так, для красного словца, увлекся. Я не горжусь, а стыжусь, что я русский. Пойми, стыжусь. Татары честны. Поляки, еще польска не сгинела, ну на худой конец — гонористы. Турки отважны, ярки. А мы? Пустое место. Ни рыба ни мясо. Теплохладные. Пьянь, свиньи грязные. Самовар изобрели! — Взвизгнув на весь барак: — Третий Рим! Святая Русь. Богоносец!

К этому времени Краснов и Бирон навели между собою мосты, уже разговаривали. Краснов с явным любопытством слушал разглагольствования Бирона. Итожит:

— Оригинал.

Поведал мне шепотом как тайну, которую можно сообщить не всякому, а избранным:

— Очень интересно. И ты наверняка не знаешь. Представь себе, как это ни странно, а Маркс был порядком равнодушен к аристократам. Абсолютно достоверно. Георг Адлер заострил на этом внимание, писал, что Маркс смеется над глупцами, которые набожно повторяют катехизис пролетариев. Смеется и изгиляется над всем миром. Единственно, кого он искренне, всем сердцем уважал, это аристократов, больших аристократов, с гордым сознанием своей значимости. А Адлер весомый, самый почтенный биограф и свидетель.

Опять Бирон получил «ящик» из дома с разной питатель-

ной всячиной, режет сало, откладывает солидный кусок. Все разумеют: для маршала.

— Богатый харч, буржуйский, — пуляет Яшка Желтухин.

— А, друг мой ситный, старшой, а чего тебе жена не пришлет? — смеется Бирон. — Небось, бросила. Завела молодого, чекиста? Шуры-муры. Правильно сделала, что тако-го остолопа бросила.

Но Яшка Желтухин не клюет на обидные, задиристые подначки Бирона, свернул подобострастную, прохиндейскую улыбочку, глазами кнокает сало. Он понимает, что это не про его честь, а для бригадира, но нет силенок убрать в сторону непослушные глаза. Бирон пошукал по сусекам, где-то в наволочке, полной продуктами, нащупал гранат, извлек, поиграл им, как мячиком, пустил заковыристое про арбуз, который на солнце любит зреть, а затем неожиданно протянул опупевшему Яшке: «На, тупица!» На воле, в дождливой, неважной, вшивой Вологде да на фронте Яшка не только не видел, но и слыхом не слышал о таком фантастическом чудо-фрукте, как гранат. Что за зверь? С чем его едят? Поди, вкусен же, гад! И абсолютно немислимо, чтобы это библейское, потрясное чудо природы свалилось ему в рот, здесь в Каргопольяге, на комендантском ОЛПе. Не поверил Яшка свалившемуся счастью и, как фраер, что первый день в лагере, прогнусавил: «Не шуткуй так». Строго очень молвил. Отвернулся было от граната, с надломом произнес «не шуткуй», но жлобливая, оглоедская рука, а значит, и душа, поскользнулись в иной пошиб, раскатали нос: рука сама собой потянулась за вожденным фруктом, а Бирон не мешкая убрал гранат за спину, притом фик-фок провёл ловко, как завзятый, заправский фокусник, в последний момент отвел руку, когда всем, в том числе и Яшке, перешилось, что дело в шляпе, экзотический фрукт уже его собственность и может быть уестествлен.

— Это уж как тебе будет угодно, — резон давит Бирон, пряча гранат за спину. — Не соблаговолил, упрашивать не намерен. Как знаешь. Была бы честь предложена, а слопать витаминчик и я горазд. Эх, эликсир жизни. Амброзия. Думал, ты будешь. Гордый ты, Яшка. Не по чину горд. Ложная гордыня до добра не доведет.

Щербатая, подержанная физия Яшки вытянулась до неузнаваемости, как в кривом зеркале, а барак неистово гогочет над неудачником. Поделом. Что ни говори, а ловко ему вльиндил жиденок. Бирон бодро принимается за гранат, форсисто сплевывает в кулак кровавые косточки:

— Недурственно. Кретин, гнушается? Ой, невредно. — Бирон явно в ударе; вынимает банку с вишневым вареньем,

смотрит сквозь стекло и варенье на лампочку, любит. — Объединение, пальчики оближешь. Лукуллов пир, разлюли малина, мечта поэта. Да здоровствует Лукулл! Виват! — Протягивает Яшке: — Без дураков. Зубами откроешь — твоя. Карфагень, смелее. Мужики, эй, кретины, слышали? Заяц трепаться не любит.

Яшка-сквалыга приступил к делу рьяно. Старается, зубами пытается предательскую крышку. Все безрезультатно. Хоть тресни. Не идет, срывы, крепко проклятая приварилась. Бирон и несколько ротозеев, любителей зрелищ расселись вокруг, дают советы, поучают, отпускают шуточки.

— С одного края прикипела, рядом бери. Рядом, говорю, и пошел, пошел!

— Ты слушай. Он дельному учит.

— Смелее, чертушко. Не жалея зубов.

— Вот бы мне эдакий фарт, — тут как тут возник Васька Богоявленский по прозвищу Колобок; нескладный мужичишка, ханурик. — Дай-ка я, — просит Колобок.

— Не гуди, змий, — отстраняет Колобка Желтухин. — Отзынь, паразит. Сгинь, говорю, Ирод. Убери грабли.

— Еще рвани, — подзуживает Бирон. — Почти сдалась. Пустяки остались.

Яшка мается, стараниям его нет конца и края. Не может сладить, сконфузился, скис.

— Несерьезный ты человек, Яшка, бестолочь, не Мересьев. А Мересьев запросто бы открыл. Глазом бы не моргнул. Ну, мужички, кто следующий? Подходи, подшевели.

— Можно мне? — канючит без конца Колобок, улыбка тая луна, рот до ушей, хоть завязочки пришей.

— Ты, я вижу, не промах. Наддай, но по-быстрому. Раздва. Мне некогда. Раз жлоб безоговорочно капитулировал — лови удачу. Пусть неудачник плачет.

Колобок взял издевательскую, гипнотизирующую банку, нахохлился, впился сметливым, отточенным взглядом, проанализировал края банки, зацепил голодным зубом край, напрягся, сделался медно-красным, как рак, в кипяток брошенный, дернул, враз открыл. С первого рывка. Сам диву дается. Оказалось проще пареной репы. Обвел собравшихся смешливыми, голубыми глазами, недоуменно и с укоризною смотрит на Яшку. Пошто не дуж? На Бирона вопрошающе смотрит.

— Твоя, — говорит Бирон.

— Не жаль?

— Слово, — говорит Бирон, — закон. Здесь без обмана. Не в церкви. Мне доставили приятность его жадность и твоя подлость. А за цветы удовольствий надо сполна платить.

Обычай предков. Особенно на безрыбьи, когда забав и удовольствий мизер, раз и обчелся. А ты вахлак обездоленный, чего зубы жалел? Головоотяп нерадивый, на фу-фу живешь, халтурщик. Для себя не можешь работать. Трус, лодырь. Национальное бедствие. Учись, пример бери. Герой, Мерсеев, настоящий человек! Скажи, чтобы тебе умелец оставил. Справедливо будет. Она была открыта. Не смотри на меня глазами обиженной, голодной собаки. Я банку отдал. Иди, требуй свое, иди же: на бобах останешься. А может, у тебя диабет? Вредно сладкое?

Колобок не мешкая слинял, уволок банку в свое укромное логово. Дорвался, прилепился к банке страстной душою, приголубливал, все через край, гужевался. Не торопясь, усердно лакомился. Кипяточком прихлебывал, утрамбовывал. Пайки-то не было: остаток от утренней пайки дожевал в столовой. Уплетал, порою кисою мурлыкал: «Фартовая бацилла». Ему радостно кричали: «Выверни, дурень: ловчее станет. Оближи». Но Колобок жестоко был наказан. Желудок, не имеющий большой привычки к сладкой жизни, спасовал. То и дело Колобок шмыгал из барака с искаженным лицом. Потешил нас Колобок. Помнится, я нечаянно высказался в манере, которая вообще-то мне не свойственна, полез к Бирону с дружественным советом: мол, говорю, умерь язычок, кончай театр для себя. Не следует раздражать и дразнить население барака. Зачем так явно и бесцельно дразнить гусей? Надо быть благоразумнее, осторожнее. Бирон вломился в амбицию:

— Начхать с тринадцатого этажа. Думаешь, к вам они лучше относятся? Да они презирают и меня, и вас, и Краснова. И ненавидят. Белая ворона. Чужеродное тело. Меня этот кретин, что на раме стоит, спрашивает: твой корешь, долгохарий, тоже еврей? Юноша, это о вас. А ваш Краснов дурак. На общих. Думает, к народу ближе. Да они его презирают. Я русского человека вижу насквозь, как Вий. Ясен его портрет. Посмотри на эти хари! Когда русского человека угощаешь, его можно третировать, унижать, как твоя душенька соблаговолит. Глянь на этого типа. Хорош? Если бы я был президентом Соединенных Штатов, я бы эту страну сжег, сжег бы эту скверну, подлость. Ненавижу! Хамье, взбеситься можно. Кретины! Мерзавцы! Кошмар! И я должен жить среди этих скотов! Тихий ужас. Как я понимаю Ницше, сказавшего: «Я с жадностью жду конца». Сие есть и мой катехизис.

Как-то после работы Бирон призвал Краснова:

— Юноша, можно вас на минутку. Хотите философско-психологический этюд? Я вас прошу, очень. Продолжение

нашего разговора. Садитесь. Бесплатно.

Бирон кромсает с усилием сало, отсекает маленькие дольки, бросает Яшке Желтухину, как собаке. Тот стоит на четвереньках, ловит сало пастью, с ловкостью фокусника ловит. Бирон комментирует этюд:

— Отпетый кретин ты, Яшка. Говно! Не стыдно так унижаться? Говоришь, что с такими послылками и дурак проживет? Сколько тебе лет? Убелен сединами, а ума так и не нажил. Чурбан, капли нет ума, казанский мыло. Слушай, друг ситный, знай: есть такой закон, и божий, и человеческий, на великих скрижалях записан. Жить я должен сдобнее тебя! Понял? Мои родители живут так, как тебе и твоим предкам не снилось. Деды и подавно жили слаще. Какой тут разговор. Я и в лагере живу лучше тебя, хоть ты и старшой. Войны, революции ничего не меняют и не изменяют. Так было, так будет. Кому шишки, кому пироги и пышки. Дается имущему; а у неимущего отнимется последнее. Все течет, ничего не меняется: кошмар истории.

Яшка Желтухин масляно сияет, пробует вилять задом, сало уминает.

— Говнюк ты, Яшка. Сраное русское говно. Как не стыдно. Неужели у тебя чести нет? Скажи, Яшка, когда человека угощаешь, можно его унижать? Как? Раскинь мозгами. Пошевели шариками хоть раз в жизни, не все багром.

— Колбаской унизь меня малость, — хитро щерится Яшка, красноречиво-бесстыдно заглядывает в глаза Бирону. — Колбаски, мил-человек, больно охота.

— Подлец! Ух, какая сволочь, какая подлая скотина! — задыхается от восторга Бирон, весь просиял. — Бездонная, как тартар, беспардонная, непробиваемая сволочь! Наш современник, полюбуйте! Ничего не попишешь, придется тебе колбаску дать. Лови, злодей! Нахлебничек на мою голову нашелся. Жируется. Как ты сказал? Колбаской меня унизь? Воистину велик русский народ! Какие перлы! Зернисто. Нет слов, башка! Вот в чем наша сила. Вот почему войну выиграли! Вот почему татар сбороли. Весь мир подомнем под себя. Да что нам вонючие американцы с их грандиозной техникой. А надутые англичане? Парламент, парламент! Французы — выродки, минетчики. Всех слопаем, спета их песенка! Третий Рим. Слопает удав и на солнышке будет греться. Скажем, так и было. — Адресуясь больше к философскому уму Краснова, чем ко мне: — Признаю, промашечка. Сел в лужу. — Бирон театрально возвел обе руки к близкому небу барака. — Гибель Помпеи. Мои убеждения рухнули. Эту скотину ничем не унизишь. Нет ни чести,



ни самолюбия. Жрет, как кот Васька, меня презирает. Не я его, а он меня унижает, смеется надо мной. Обжирает. Скажи, Яшка, презираешь меня? Какая сволочь! Пред вами грядущий хам. Не близ, а рядом, пришел, победил. Полюбуйтесь. Смирись, Европа!

Очень многие события и напасти протекали не на моих глазах. Не мог же я одновременно находиться в нескольких местах. А получается. Я вроде уже успел сообщить, что перебрался в другой барак. Теперь о Бироне мне непрерывно рассказывает Краснов. Не рассказывает. Он худой рассказчик. А рассуждает на тему, разве можно так вести себя в лагере? Что он, спятил? Мы оба диву давались: Бирон вел себя в лагере не так, как все, явно и грубо нарушал методические требования лагеря. Казалось, что Бирон ищет гибели, закусив удила, несется в пропасть. Здесь это проще простого. И искать не надо. В бараке его, между прочим, два раза лупцевали, но, кажется, так ума и не вложили. Все нипочем: колюч, непреклонен. Не хотел, а может, не мог переломить себя. Озорничал. На хохлов взъелся. Они символизировали для него коммунизм, Россию, Советскую власть. После ОП он подмазал бригадиру: его перевели на самый легкий участок, на наколку, где старшим с незапамятных времен был Яшка Желтухин. Впрочем, не буду делать вид, что я понимаю Бирона. Изложу события в той последовательности, как они шли. Буква, фотография и фактография, если это возможно. Бирон решил, что совсем не будет работать. Так вот. После перерыва он смотался на бункер, завалился на опилки, ищи-свищи: задал храпака. Его обнаружили не скоро, потурили с нагретого местечка, дернули к начальнику лесосоцеха (не был эком ни ныне, ни в прошлом, а носил на широких, могучих плечах золотые погоны лейтенанта): «Почему оставили рабочее место?» «Вместо того, чтобы вечно задавать малоосмысленные вопросы, разумно дать работу по специальности». «Ваша специальность?» Ответ: «Философ!» Шутка ли: уважающему себя человеку услышать столь непозволительный, фанфаронский ответ, притом сделанный откровенно вызывающим тоном. Еще никто из эков не осмеливался так говорить с этим бесчувственно-чванливым человеком с золотыми погонами, а потому он на какое-то время даже лишился дара соображения и языка; угрюмо молчал, глядел по-бычьему на Бирона, как на неведомого зверя, недоуменно, огорошенно, постепенно раздувал ноздри, раскочегаривался, как самовар у проворной бабы. «Могу работать исключительно на руководящих постах», — профальцетил Бирон. «Еще что вы можете?» «Могу не работать!» — сказал Бирон. «Саботаж! —

взорвался начальник лесоцеха зычно-иерихонским басом, видом он все больше напоминал быка, готового броситься на наглеца, закатать всласть и до смерти. — В бараний рог скручу! В тюрьму!» Но Бирон как вы уже догадываетесь, не из тех, кто за мятежным словом в карман тыркается: «Дудки. А я, вообразите, и так в тюрьме. Дошло? Чтобы посадить, меня надо сначала выпустить. Динь-дзянь. Не получается. Извиняюсь. 58-я, фашист. В кулак свистеть остается». Нашла коса на камень. Поднялся трам-тарарам, и вулкан, стычка боевая: начальник лесоцеха разбушевался, понес в хвост и в гриву; да здесь доктора наук тачки катают, да здесь академиков к тачкам приковывают. Дальше — больше; мой Бирон спуска не дает, подпустил демагогии: читал, что у Гитлера в лагерях академиков к тачкам приковывали, а вот чтобы у нас такое было, не видел и даже первый раз слышит. «Ну, даешь», — уважительно рек Глядкоковский, бригадир лесоцеха, тертый калач, прошедший огни и воды, в прошлом фронтовик, боевой офицер, Ванька-взводный, в конце войны капитан, примечательная, стоящая специального внимания фигура лагеря. В бараче только и было в тот вечер, что разговоры о Бироне. Чем все кончится? В своем уме ли? Глядкоковский, ему-то Бирон сунул, а он сытый не кусался, решил не мारаться, сделал для Бирона, что мог в этой ситуации: турнул неслуха на шпалорезку, в другую бригаду. От греха подальше. Но Бирон, видать, умом тронулся: не угомонился, продолжал беспечно манкировать обязанностями зэка. Его со шпалорезки турнули в бригаду строителей. Она числилась полуштрафной. Кривой, бригадир строителей, подкарауливал Бирона на разводе, полоснул взглядом: «Подь сюда!»». Бирон бесстрашно глянул на скуластое мурло Кривого, на его единственный поганый глаз и... (Гомер: «бледность его покрывает ланиты»; «от ужаса членами всеми трепещет») сник. Понял, что вышла промашка. «За зону, тля, не ходи, — цедил слова Кривой, пылая глазом. — Тебе там светить не будет. Это я говорю, Иван! С потрохами сожру!» Бирон забил отбой, укоротился. Неужели раньше не понимал, что лагерь есть лагерь? На земляных работах ему пришлось туго, долбил мерзлую землю ломом; рядом, начеку, стоял неумемный одноглазый страж. Бирон разогнулся, чтобы дух перевести, замешкался, а следующий пластически простой, впечатляющий, превосходный кадр: Кривой, здешний землитель, землитель милостью Божьей, с форсированного отскока-подскока вlepил Бирону каблучищем упрямого сапога, умеючи и от всей вдохновенной, экстатической, ликующей рабоче-крестьянской души вмазал в бок, высоко, где мани-

фестируется боль, где случились проклятые почки, парные органы, поддерживающие в первозданном состоянии состав крови близким к составу морской воды, образующие мочу, выделяющие из организма избыток солей, чужеродные и токсические соединения (хорошо, что у человека их две!); потомок русофоба семнадцатого века Хворостинина и русофоба восемнадцатого века герцога Курляндского захлебнулся болью, преобразился в бескровно-серо-трупную неприглядность, осел сеттером, сыграл, скособочившись и даже не подставив маленьких рук, в смирительную яму, которую долбил, углублял. «Вставай, сучий потрох! Темнишь, тля!». Кривой поливает Бирона натренированными ногами — спортивная злость, удары безукоризненно точны. «Сачок, бери лом! Вонючка гнойная!» После работы дерзкоречительный Бирон намылился было в санчасть, лелеял нежность, что пустит пену, закосит: не тут-то было! Фанатичный Кривой упредил тактический, возможный маневр, завалился в кабинет врачихи, поднял бучу: горлопанил, стегал медицину глаголами лагеря. Жиды, мол, засели в санчасти, потакают симулянтам, фашистам, чтоб им всем пусто было, а он, Иван, должен для страны к празднику, через две недели, погрузочную площадку сдать. А людей нет! С кем работать? Начальница санчасти совестливым тоном, но твердо, прямо, честно сказала, что былой фавор Бирона накрылся, что освободит лишь на завтра, а в следующий раз его здесь ждет от ворот поворот. А в бараке пошли о Бироне нехорошие шу-шу-шу, мол, стукач, давно пора такому по шапке дать, приземлить. Яшка Желтухин словно воскрес, отыгрывался за прошлое: «Вместо Сталина думал сесть!». Будит утречком развенчанного Бирона, торжествует: «Эй, гроб с музыкой, подъем! Эй, — дергает за ногу, — вставай, буржуй, с постели, грибы жарены поспели!» Читатель, были вы сами в безвыходном положении? Хватались ли за соломинку? Бирон выкинул трюк из области безумного, но сейчас он мне более понятен, чем раньше. Он не вышел за зону. Хоронился в уборной, где его застала поверка, после спровадился в соседний барак, мелькнул мимо дневального, которые не признал в нем чужака, залез на чьи-то нары, лежал недвижно, ждал. Человек не иголка. Все же нарядиле пришлось сбиться с ног в поисках отказчика, еле нашел, стащил беднягу с нар за ногу, с верхних нар: Бирон дербалтынулся я те дам, как Икар с верхотуры. Чудом не гробанулся, ушибся порядком. Погнали взащей раба божьего в изолятор, но там и пятнадцати минуток не продержали, отнесли к проступку келейно, по-домашнему, даже не занесли в черный список отказчиков, не оформляя протокола,

погнали на лесозавод с отдельным конвоем. Стоит ли говорить, что веселого мало. Не пожелаю вам такого, читатель. У вахты, облокотившись на косяк, преспокойно ждал Бирона Кривой, словно орел, готовый вцепиться в добычу; глаз его сладострастно пылал. Они двинулись к объекту, который не там, где лесоцех и сортплощадка, а на отшибе. Шли узкой, нахоженной тропой. Бирон впереди, безропотный, беспрекословный, ввергнутый в пучину страха; Кривой за ним по пятам. Издали, на снегу, при свете яркого солнца они смахивали на двух пингвинов, гуськом идущих друг другу в затылок. Бирон не выдержал чреватого молчания, оглянулся. «Бей!» Но кто ж откажется бить виновного, бить по праву, по справедливости? История сообщает, что сил дойти до зоны у Бирона хватило. Дать лапу Кривому? Говорят и пишут, что ни одна крепость не может противостоять ослу, нагруженному золотом. Все мое, сказало золото! Словно прочитаны его мысли: в барак заявила депутация от Кривого, двое, шестерки, помялись у нар Бирона; один из них ткнул в сапоги Бирона, хорошие сапоги, кирзовые: «Жмут». Бирон сблочил сапоги, передал; они ушли с трофеями. Читатель, знаешь ли ты, что глубинное, истинное зло так же бескорыстно, как и добро? На другой день у вахты гудел Кривой: «Думаешь, лапу дал, филонить будешь? Посмотри на меня! Я — твоя смерть!». Еще один день кончился, бригады собирались у вахты, чтобы идти в зону. Краснов узнал Бирона лишь по скрипучему, высокому голосу. В строю они рядом. Утро было погожее, а теперь все по-хамски сменилось. Пьяный, шатающийся, неумный, метельный ветер буквально царапал и кусал зэчьи морды. Бирон согнулся в три погибели, буквой «Г», еле волочит ноги, отстаёт от строя. Краснов подхватил его, как когда-то меня в «воронке». Бирон тут же повис на Краснове, вцепился в него, как птица, железными когтями. Они отменно отстали от строя. В ясную, сократовскую голову философа лезут гадкие байки Шалимова про то, как пристрелили верзилу-бендеровца. Философ оглянулся на цербера. Конвоир идет близко; винтовка наизготове, чуть штыком не упирается — в двух шагах. Не положено так близко, пульнет! Молодой парень, юнец. Тридцатый год, может, тридцать первый. Исподволь страх щекочет спину. Пиф-паф, отвечать не будет. Попытка к побегу. Вот и вахта! Пронесла нелегкая! Без фокусов дотянули до зоны. Не загогуливая в столовую, Бирон доволком непослушные ноги до нар, бухнулся, благо место внизу. Голову бросил на руки, полупокойник.

— Махну в столовую. Я мигом, — предупредил Краснов, оставив Бирона.

Он сидел с бригадниками в столовой, не торопясь, с расстановкой, как бывалый ээк, уминал супец-брандахлыст, а затем крутую недурственную перловую кашу. Нет, каша ништяк: густо заварена. С пыла, с жара, добра, не то, что на завод в бачках привозят. Он ел, блаженно улыбался. Червячок заморился. Чуть, слегка. Жить можно. Теплота из живота быстро распространялась по всему продрогшему на ветру телу.

Смурная, изнутрительная, бескомпромиссная, изыскательная работа мозга закруглилась ярко, притом полным, непротиворечивым идеологическим благополучием. Перед его внутренним взором засияла в неколебимой вышине, как неподвижное, вечное, прекрасное солнце, гравюра из «Утопии» Мора. Созерцание этой гравюры, когда-то давно виденной и теперь так четко, бесспорно восстановленной памятью, вглядывание в ее детали давало ощущение радости, ровной, незамутненной, спокойствия, абсолютной внутренней свободы. Ярчайшей молнией брызнули мысли. Курочка ряба снесла яйцо. Не простое, а золотое. Не замечая шквального ветра, он бежал из столовой, спешил с кем-нибудь поделиться открытием, сунулся было ко мне в барак, не обнаружил меня на месте, на всех парусах разлетелся к Бирону, который по-прежнему являл собою живые мощи в той же безрадостной позе.

— Готовая, в броне и панцире, как Афина-Паллада, идея выскочила у меня из головы, — начал философ излагать свое потрясающее открытие. — Я сподобился получить первый раз добавочный черпак каши. Обычной перловой каши.

Прорвались шлюзы, речь Краснова полилась широкой, бурной рекой. Да, маршал толкнул ему миску с добавочной кашей, именно ему, а не кому другому, и это сделано было красиво, умно, подлинно справедливо, и вот он, Краснов, сидит, спокойненько усмиряет разыгравшийся аппетит, а кругом пар, стук мисок, гвалт, гул, пустой однообразно-естественный мат; вдруг зарница: не то наитие, не то шальная, случайная ассоциация, прямо как у Кекуле в зверинце перед клеткой с обезьянами (открытие бензольного кольца!). Мысли забарабанили по черепу, как град. Томас Мор, коммунальная столовая! Идея, великая, глобальная, вселенская идея! Но не хватило духу объять необъятное: изгнал поганой метлой Афины-Палладу, как беспризорную шваль, как кричащий, дикий абсурд. Но она явилась вновь, все в том же великолепном вооружении, и он, как последний идиот, оглядел восторженно бригадников шпалорезки, которые уплетали порционную кашу, и, словно узрел самого Бога

истины, господу животворящего, рывкнул что есть мочи:

— Так вот где зарыта собака моя!

Зверски ликует и скачет сердце. Звони во все колокола. Нет, не он оседлал идею, а она, идея, оседлала его. К шутам собачьим иронию. Ты мне голую истину вынь да положи! Истину с большой буквы. Мост в будущее. Гениальные и простые слова. Вот они! В каждой коммуне будут общие трапезы, на которых члены общины обязаны присутствовать. Внимание, внимание! Интонационно выделено слово «обязаны». Какое мужество! Равенство, свобода, всеобщее счастье. Или смерть. Краснобай Герцен иронизирует, мол, за этим так и ждешь подпись: «Питер в Царском селе» или «Граф Аракчеев в Грузии», но оказывается подпись не Петра Первого, а первого французского социалиста Гракха Бабефа. Нет, уважаемый Герцен, оставьте иронию. Здесь подлинное бесстрашие, предельные честность и откровенность. А какая глубина проникновения в человеческое сердце! Социализм был, есть и будет феноменом принудительным. Спарта, монастырь (откуда это «все верующие были вместе и имели все общее?»), казарма, к этому списку давно пора добавить и ОЛП, являются идеалом человеческого общежития и прообразом справедливости. Коммунизм — это не реки с кисельными берегами, текущие млеком и медом, а жестокое, насильственное, принудительное равенство. Справедливость и дисциплина. Каждый сверчок знай свой шесток и не высовывай голову выше других, не тяни, подлец, на себя одеяло. Один за всех и все за одного. Ныне мы присутствуем при рождении новой системы связей, новой земли и нового неба. Новое, правда, вылупляется в несовершенном, убогом, уродливом, неприглядном, как Золушка, виде, в пугающем глаз арестантском бушлате и тяжелых, неудобных кордах-мокроступах. Но за карикатурно-кошмарной оболочкой скрыта гениальная, предвечная идея, а ей-то суждено расти, развиваться, бухнуть, разрастаться, цвести, энтелироваться, захватывать, побеждать народы, царства, материки и континенты, объединить человечество в одну семью, победить мир, актуализироваться в тысячелетнее царство железной справедливости. Нигде и никогда так полно и глобально не проступали обетованные, истинные черты социализма, как в ИТЛ. Придите, страждущие и обремененные гордостью, завистью, тщеславием — здесь успокойтесь вы! Нет частной собственности. Нет и личной! Ничего нет. Кое у кого сберегся еще с воли свитер, фуфайка какая-нибудь, сапоги, как у Бирона, как у Глядковского, офицерский китель, галифе, но это мелочь, недоразумение, отклонение от надлежащего закона всеобщего равенства и не

делает большой погоды, бесконечно малая величина, которую безболезненно отбросим. Те, кто в лагере давно, к примеру, сосед Краснова, забыли и думать о манатках, которые не положены по форме. Лагерь не знает подлых денег. Осуществилась великая мечта солнечного Мора: «Даже сама бедность, которая, по-видимому, одна только нуждается в деньгах, немедленно и неукоснительно стучится и слиняет с совершенным их уничтожением». Те же страстные глаголы слышим мы в раскатистых и разрывающих даль и горизонты пророчествах Бабефа: «Деньги отменяются!». Ээк, выполнивший трудовую норму, получает законную сладкую пайку — 600 граммов черного хлеба, вывешенную точно, на аналитических весах, и бесплатное питание в общественной столовой. Пайка — святая святых! А невредные фигли-мигли, гроши подбрасывают вам в таком мизере, что их и под микроскопом не увидишь, изучать надо. На спички, на курево. Свое, что задержалось у вас с воли, вы обязаны сдать в каптерку. Носить не имеете права, если оно и сохранилось. Вам выдадут по окончании срока. Глядковский, согласитесь, исключение, подтверждающее закон. Подумать только, не поверишь, всё, как в «Утопии» Мора. Изумительные, потрясные и очевидно, что далеко не случайные совпадения. Внешний вид одежды «различается в соответствии с полом». Это у Мора, и у нас. Но здесь Мор недодумал. Мне кажется, это излишество. Не должно быть ни мужского, ни женского пола. А что хорошо, то хорошо, ничего не скажешь: «Покрой остается одинаковым, неизменным, постоянным, вполне пристойным для взора, удобным для телодвижений и приспособленным к холоду и жаре». Все пострижены наголо, и волосы носить не разрешается. Как в армии. По тем же соображениям: гигиена и так далее. Не вижу ничего плохого. Для женского пола, впрочем, лагерь делает исключение: волосы не стригут, оставляют им красоту. Поблажка, отступническая, надо думать, временная. Равенство так уж равенство, и женщин следует стричь наголо. В «Утопии» Мора все ложатся и встают в одно и то же время. И у нас! Потрясающе! Мы встаем в шесть утра под звуки гимна, на скорую руку одеваемся, поспешно, как угорелые, застилаем постель, умываемся, справляем там нужду, а вот уж ноги сами несут нас в столовую для принятия пищи, а затем они топают к вахте. Всегда в один и тот же час распахиваются тяжелые ворота лагеря. Вот нарядчик пошел кукарекать наши фамилии, отдает шестерке карточки отказников. «Все! — рапортует маршал. — Двое в законе». Надзиратели не спеша пересчитывают бригадников, затем бригаду принимает начальник конвоя, снова-здорово считает,

затем святая, напутственная, утренняя и вечерняя, вливающая в души свежесть, жизнь, реализм, молитва: «Шаг вправо, шаг влево считается побегом, конвой стреляет без предупреждения! Понятно?». И бригады сбившимся строем, напоминающим стадо, валят в рабочую зону, к своим производственным участкам. Труд в лагере отпущено десять часов. Все остальное время, что набегит за вычетом обязательного труда, трапезничания в общественной столовой и сна, предоставляется для личного употребления зэку, но при этом надзиратели зорко следят за тем, чтобы не имело места непозволительных злоупотреблений, «излишеств и всякого рода нелепых, губительных и гибельных забав» (Томас Мор). Это же так естественно, что в лагере запрещены наркотики, дурманы, цифиры, божии травки, планчики, страшные спиртные напитки, азартные картишки и т. д. Но допускаются организованные культурные развлечения. Раз в месяц вертят кино. Существует в «Утопии» и особая бригада, в которой собраны натуры художественные, таланты, артисты. Они избавлены от физического труда, а заместо работы готовят развлекательные и назидательные спектакли, концерты. Не очень ясно, как Мор отнесся бы к культбригаде? Зачем искусство? Если не считать нравоучительного, дидактического агитационного аспекта искусства, то занятие это весьма и весьма сомнительно, двусмысленно, неблагоприятно. На это указывают и божественный Платон, и Кампанелла, и Чернышевский, и Толстой. Ведь что не полезно, то вредно. Концерты культбригады посвящены критике тех, кто в условиях лагеря отлынивает от обязательного физического труда, а попросту — темнит, мастырит, филонит. Следует признать, что эта критика не очень-то убедительна: сами-то артисты избавлены от физического труда. Возможно, следует быть более последовательным: запретить культбригаду, ограничиться самодеятельностью. В десять вечера в «Утопии» замирает жизнь: отбой — о чем зэки оповещаются троекратным ударом по рельсу, подвешенному на столбе около КВЧ. Одновременно в бараке вам угрожающе подмигнет лампочка. Лампочка, как вы помните, мигала нам и в следственной тюрьме. Радио после отбоя отключается, и все мы, зэки, одновременно и дружно задаем храпака. Игры, чтение, тары-бары после отбоя наказуются, изолятор запросто можно словить. Надзиратели зорко следят, чтобы во время, отведенное под сон, наш брат зэк не куролесил и не колбасил. Мор считает, что на сон достаточно восьми часов. Наполеон спал четыре часа в сутки. Новичкам и всем тем, кто ухайдакался на работе, разрешается залечь на нары и уснуть еще до отбоя. Население лагеря разбито на



бригады. Во главе бригады — бригадир или, как его подобо-бострастно величают, маршал. Он физически не работает, а следит за дисциплиной в бригаде, погоняло. Бригадир назначается лагерной администрацией, а не выбирается. Крепкий, хороший бригадир — это клад: он, конечно, понуждает к работе ленивых и нерадивых, а такие очень даже в большом изобилии в каждой бригаде (зэк не любит упираться, хитер и лукав), но и кормит бригаду. От него зависит, хорошо ли закрыт наряд, а значит, сколько перепадет бригаде дополнительных мисок каши. В критические минуты бригадир сам встает на ответственный, горящий участок, великолепным примером заражает, захватывает, увлекает за собою вечно сонных бригадников: «Эй, навались! Нажали!». Все веселеют, готовы в лепешку расшибиться. «Маршал на раму встал!» Откуда и силы взялись? Накопившаяся усталость растворяется в новом порыве. Работа спорится. Бригада имеет прямое сходство с русской общиной, которую боготворили как славянофилы, так и Герцен, Чернышевский, народники, видели в ней зародыш, росток социализма. А эта самая община возмущала, бесила Петра Аркадьевича Столыпина, и он приписывал ей всю русскую дрянь, все русское зло, лень и бесхозяйственность. Со своей точки зрения он даже прав. Для вящей справедливости будем мертво помнить, что в лагерной бригаде больше общности между ее членами, чем в миру, в крестьянской общине, и, пожалуй, она даже напоминает семью, большую трудовую патриархальную семью: бригадники повязаны друг с другом не одним производством, но, как в семье, как в первых христианских общинах апостольских времен, всем бытом, всей жизнью. Никто не обособляется, не замыкается в своей конуре. Женская зона, мужская, но на производстве работают все вместе, а женщины, как и в семье, как и у восхитительного Мора, «как более слабые, выполняют более легкую работу». Распределение по бригадам зависит от физической предрасположенности зэка, что выясняется немедленно из личной беседы с начальником ОЛПа или с его замом, а чаще распределяет сам нарядчик. Больные освобождаются от работы. Освобождение, как всем хорошо известно, дается врачом. Утопия отнюдь не выдумка фантазеров, а дитя жизни, трудное дитя. Но в то же время следует сказать, что это самое реальное и перспективное, что создала современность. Хотя в первосущности ОЛП нерукотворен, но это отнюдь не означает, что его формы сложились стихийно и случайно; напротив, это осуществленный идеал, и над его осуществлением, по легенде, которую из уст в уста передают старые лагерники, хорошо поработала гениальная ев-

рейская голова Френкеля. Не должно нас смущать и сбивать с толка, что внешние формы лагеря порою приобретают гротескные очертания. Если подумать, это в природе вещей, символизирует рождение, рост, которые, как известно, всегда болезненны. Юное, новое, перспективное пробивается робко, неуверенно, а если невзначай по внешним формам принимает отталкивающе страхолюдное обличье, то будем мужественны, преодолеем предрассудки и предрассудки, буржуазный либерализм, гуманистический треп. Проследжу на примере, насколько тесно жизнь и быт лагеря повязаны производством, его жизненным ритмом. Режим и инструкции ГУЛАГа требовали быстрого и крутого слома устоявшегося лагерного уклада: из соображений сугубо политических считалось, что эски должны жить в бараках не побригадно, а постатейно, что логично. Ядовитая, чумовая 58-я не должна мешаться с бытовиками, которые хотя и преступники, даже матерые порою, но не совсем отпетые, рано или поздно, несмотря на астрономические сроки, возвращаются на волю, перекуются, снова вольются в жизнь. И вот нас всех раскидали по статейным признакам, а тех, кто по глупости брыкался, упрямялся, уклонялся от переселения, наказывали: ШИЗО. Приказ ГУЛАГа, Москвы; ничего не попишешь, исполняй, повинуйся. А чем эта угрюмая воля разрешилась? Неразберихой, глупостью, неудобствами. Бригадир грузчиков канителится полночи, мыкается, шныряет по ОЛПу, свистая заспавшихся бригадников в разных бараках; путается влопыхах, бесчинствует, хватает за ноги не тех, не своих. Грузчики стали прямо-таки непристойно опаздывать на погрузку. Участились простои железнодорожных вагонов. Прореха на прорехе и прорехой погоняет. А план давай! И вот первоначально для грузчиков сделано рискованное послабление, в нарушение приказа Москвы: собрали их всех, независимо от статей, в один барак. Продиктовано интересом дела, производства. А вслед за грузчиками и другие бригады дружно искали общности, собирались в одном месте для жития. Реформа захлебнулась, все, как говорится, вернулось на круги своя, к старым, проверенным практикой реалиям. И вновь лагерь возродился, зажил по старым законам и нормам.

— Тут как-то вы, мой лебедь, фигурали дикими, вычурными, завиральными идейками. Гнилыми идейками о каком-то законе крови, о том, как мне помнится, что вы, дескать, отпрыск благородных, жирных, столбовых кровей, Бироны, Хворостинины, а поэтому вы будете и в лагере жить лучше, чем Желтухин? Я вас правильно понял? Гнилая философия, подлая. Нет такого закона! Пустой романтизм, треп,

фарс, собственно говоря, искажение истины. Сдается мне, что вы и сами-то в это не больно верите. А если и верили, то наказаны за дурной кругозор, опровергнуты прагматикой, опомнились, узнав, где раки зимуют. В Утопии, не побоюсь этого слова в применении к лагерю, действуют неукоснительные, суровые, беспощадные законы социализма, общности, справедливости, равенства. Кривой, его риторика, демагогия — лживы и мерзопакостны. Нет спору. Но моральные критерии не годятся для истории. Через Кривого осуществилась историческая воля. Такова истина без прикрас, как бы вы от нее ни шарахались.

— Юмор, да? — Бирон еле языком ворочал. — Подъел дикиваешь? Чего ухмыляешься?

— Отнюдь, — недоуменно. — Совсе не ухмыляюсь. Откуда вы взяли?

Разговор принял досадно нелепый характер.

— Плюй, плюй в меня, — твердил Бирон. — Мешай с говном, по стенке размазывай. Все собрались? Плюйте!

— Успокойте бунтующие, раздрызганные нервишки и давайте наладим нормальный, результативный диалог. Не выношу расхлестанности, кипячения, паники. Вы, Бирон, как я вижу, завзятый, неугомонный спорщик. Остановитесь. Лебедь мой и заблудок, не отмахивайтесь отчаянно, раздраженно от истины, как от назойливой мухи. Лагерь — горькое, но для таких, как вы, полезное лекарство. Триединство социализма: равенство, справедливость, насилие. Три кита. Полно, леберь, лезть в бутылку. Глупо. Не в обиду будет сказано, кроме как себя самого, своего спетивого, ослушного характера, вам некого винить. Кто вас заставил выкидывать неподобающие фортели? Не пожелали считаться с аксиомами, по которым живет лагерь. Всяк кузнец своего счастья. Кто виноват, что вас угораздило сойти с колеи, заварить кашу, создать безвыходные, головкружительные обстоятельства? Пеняйте на себя. Кривой учинил справедливую расправу, потешился всласть, окоротил дворянскую спесь. Дрынком попотчевал. Поучительная, назидательная история. Не проходите мимо. Описать, издать в порядке прагматического назидания новичкам. Пособие по технике безопасности.

— Фигляр! — дряблым, ломающимся фальцетом закричал Бирон.

— Пойдите минуточку, помолчите. Ничегошеньки вы не поняли. Руки опускаются.

— Катись колбаской по Малой Спасской!

Краснов обиделся:

— Арвидерчик, князь. Как вас, Хворостинин или Бирон?

У меня и в мыслях не было вас насекомить. Я только сказал, что вели вы себя ненаилучшим образом. Завтра выходной, заходите, возобновим диалог, скрестим рапиры.

Краснов отчалил, вспорхнул на нары пострелом, схватил Гегеля, впился в него, вгрызлся в каждую неповторимо прекрасную фразу великого диалектика, величайшего из философов. Отмечал: «Отличный перевод!». Даже не заметил, как подошел я. Решили прошвырнуться по ОЛПу. С безудержной радостью Краснов рассказывал мне о замечательном открытии (такое, поди, чувствовал Архимед, когда в ванне просек новый закон, воскликнул: «Эврика!»), развивал, уточнял идею, которую Бирон не пожелал воспринять серьезно. Краснов нимало не сомневался, что Бирон образумится, вспыхает узнать суть великой концепции, каким должно быть тысячелетнее царство лагеря. Он не совсем ошибся, что Бирон явится к нему. Вот залябались нары — нагрянул Бирон. Первым сделал шаг к миру, хотя послал накануне Краснова к едрене фене. Краснов решил быть честным до конца, без обиняков начал:

— Рад вас видеть, приветствовать, как сказал поэт, звоним щита. Считаю своим философским долгом предупредить, что вчера я отнюдь не шутил. Если я вам не по душе, можно не продолжать. Предлагаю быть рыцарем истины. Здесь, в ИТЛ, формируется, отрабатывается и обкатывается грандиозная модель будущего всего человечества. Знаете ли вы, что человек абсолютно подл, и нет для человека ничего страшнее, чем то, что сосед живет лучше него. Человеку совсем не хочется жить лучше, а важно одно: чтобы сосед жил еще хуже, чем он. Может быть, человечество будет долго мыкаться и мучиться со своими предрассудками, со свободой, с либерально-моральными ценностями, но оно придет к ИТЛ, приползет на карачках, и лишь здесь найдет свое утешение и успокоение.

— Кончай балаган! — крикнул Бирон строго. — Довольно, повыпендривался. Не раздражай меня, прошу.

Краснов ощутил себя тем сеятелем, который большими пригоршнями бросал семена, но все до одного они попали на каменную почву.

Накатило молчание, непроворотное, тягостное. Говорят, в такие минуты рождается милиционер. Не знаю, так ли.

Прервал Бирон:

— На бедного Эдика восстали все силы ада. Черт с рогами, привязалось лихо одноглазое. Швах, швах. Положительно не знаю, что делать. Шапку-невидимку — вот бы здорово. На этап хочу, на дальний. На худой конец — на

другой лагпункт. К черту на кулички. Сильная просьба, будь другом, поговори с нарядилой. Тебе — сущий пустяк.

Но для Краснова разговор с нарядилой был далеко не пустяк.

— А сам?

— Кончился Бирон, свернулась кровь в его юном организме. Батарейки сели. И уже ни на что не способен. В паху страшно саднит, как у Пушкина. Не вынесла душа поэта. Сдал, сдаюсь. Я сорвался вчера, наговорил три короба и десять бочек арестантов, прости. Скверно получилось. Я редко срываюсь. Не сердчай. И прошу без базара, выдрючивания и высоких материй. Не до них. Все вы, я вижу, друзья до черного дня.

Краснов очень растерялся, желваками задвигал, брякнул наобум, что надо привлечь меня к участию, что в таких вопросах я большой дока, лажу с жизнью, могу чудеса творить. Они быстренько направились ко мне.

В мире лагерной придурни были страстные любители свежего воздуха. В конторе мой стол был рядом с окном, а я-то предпочитал форточку держать закрытой. Возникали легкие трения, приходилось уступать. Почему свежий воздух такой холодный? Форточка была закрыта, но от окна кошмарно сифонило. А меня раньше продуло, невозможно, подзнабливало, сильно чихал и дохал. С самого утра начались нескладушки, неладушки. Болезнь — напасть. А по неписаным и давно установившимся законам конторы, где я до сих пор благополучно, как у Христа за пазухой, обитал, не принято шлендать в санчасть и даже упоминать о ней. За одно слово о санчасти полагалось толстым дрыном по макушке. С любой, самой высокой температурой перемогались. Мы, интеллипуция ОЛП-2, полны рвения. Горим, горим на работе! Скрипим дружно перьями. С подачи Фурикова, добрая душа, и по прямой и недвусмысленной указке главного бухгалтера, моего благодетеля, заступника, доброй феи, я плюнул на удручающую традицию, настропалился пряничком в санчасть. Раз сам главный на мой очередной чих сказал: «Куль червонцев» и рекомендовал закосить — надо быть круглым идиотом, чтобы не воспользоваться. «Не зевай!» — гласит святая, девятая лагерная заповедь (в христианско-иудейском мире, сие пернатое слово, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй мя, дурака, грешного, числится вроде бы одиннадцатой). Ко мне зашли Краснов и Бирон. Я предупредил, что захварываю, что должен сначала пойти в санчасть. Сказал, что, как хотят, но вдохновения у меня нет, что едва преодолеваю тяжесть болезни. Темпе-

ратура разгуливается. Плеврит бы не схватить. Очень сожалел, что взялся выручать Бирона. Дохлый номер. Все будет зряшно. Нет сил, охоты шустрить.

Я в санчасти; очередь. Санчасть — удивительное место лагеря, здесь, как и на воле, вам могут дать освобождение от работы, признать, что вы больны. Всегда, в любое время года здесь битком набито нашим братом. В поэме куплетиста и поэта Магалифа есть строчки: «Душа болит о производстве, а ноги тянутся в санчасть». Гениально, не правда ли? Толкаюсь три битых часа. Хорошо еще, что лесозавод выходной, а то бы еще больше народа было. Стою, стенку подпираю. Как и другие. Перед кабинетом врача почему-то всего один стул. Может, правильно. Чтобы мы, воинствующие, наглые симулянты, не очень разнеживались, чтобы жизнь нам не казалась раем. А то наш брат ээк повадится шастать сюда, ноги сами несут. Не отвадишь. А так не всякому захочется обивать здешние пороги. Очень даже все продумано и разумно. Куда-то все, как оглашенные, бросились, толчая, толкучка. Ну и я, скуки ради, поплелся глянуть, в чем сыр-бор, почему переполох. По воле я давно уже поминки справил, привык ко всему, не удивлюсь, но и моему приученному глазу стало видно, что ЧП. Пассаж! Не помню, рассказывал ли я об Олеге. Стоп, машина: вроде не рассказывал. Без рассказа об Олеге дальше нельзя.

Сложную субординацию лагерных отношений я еще не полностью постиг, но Олег — это что-то вроде старшего блатного ОЛПа, пахан, гой еси добрый молодец, силач-бамбула, пребуйтурнейший геркулес, равных нет и не было по росту и силе. Что же я увидел? Нет, самой баталии я не видел. Олег восседает на ком-то, как на добром коне, а тот распластан под ним, на животе лежит, голову руками обнял, загородил — такая сцена. Олег с силой, но без задора и спортивного азарта сажает нож, с размаха — туда, в то место, где шея в голову переходит, но не находит согласия в том, кто под ним: голову в туловище жмет, чтобы шеи было меньше.

Из раны фонтанирует кровь, бьет вверх сантиметров на двадцать, удары сердца запросто можно считать. Видно, как мощный насос работает. Раз, два, три. Лужа крови заметно растет. В крови ушанка, рядом. У Олега одеревенелое, бесстрастное лицо, глаза тупо вылуплены: манекен, робот. Лишь кадык ходит, словно то яблоко, которое подала Ева, никак заглотать не может, старается. Еще удар; уже ждешь, надеешься, что последний. И жутко, и непонятно, почему человек еще жив? Ой, живуч!

Скоро ли?

Неслышно подошел сонный надзиратель, укоротил бессмысленное действо:

— Пошли. — А нам: — Мальцы, по баракам.

Олег всаживает нож в мертвое тело, заглох пульсирующей, страшный фонтанчик жизни.

Беликан легко поднялся, расправил могучие плечи, ни на кого не глядя, с подчеркнутым достоинством двинулся за надзирателем. Не шел, а залихватски вышагивал, чуть вразвалку, щеголеватой, неторопливой, раскованной походкой; сияют голенища хромовых сапог, игриво собранные в гармошку. Некондиционные для лагеря сапоги. Рядом с нашим атлетом, Ахиллесом, героем лагерного эпоса, невзрачный надзиратель выглядел невыгодно: недомерок, семенит в кирзовых сапогах. Что обломится Олегу? Ведь смертной казни нет. А срока у Олега невпроворот, марафонская, астрономическая перспектива. Хоть отбавляй: 25, 5 и 5. Наш гуманный закон не позволяет сверх двадцати пяти намотать. Своя, особая, интересная арифметика. 8 плюс 10 будет не 18, а 10. Ведут Олега в изолятор, ну, а дальше: штрафной? Тело основательно распластано, недвижно, заметно, что это мертвое тело. Торчал по рукоятку нож, цветная рукоятка, фигурная, красивая. Из плексигласа.

— Гадина, из-за нее, суки!

— Зойка?

— Поганка ядовитая!

— Гадина, а не человек!

— Не Зойка?

— Молчок, прикуси язык!

— Почему?

— По кочану да по капусте.

Признаюсь вам, читатель, что я очень поразился, когда в убитом распознал Кривого. Гора с плеч, к нарядиле тащить ся не надо. А Бирон и Краснов меня заждались.

Являюсь в барак, звонкий вестник удачи, выдаю:

— Убрал я его. Все. Живи. Магарыч с тебя полагается.

Бирон выпялился, ничего не понимает. Я рассказываю ужасную сцену в санчасти, рассказываю, что Олег сосчитался с Кривым. Бирон искательно в меня взирывается, не верит, верит, опять не верит.

— Deus ex machina, — говорю я. — Когда древние трагики не умели обычными средствами разрешить конфликт, они прибегали к чуду, что и мне оставалось.

— Не опошляй, — возмущенно сказал Бирон.

В женской зоне не было бани. Каждый четверг (вечером) наших фефел проводили надзирательницы по ОЛПу в баню. К звездному часу собирается толпа зевак: «сеансов

набраться». И я в этот раз, движимый своим интересом, оставил рабочее место, что у окна в конторе, пошел позырить на баб. Впереди пилит смелоглазая Зойка, притча во языцех, королева красоты, знакомая мне и Краснову еще по карантину. Идет, отчаянно глазами играет, швыряет их во все стороны, всем и каждому: лови! Минул год, даже год с лишним, с тревожной поры карантина, когда я впервые заметил Зойку, и если бы не слышал о Зойке чуть не каждый день столько фантастического, что прямо уму непостижимо, если бы я не был женат и не был влюблен в свою жену, если бы в силу жгучего идеализма молодости (молодость требовательна, сурова!) не имел предвзятого мнения о женщинах, к пошибу которых принадлежала Зойка, если бы не опасался, что меня осудят наши щепетильные пушкинисты, то с легкой душой, глядя на бесподобные, огненные стати этой девчонки, погружая на секунду взор в ее чистые, лучистые глаза (в эти глаза хотелось смотреть и смотреть, не отрываясь!) назвал бы Зойку (вслед за Красновым) «гением чистой красоты». Думается, Пушкин не был бы возмущен и шокирован. Назвал же он Керн «вавилонской блудницей». «Идет, нарядница, как пишет», — кто-то сказал рядом. А нарядница шла в телогрейке, а лагерная телогрейка отнюдь не красит женщину. Идет, как пишет. Уважение простого человека к письменному слову. А Зойка шла так, как не снилось никому писать, как не писал ни один божественный Пушкин! Мы все приходили в безотчетное возбуждение, теряли волю и голову, и когда она исчезала в дверях бани, наши пламенные мечты устремлялись за нею, целились, зарились в нее. Какой-то сумасшедший дом! Зойка, царь-баба, чудо-кряля, возглавляла шествие, за нею плелось остальное наше бабье, замыкала процессию царственная, ветхозаветная старуха: могучая, как кумранская сивилла, что изваял Микеланджело, с крутым рубильником Савонаролы; на вид ей далеко за сто. Грузная развалина. Старость — не радость, вдвойне не радость в условиях лагеря. Она еле и со скрипом переставляла опухшие, ватные, свинцовые, амортизированные от долгой жизни ноги. Однако голову, седую, величественную, она несла высоко, гордо. Перед вами, читатель, легендарная Туган-Барановская, громкое, зычное, романтическое имя, сама история революционного движения в России. Хоть рот ее давно на замке, но всем откуда-то известно, что она болтается по политизоляторам, лагерям и тюрьмам с исхода великой эпохи, что она подруга Пешковой, жены Горького, что заступничеством Пешковой она спасена от расстрела. Порасспросить бы ее, что и как? Однако, если вы не хотите разочаровываться, мой



совет, держитесь на расстоянии от великих людей. В шест-  
вии эчек меня интересовала не великолепная Зойка, не  
Туган-Барановская, не знаменитая артистка Окуневская, ко-  
торая недавно попала на наш фантастический, крепкий ОЛП.  
Меня жадно занимала полячка, из-за которой на самом де-  
ле стыкнулись Олег и Кривой, хотя вначале я грешил, что  
это все из-за подлой Зойки. То была женщина среднего ро-  
сточка, худая, гибкая; в зеленом платочке, из-под которого  
непослушно, нечаянно, игриво, задорно, фасонно выбыва-  
лись вьющиеся волосы. Она не глядела по сторонам, шла,  
уронив голову; ее лицо я не смог рассмотреть, оно было  
как бы за дымовой завесой. Всего-то ничего. «Из-за этой  
тихони?»



Краснов милостиво уступил позыву сна, задвинув при-  
вечно, машинально «Науку логики» под угол жесткой по-  
душки, прикорнул. Забылся, знать, ненадолго: его выволокли  
из розовой, невнятной симфонии сна, за ногу грубо дер-  
нули.

— Философ, ух спать здоров, проспишь царство небес-  
ное! Шнель! На бордаж. В темпе! Труба зовет. Не посра-  
ми, малек, земли русской!

В бараке нездешняя, чреватая тихость, как в центре ве-  
ликого урагана. Скрип нар. Первое, что различил сонный  
Краснов, так это клоунскую физию белобрюсого, белобро-  
вого Колобка — рот до ушей, хоть завязочки пришей. Яс-  
ные, чистые, плутоватые, смеющиеся глаза. Одновременно  
невинность и пройдошистость: из глаз мельчайшими блес-  
тками-звездочками обильно валились смешинки, струились,  
вихрились, прыгали и мчались во все стороны. Шалун перед  
вами, малый пацаненок, еще не познавший уродливость ми-  
ра, не познавший, что кроме игры есть на свете еще соба-  
чий ошейник с пряжкой, который легко превратится в же-  
стокое орудие экзекуции. А ведь Колобку под сорок, а то  
и за сорок. Юный философ угрюмо, недовольно поморщил-  
ся, приподнялся на локте, вмиг уразумел, что значит «не  
посрами земли русской». Оторопел. С ходу прохватило все-  
го, как сквозняком, чистая его душа запаниковала, содро-  
нулась от непреодолимого, могучего омерзения, свернулась  
в твердый ледяной комок, дезертировала испуганной улит-  
кой за твердый, непробиваемый панцирь.

— Кыш! — вот и все, что он смог из себя выдавить; еще  
обеими длинными ногами, за которые цеплялся Колобок,  
пытаясь его стащить, отчаянно, малодушно задрывал, слов-

но на невидимом гоночном велосипеде, как ошалелый, полетел прочь.

Где оркестр? Туш!

Эдакое редко узришь, а если и сподобишься узреть, будешь помнить до гробовой доски, а может, и за гробовой доской. На соседних нарах, внизу лежала женщина — с задранной юбкой, срамно, широко расставив ноги; на ногах чулочки, нелагерные; новенькие туфельки — на высоком каблуке, модные в наши послевоенные годы. Туфельки — последний крик моды! Над женщиной господствовала, работала чья-то голая задница, яростно старалась! У туфельки — казенные трусы, болтаются, преогромные, голубые; ноги длинные, изящные, точеные, дьявольски женственные, и по этим ногам, хотя их никогда не созерцал и не разглядывал, Краснов враз признал богиню любви комендантского ОЛПа несравненную Зойку, что поразила его сердце в карантине. И вот опять явилась ты! Оркестр, жарь! Удалец Алексеев, рамщик лесосоцеха, неуклюже сполз с женщины, отлетел, как ужаленный, к противоположным нарам, разом подтянул штаны, спрятав в них мощное, завидное, первоклассное ладное хозяйство, заулыбался. Впервой мой философ сподобился зреть жутковатую женскую наготу — без набедренных прикрас, без фиговых листьев, а прямо так. Не успел он моргнуть, а Зойку уверенно покрыл следующий герой, всюю, остервенело, айда — пошел работать, как сказал поэт, «скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенье», а двое очередников, со спущенными штанами, совсем в молитвенно-коленипреклоненных позах, рядом, мобильные, норовящие ринуться в бой, не теряя секунды, только неприятной белизной сияют исхудалые ягодицы.

Набожно склонены бритые шары голов на худущих, непомерно длинных, рахитичных зэчьих шеях:

— Кончаешь?

По-деловому, просто.

Счастливчик покрывал Зойку; и вот еще один, ловко, почти с разбега полез, покрыл, разом отвалился; вот и четвертый, шebutной, как кот, так же скоренько отваливается. Еще. Снова неутомимый Алексеев, ударил, а эта стерва Зойка азартно ищет его губы, ей все мало, экстатично, благодарно прижала к себе, издала — только с Алексеевым — экстатический, откровенный стон и пошла писать губерния. Просто, страшно. Философ не выдержал: в ужасе отпрянул. Но снова, украдкой запустил глаз, куда нельзя, не следует, вперился в то, что бушевало внизу на нарах. Вза-сос вперился. Он продолжал смотреть вопреки рвущему, распинающему стыду, прилип глазами, широко разинул вы-

шедшие из-под контроля и повиновения вежды. Опять он видит ягодицы очередников — мерзко, отвратительно. А выражение лица у гениальной Зойки inferнально: в глазах блаженство, угрюмое блаженство, и она отвратно, немислимо задирает зачем-то ноги, болтает ими, как лягушка, этим движением ног царапает, ранит сердце юного философа, и он начинает в такт ей задыхаться, заражаясь низменной, свинцовой страстью, все очевиднее, явственнее материализующейся, и он видит безумную женщину, только ее, он абстрагировался от этих, от этого, кто на ней, от двоих очередников, спустивших штаны, коленопреклоненных, готовых, от всех тех, кто обступил нары; он видит только фигуристые бедра женщины, ее ногу, чувствует сердцем мрачно-порнографические подробности, сатанинско-лягушачьи, выразительные, как кадры немого кино, движения ладных ног, понятные движения, видит восторженный оскал женского прекрасного лика.

А вот и следующий — во всю прыть пустился терзать Зойку, аж небу тошно. Отвалился. Как блины печет. И еще один, изголодавшийся, заждавшийся очереди, прошел проторенную дорожкой, прытко, лихо прошел. А народ пронюхал, страждущие и обремененные муками плоти валом валят; толпа вокруг нар растет, полукруг образовался, как в театре; давка, сутолока, зэчьего населения — тьма-тьмущая, пушкой не прошибешь, наваливаются друг на дружку, напирают. Барак желаний!

— Шалишь, хлопец, очередь.

— Не при, как на буфет. Отвали, кому говорю.

— Отскочи, ханурик, так не годится.

— Сморчок, отзынь на три локтя. Жажну промеж глаз.

— Не пори горячку!

— Сыграй назад!

— Не лезь. Соблюдай дистанцию.

— Погодь, куда, дура-лошадь, лезешь?

— Повремени, шобла. Тише. Гуляй не хочу. Всем обломится.

Но всем разохотившимся, голодным, рвущимся вперед и вне порядка и очереди, как это бывает везде и всегда, не хватило. Зойка схватилась за низ живота.

— Не трожь меня! — дурным голосом.

С места в карьер: ловко цапнула наладившегося зэка за роковое, боевое устройство, ухватила немилосердно, аж взвыл бедняга: небо с овчинку показалось. А она еще влепила звонко по мордам, отрезвила. Огреб по вывеске — ошалел, отпал, потух. Глаза Зойки полыхнули черной зарницей, лицо, еще минуту назад страстное, превратилось

в неузнаваемую, свирепую, отталкивающую маску: страхолюдство. Эриния! Ее неловко пробуют неволить. Где там! Истошно заблажила, заблажила дико, надрывно, как дурная, взбесившаяся, страшная пантера, у которой злодейский капкан перебил лапу. Не подходи! Ух, полетят клочки по закоулочкам! И наши рохли, что в иератических, богомольных позах стояли на коленях со спущенными штанами, сдрейфанули. Да и не с руки, потерялись воители: штаны-то спущены. Тупо, молча наблюдали, как обезумевшая, шальная залетка экстренно, надсадно пытается продеть левую ногу в трусы, мишулится, путается, мешкается, неудача за неудачей, и с третьего захода неудача. Впопыхах получается такое недоразумение: каждый раз каблук изящной, модной, блестящей туфельки за что-то цепляется, путается в длиннущих, разливанных, как море, голубых, как небо, трусах. Опять, значит, промах. Опять отчаянно, пьяно тыркает ногу, канителится. Снова-здорово — зацеп. Новый приступ. Обезьяна, собака, крыса — и те находят выход из хитрых лабиринтов, а перед нами разумное существо, женская человеческая особь, хоть и разъяренная. Нашла выход, сообразила, скинула туфельку, без труда разрешила квадратуру круга, продела ногу, натягивает трусы на сокровенные, нежные, лососевые тайники, снова поспешно напялила туфельку, такую изящную, черную, обулась. Она мудрует между нижними и верхними нарами вагонки, сгорбившись в три погибели, выгнув крутую спину, гибкую, как у кошки. Встряхнулась, как собака, словно этим прогнала напасти. Взметнулась, сиганула с нар. Перед ней беспрекословно расступились, как перед шаровой молнией. Рванулась сквозь гурьбу эков, сурово обступивших нары, ринулась сломя голову к двери, пулей миновала однообразный, строгий ряд нар-вагонок; как угорелая, врезалась в дверь — разверзлась дверь перед нею. Скатилась вниз по лестнице, гулко, дробно зацокали каблочки, словно улепетывала не одна шалая эчка, а табун кобылиц. Вид стремительно улепетывающей женщины породил у нашего брата, эка, здоровый, естественный инстинкт — инстинкт преследования. Поздно. Ее и след простыл. Уже где-то у конторы, поди, хвост трубой, чешет, ищи ветра в поле. Преследовали ее не ахти как рьяно, а больше для пущего блезира.

— Лови! — на звук цоканья каблукчиков отозвался дневальный; забил в ладоши, но не шелохнулся с места.

Кто-то засвистел, пронзительно, как соловей-разбойник; еще кто-то крикнул вдогонку:

— Держи, двери держи!

— Доступ к телу закрыт, — деловито, как распоряди-

тель церемонией, подвел черту дневальный. — Шабаш. Расходись, не следи. По баракам. Поворачивай, дядя, оглобли. Прошу. После дождичка в четверг! Молчать, пока зубы торчат!

Философ лежал на своих нарах, вытянулся во весь рост, уж ноги не помещались, и о них кто-нибудь время от времени задевал: прокрустово ложе. Ни жив ни мертв, обезоруженный, растерянный, тухлый, пронзенный, распятый новым знанием, низким, темным. Он тупо долдонил свое, панацейное: «Человека создает его сопротивляемость окружающей среде». А в уши ему рекою вливался яд, прочно, надолго зарядился шурум-бурум, жу-жу-жу, переливание из пустого в порожнее. Судачат, гудит, как пчелиный встревоженный улей, барак. Прения, что ваше ООН. Тупое, механическое большинство держало сторону Шалимова. Зачем отпустили? Кляп в пасть, паскудине. Задрать юбку, завязать над головой — букет. Под зад лопату, а еще лучше две. И — айда-пошел. Понеслась! Поддавая жара.

— Стрекоза; сама, сама запорхнула.

— Леха, Леха организовал. Не к тебе пришла.

— Бедовая процелыга, хоть куды.

— Артистка.

— Хоть месяц пожить с такой. И — умереть! Щедра: скатерть-самобранка. Веселая, душевная. Не соскучишься с такой.

— Да уж не соскучишься, — ершистый басок.

— А философ дезертировал, — сказал Шалимов.

— После тебя, сифилитика, грёбовал.

— Сашек, не горюй, — заливался Колобок, штатный клоун, — в другой раз первым запустим.

— Поезд ушел: не будет другого раза.

— У философа зазноба в Москве, студентка. Вчера ксиву получил. Ждет?

Краснов воды в рот набрал. Письмо было от матери.

— Любовь до гроба?

— Как же — ждет.

— Студентка? — весь вострепнулся Алексеев. — У студенток душа нежная. Я люблю, когда душа нежная. С одной я как с женой жил. Во время войны. Когда в летной школе учился. Ходил к ней. Маленькая, худенькая, в чем душа, а очень любопытная. Я в чулках уважал. Вся голенькая, а ноги в чулках. Валька сама чулки надевала, чужая, тварюга. Бабы умный народ, умнее нас. А мордочка с кулачок, вся в веснушках и прыщиках, а это дело очень лю-

била. Но до Зойки ей далеко. Таких, как Зойка, вообще не бывает.

— Отличный трамвай получился.

Стали говорить, что вот-де ежели пошарить да пошукать в темных лабиринтах женской души, то на поверку окажется, что всякая баба с детства мечту лелеет о трамвае, но страшится: осудят. Еще и страшатся нас, оголтелых, попадешь в лапы, не улепетнуть живой, заездят. Набросятся, как волки голодные. Получается: и хочется, и колется, и мама не велит.

— Зойка — человек. Отчаянный характер, с перцем.

— Рекордсмен.

— Чудо-девка, никому не объездить.

Другие благорассудили, что бабу вообще нельзя замучить до смерти, что она так великолепно одарена природою, что может этим делом заниматься всегда, а если она вам отказывает, то лишь из вредности, чтобы досадить, отомстить, помучать. Но с этим мнением не соглашались. Знаем случай. В лагере были. Ставили на хор, начинали трамвай, драли до смерти. На поверку оказывается, что смертельно опасный рубеж, гибель не за горами, рядом.

— Мы по-хорошему, — говорит Шалимов, — отпустили. Иди с богом. А наш брат, мужик, попадет в злые когти, каюк. У баб жажда неугасимая. Они до смерти тебя истязают.

— Уши вянут, — снова пошел препираться Алексеев. — Мужика нельзя замучить. Не уважаю брехунов.

— Ты, Леха, сегодня в своем репертуаре. Всезнайка. Доволен? Не был ты, Леша, на женских лагпунктах, — свою идеологию гнул Шалимов. Он-то, старый зэк, не лыком шит, не пальцем делан, он-то знает лагерь вдоль и поперек, а тем паче лагерное бабье, нагладелся на этих курвятин. Да они нас в грош не ставят. Сам раз еле ноги унес. К какой дьявольской хитрости прибегают. Навалются на тебя, Лешенька, ордою, руки за спиною свяжут, хайло кляпом заткнут, чтобы не блажил, а это дело укрепят, поставят, как следует, а затем туго бечевкой перетянут...

«Грязь, мерзость, свинство», — горячо, отчаянно шептал Краснов, лежа на верхних нарах; ему уже удалось накинуть на растрепанные, взбаламученные чувства и нервы узду, унять их, поостыл мало-мальски, перегорел, оправился, пришел в себя, укротил, стряхнул brutальное, свирепое иго плоти и после нетрудной борьбы и пререканий с самим собою ощутил вновь спокойное, мерное течение крови, нормальное биение пульса. Остро, непомерно ощущал гадливость, ощущал, что в его душу наплевано, нагажено

и гадится. «Свиньи, скоты, пакостные животные». Пифагор был вообще против брака. Заколдованный круг. Как же быть? Половые органы и коммунизм? Скверна, пропасть, мрак. Животное о двух спинах. Жгучая антиномия.

Краснов поведал мне в ярчайших, впечатляющих красках о бесчинном трамвае, говорил о своем потрясении, о потере достоинства перед лицом растревоженного, своенравного, дерзкого инстинкта, говорил, что выбит из седла, повержен: солнце и свет мира померкли. Говорил о ниспадении, низопускании, загрязнении души, о ее тяге ко всему темному. Затем пошел со страстью нагромождать головоломную готику идей, выступая уже не от себя лично, а от имени какой-то сверхисторической, надличной цели, а я балдел и с открытым ртом восхищенно внимал его пламенным, путеводительствующим откровениям, словно присутствовал на пиру у Агафона, где гремело новое слово об Эросе. Мы вываливались из барака, как заправские перипатетики, фланировали по несокрушимому, фантастическому комендантскому ОЛПу.

— Именно так, лебедь мой. Никогда у меня не было столь бесспорного ощущения внутренней зрелости и того, что я владею полнотою истины. Не я владею, а она владеет мною. Трамвай развил, укрепил, обогатил мою концепцию. Ницше метко лепил: «Истину надо пережить». Признаю, я не был прав, когда хулил знаменитую нашу королеву, Зойку. Не возражай, я помню. Я назвал ее рвотным порошком. Она в своем роде светило, вершина. Слушай внимательно, постарайся меня понять. Не перебивай. Вихри враждебные веют над нами. Я всегда говорил, что человек подл, зол, коварен, отвратителен, мерзок, завидущ, тщеславен, жесток. К этому списку я прибавлю: сладострастный! Безумный сладострастник! И природою, и духом, гнусным, мерзким, сладострастным человек страшен. Самое страшное животное. Его надо укротить, обуздать. Нужна узда, железная. Не должно быть трамваев. Не должно быть убийств из-за ревности, не должно быть Пушкиных и Дантесов. Общество и государство обязано строго регламентировать отношения полов, держать их под неустанным контролем, строго следить за девушками и юношами, за молодыми мужчинами и молодыми женщинами. Самое ужасное не то, что был трамвай, а то, что это по обоюдному согласию. Зойка — дитя природы, естественный человек, без предрассудков, честна. Так, как она, ведет себя Кандид у Вольтера. Естественные отправления организма, как помочиться. А в чем дело? Инстинкт, как голод; зов плоти. А если честно разобраться, то этот ин-

стинкт есть преужаснейший хитрюга, развратник и плут. Физиология? К чему это угодничество? Ты не можешь не знать, что экзогамия суть высшее достижение первобытности, и, видимо, экзогамии мы обязаны появлению современного человека, гомо сапиенса. Общество внесло ограничения в половую жизнь. Позволь напомнить слова гениального Кампанеллы, от которых просто дух захватывает. Для нас писаны, для меня! Почти дословно. Ни одна женщина не имеет права вступать в сношения с мужчиной до девятнадцати лет, а мужчина не назначается к производству потомства раньше двадцати одного года или позже, если имеет щедедушное, хилое телосложение. Но тот же Кампанелла смело идет на то, чтобы тем, кто легко возбуждается, чья душа заражена и ранена эротикой, разрешить совокупляться и в более раннем возрасте, однако исключительно с бесплодными или беременными, чтобы не было хилого потомства. Излишние запреты могут довести юнцов до запретных, привязчивых, пагубных извращений. Пожилые начальники и начальницы заботятся об удовлетворении половых потребностей похотливых и легко воспламеняющихся юнцов, идут навстречу блудливой природе, но во всем соблюдается мера и золотая середина: разрешение на случку исходит от главного начальника деторождения, опытного врача-гинеколога и тонкого психиатра, который, как я уже предупредил, подчинен Правителю Любви. Правитель Любви — именно это выражение использует Кампанелла. Город Солнца. Предельно ясно, просто, бесспорно. Регламент и еще раз регламент. Ограничение, узда для блага и пользы человека. Ярмо, устав, а без ярма человек мгновенно превращается в страшное, распущенное, омерзительное животное, деградирует, катится вниз. Молодые мужчины и женщины на занятиях физкультурой в палестре обнажаются, остаются в чем мать родила, а начальники определяют, кто боек и горазд к совокуплению, а кто вял, и какие мужчины и женщины по строению тела и темпераменту более подходят друг к другу. Затем они допускаются к половым сношениям каждую третью ночь. Как прямо, честно, поразительно смело. А в трусливую, лживую, филистерскую, буржуазную эпоху царит густопсовый романтизм, извращающий естественные отношения полов. Любовь, душная звездная ночь, духи и туманы, перья страуса, вечная женственность, мол, всех нас влечет, химеры, призраки болезненного, больного юношеского воображения, эротические мечтания, Ромео и Джульетта, Анна Каренина, мифы, суеверия, выдуманные, воспетые людьми, не способными к правильному произ-



водству потомства, поэтами. Не закрывай глаза, нас с детства приучили им верить. Но ведь не дозволяются браки между родственниками, братом и сестрой, притом не делается никаких поблажек романтизму, а кто, казалось бы, ближе друг другу сердцами, чем брат и сестра? Почему же в глобальном, подлинно вселенском масштабе не идти на регламентацию отношений полов? Есть, лебедь мой, полный резон огород городить, высокие, крепкие заборы ставить и с колючей проволокой. А в ряде случаев полезны и желательны, как считает Кампанелла, умные, специальные институты, облегчающие юношам и девушкам вступление в половую связь для продолжения рода человеческого.

## ОБЛАКО В ШТАНАХ

Чем напряженнее вгрызаюсь и пристальнее втелескопливаюсь в плотную мглу затонувшего, канувшего в тщету и затхлое небытие прошлого, что есть мочи истощая внутреннее зрение, тем очевиднее становится, что превесьма много выветрилось, испарилось из памяти. О, где моя юность? Где мои восемнадцать лет? Где девятнадцать? Где двадцать? Где и так далее? Где мои серебряные коньки? Где соловей, шпак, пташка дрянь, зловредная, и его звонкие весенние, увлекательные, душераздирающие трели? Пара гнедых, запряженных с зарею, а? Где моя гитара семиструнная, балалаечка без струн? Эх, были когда-то и мы рысаками! Где, скажите на милость, это чертово обретенное время? Нет как нет, корова богатым языком напрочь слизнула, сжевала жвачными, мощными, упорными зубищами, проглотила с потрохами. Слабое утешение — оправдание: у других (Краснов, впрочем, исключение; у Краснова чертовски завидная память, прямо как у древнего философа Горгия) головы еще дырявее моей, решено (некоторые исследователи считают, что у Аристотеля была плохая память). Рыпаться, спросить, уточнить — не у кого, а Краснов — далече. К стыду своему, сплошь да рядом не способен толком, четко и без явных, грубых нелепостей и несуразностей реконструировать подробности ретроспективной дали, чин и черед темных событий прошлого, немых ныне, далеко уплывших. Наглядный и унылый, удручающий примерчик. Подельница Кузьмы горячо, настойчиво, искренне, старательно норовит всех и каждого уверить, что отбывала срок по бытовой статье и выскочила по знаменитой, бериевской амнистии. Что я о ней должен думать

(врет и не краснеет?), когда Кузьма-то сидел по 58? Точнее: нежелательная — 58-10, 11. Как не впасть в противоречия? Как избежать оплошностей, незлонамеренных недоразумений? неувязок? Думается, что не будет большим преувеличением, если я скажу, что мой друг Краснов взбрыкнул, сбрендил и произнес непредвиденную кощунственную речь где-то в 1949 году. Видится самое начало осени. Месяц готов назвать точно. Да, явно то было совершенно роскошное бабье лето, еще мы не напялили телогрейки, еще ходили по-летнему, налегке. А что уж бесспорно, что это было до семидесятилетия Сталина. Славное семидесятилетие — четкая, маяковая веха, это как-никак эпоха и волнующий неизвестностями рубеж в жизни огромной страны, раскинувшейся на два континента, а тем паче рубеж в жизни лагеря, самая темная длинная ночь, самый темный день в году. К этой дате стягивается, сгущается и уплотняется время, и от нее мы, зэки, счет дням и годам вели. Так будем же условно, гипотетически относить метаморфозу во взглядах Краснова к концу сентября 1949 года, когда в лагере еще пышно и донельзя бурно цвела надежда на общую политическую амнистию, циркулировали тоскливые, неправдоподобные, но упорные слухи. Если не сильно в молоко я пуляю, то могу говорить, что такие блистательные, чарующие умы (следую за Гомером: «Только вождей кораблей и все корабли я исчисляю»), как Коган, князь гуманитарных знаний, кладезь премудрости, Минаев, Грибов, Кузнецов, философ с головой Сократа, бесстрашный, как Геракл, Померанц, Ляхов, Васильев, Васяев, Федоров, Тарасов, Татаринцев еще не прибавились к народонаселению нашей благословенной, крепкосколоченной обители. Нет среди нас маститого, именитого Гладкова, автора бессмертной комедии «Давным-давно», которая не сходила со сцены театра даже после ареста автора. Доктора наук, кандидаты наук, писатели, артисты — хоть пруд пруди, кто только не обитает на нашем ОЛПе. Вот Рокотов, бестия, плут, отъявленный валютчик, миллионер. Но миллионером он стал в эпоху волонтаризма и пустозвонства в конце пятидесятых годов, а со мною он сидит по статье 58-10. Вот я с шипящей пеной у рта уверяю вас, читатель, что каналья Рокотов (в те годы он не виделся мне продувной канальей, это, увы, анахронизм) еще не появился на ОЛПе, а как же в таком случае смогли пересечься Рокотов и Бирон в карантине? И Магалиф где-то в это время вынырнул; разразился и меня уже потчевал поэмой «Шея Змея» (сам же обычно добавит в скобках: «Одиссея, эпопея»). Гениальное, сладкозвучное

творение. Сохранилась ли поэма? Не исчезла ли? Неужели в самом деле и Рокотов, и Магалиф, и Гладков уже были на ОЛПе, а обильный урожай на остальную высоколобную интеллигенцию ухает на следующий год, на 50-й? Как разузнать, распознать, выверить? Знаю точно: 12 августа 1949 года первый раз проведать приехала моя Пенелопа, и нас оставили на ночь в комнате свиданий; стояла жарница, и я постеснялся захватить телогрейку, что привело к неудобствам: в комнате свиданий два стула, стол, жесткий пол. Как не помнить привалившего счастья, долгожданного, краткого, острого, а утром я отправился в контору, кемарил, клевал носом, а вечером опять свидание. Жена навещала меня два раза в году, летом и зимой, уезжала по-рожней, я шутил: «В неволе не размножается». Знаю, что 12 августа Краснов был еще при своих высоких, стройных, неколебимых убеждениях, а на его горизонте только что появилась прекрасная полячка. Метаморфоза: Краснов сражает меня неслыханными, крамольными, кощунственными глаголами. В тот раз в 49-м году Нинка не брала с собою девочку, берегла. Правильно делала. Мала еще Леночка для таких передряг, мытарств. Пока доберешься до ОЛПа — замучаешься. Когда первый раз едешь, всех ухатов, где надо соломку подстелить, не знаешь. У нас-то роды кончились благополучно. Поголосила белухой жenuшка, повиытирала рукавом обильные, соленые водопады слез, попричитала, как та незабываемая Ярославна, что из Путивля, да и успокоилась, родила здоровую девочку. А вот у Юрки нелады обалденные: у жены после ареста мужа молоко пропало. Тут как тут последствия: рак груди. Бедную женщину резали, сурово полосовали, кромсали эскулапы, замучали проклятые прежде, чем ее Бог прибрал, и она отошла в лучший, вечный мир, из которого нет никому возврата. Издержки истории. А у нас в порядке. Слава Богу! Для сведения оброну, что я на редкость удачлив и счастлив в браке. Утешений и сладких радостей на стороне не ловил, придерживался жены. Позволю выразиться старомодно: Бог благословил меня тремя дочками. На современном языке, на языке неозаренного мира: настрогол трех дочек. Мудрец Еврипид пропел ямбическим стихом: «Душа всего живого в детях». Грибоедов выдал: «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом». Какой это ужас, когда подрастают дочери, и у них появляются кавалеры. Так бы и схватил ружье: «Субчик-голубчик, стой, не балуй! Такой-сякой, намазанный, сухой. Не подходи, дрянь, к моим девочкам!». Дочки попали в приличные руки. Опять, слава Богу! Зятьями не то, что дово-

лен, а так, могли быть хуже. А внукам, скажу, числа нет, целый выводок, мал мала меньше, млечный легион, усташь от крика, возни, черт знает что творят, у каждого в задку пропеллер, бесенята, сорванцы, архаровцы, голово-резы, егозы. Отрадно чувствовать себя эдаким гнездарем, корнем, патриархом Иаковом. Выражаясь языком Библии, от моего семени идет клан шустрых, здоровых, веселых отпрысков, прямо как от библейского патриарха Иакова идет двенадцать колен неистребимого, как клопы и тараканы, еврейского народа, подарившего нам Книгу. Опять получается, что я нечаянно, ненароком скользнул вбок и прочь от центральной темы повествования. Но в свое оправдание скажу, что как раз в период, к описанию которого я боязливо приступаю, Краснов с жадным необузданным любопытством, с настойчивостью, как та девица из анекдота (а после? а потом? А после было раньше!), дотошно расспрашивал меня, как я женился, желал знать подробности. Я не считал нужным уклоняться от сей важной темы, охотно, честно, распахнул настежь окна души, все без утайки поведал другу милому, ничего не замуровал. Полезно будет вкратить в повествование забавную сценку, так, штрих. На ОЛПе возник Финкельштейн — выдающийся ум, интеллектуал, арабист, мыслитель. Об этом человеке стоит написать целый роман: судьба трагична. Вполне нормально, что таким ярким человеком заинтересовался юный философ; познакомились, что в лагере проще простого. Краснов пошел с ходу и с бестрепетным сердцем, как в случае с Бироном, насиловать бедного арабиста лекцией, упорядочивающей вселенную, которую читатель уже знает. Еще раз повторил и проверил пронзительные, занозистые идеи. Нас трое, Краснов, Финкельштейн и я. У Краснова голова перевязана бинтами, под глазом — дуля, переливает всевозможными цветами радуги, украшен после злой баталии с Каштановым, о чем будет ниже, в своем месте. Вид Финкельштейна одновременно и пришибленный, жалкий, в лагерной обновке второго срока, и надменный, серьезный.

— Как по женской части? Ходок? — такой балдой Финкельштейн развязно перебивает лекцию Краснова: явная пощечина.

— Не понял?

Финкельштейн с садистической злобой поясняет, а мой философ с бесконечной моральной отвагой, честно признает, что еще не знал женщину. Финкельштейн поднимает знамя: кто не знает женщину, не знает жизнь, должен помалкивать.

— Я не целовал ни одной девушки, — говорит Крас-

нов, — но истина не зависит от того, целовал ли я девушек или нет.

— Зависит, — сказал Финкельштейн, — мне вас очень жаль!

Нет, не зависит.

— Зависит, — кило презрения, два кило ехидства.

— Не зависит! — без оглядки, бойцово ринулся вперед Краснов. — Платон...

— Гомик, вот кто ваш Платон, — ядовито смеялся Финкельштейн, отвалив от нас с видом победителя, полным кичливого, чванливо-верблюжьего презрения к собеседнику. Вот в таких плотных, надменных шорах прошло маленькое, шепотное, богоизбранное еврейское племя мимо великих культур Египта, Месопотамии, отчасти Греции, не только не испытал никакого влияния, но даже не заметив их, словно Египет, Месопотамия были абсолютной, глубокой пустыней, бездной. Но сейчас не то время, и Финкельштейн в отличие от удивительных, великих предков, верующих в свою звезду, предназначение, оглянулся. В его карих подвижных глазах, все еще выражающих абсолютное торжество, мелькнула сумятица, смута от совершенной оплошности. Не провокация ли? Нас-то двое, два свидетеля, что требует уголовно-процессуальный кодекс, и значит, за нами истина. Во взгляде отчужденность, ущербность, отчаяние.

— Не приклеивай ярлыков! — кричит злобно он.

— Чем-то похож на Хейфица, — сказал Краснов, разглядывая спину улепетывающего Финкельштейна. — Помнишь Хейфица? Маркса хорошо знал. Не отнимешь.

Как мне не помнить Хейфица? Жестикულიрующий, лупоглазый. Рачьи, выразительные глаза. Но с Финкельштейном нет ничего общего, национальность разве что.

В конце семидесятых годов я напомнил Финкельштейну об этом курьезном диалоге, о его ехидстве. Представьте себе, отрицает.

В тот день мы долго шлендали по ОЛПу, решали важную проблему, может ли человек знать истину, если он еще девственник? Я не принимал кредо Финкельштейна, считал, что как раз наоборот: с потерей невинности человек утрачивает способность проникать в тайны духа, мироздания, истории, что не случайно все великие духовидцы, пророки, кудесники, маги, волхвы, йоги, халдеи, софы, иерофанты, пифагорейцы, христианские святые были девственниками, блюли чистоту. К слову я поведал Краснову, что знаю от одного верного человека, что у нашей неисто-

вой, великой бабули, Туган-Барановской, прославленной эсерки, есть любовник.

— Не может быть! — возмутился Краснов. — Не верю.

— Колобок, — торжествующе сказал я.

— Чепуха! Ей сто лет!

На лице Краснова зачаточно появилось и погасло гадливое выражение.

— Зачем ты мне рассказал? На мыло! На свалку. Чудовищно! Старая карга! Сто лет, а она шуры-муры, никак не уймется. Грязь, извращение, неистовая какофония, рвотный порошок. Фарс, свинарник. Мне не постичь эти бесчинства и безобразия. Хулим Екатерину Великую, а сами что? Революционерка называется! Стыдобушка. Тебе что-нибудь понятно? Зачем ей? Нужен Достоевский. Любил карамазовщину, аномалии, надрывы. Знаю, что гений, но чужой. Пушкин, Толстой — другой коленкор, светлая, мажорная, жизнеутверждающая струя русской литературы. А ваш Достоевский — декадент и отец декадентов! С него пошло. Еще Гоголь хорош гусь. Все не как у людей, ужимки, подмигивания. О чем «Нос»? Знаю, ты ревностный, несправимый поклонник Достоевского. Прости, твоих вкусов я радикально не разделяю. Не возражай. Достоевского я изучил досконально, вдоль и поперек. Врага надо знать. Все мои друзья без ума от этого пророка и гения зла. Все: Кузьма, Васяев, Шмайн, Красин, Федоров, Маша Житомирская, Феликс Карелин. Оставь. Толстого вы определенно недооцениваете. Толстой для вас объект насмешек, что-то школьно-скучное, нудное, безнадежно устаревшее. Не кушал ни рыбы, ни мяса; ходил по аллеям босой.

Краснов еще раз сплюнул. Чтобы сменить тему, я поведал другу историю своей женитьбы.

Нас, студентов МГУ, погнали на митинг, посвященный 800-летию Москвы. Волнующий, славный юбилей: в летописном своде за 1147 год первое упоминание о Москве. Москва названа в числе других сел, принадлежавших боярину Кучке. Митинг проходил там, где сейчас памятник Юрию Долгорукому. Наверно, в связи с закладкой монумента был митинг. Не знаю точно. А может, и по какому иному случаю. Вижу, хорошенькая девушка. Взял на прицел. Слово за слово. Улыбочка за улыбочкой. Разговорились, проводил, попросил телефончик. В пору юности все просто, быстро. Вчера еще только увиделись впервые, а сегодня кажется, что знали друг друга всегда, тысячу лет, друг для друга созданы, друг для друга слажены и не можем жить без друг друга. Стройная, легконо-

гая, довольно дылдастая, что крайне импонировало мне (меня она чуть ниже); копна каштановых волос, удивительный цвет лица: щечки — чудо, переспелый сладкий персик. Девчонка в самой поре и что надо. Мой тип. Во всех отношениях — краля моей грешной, медовой, юношеской грезы. Сказка. Шехерезада! Нравилась до потери сознания. Пришел, увидел, победил: и я ей приглянулся. Не прошло двух недель нашего знакомства, а казалось, что всю жизнь знаем друг друга: здорово влюблены! Все свободное время околачиваюсь у нее. Решили пожениться, оформить брак, чтобы все, как у людей, без сомнительных штучек-дрючек. Обещаю Вере, что буду на руках носить. Подали заявление в ЗАГС, а там тетенька очень строгая, зловредная поглядела на нас сквозь очки, сказала, чтобы заходили через неделю расписаться. Как положено, Вера познакомилась с моими родителями; с ее я был уже знаком. Отец ее мне нравился. Большой солидной комплекции, дородный дяденька; седеющий. Умный. Он был крупной шишкой, заместителем министра легкой промышленности. Номенклатура. В штате Косыгина. Ходил с Косыгиным из наркомата в наркомат, из министерства в министерство. То легкая промышленность, то текстильная промышленность. Сработались. Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Если бы не моя труба, если бы не загудел в лагерь — видели бы мы с вами, читатель и друг, моего тестя на мавзолее в сонме могучих, бессмертных вождей. Нет, еще два слова и навсегда похерю эту тему. Хоронили тестя на Новодевичьем кладбище. Некролог подписал сам с усам: Косыгин. Так-то и так-то, скончался, дескать, не хрен собачий, а внушительная фигура, пенсионер первой всесоюзной категории. Не жук чихнул, словом. Взять в толк, спортил я, грешным делом, биографию своему замечательному тестю, подгадил и много. После моего ареста ему пришлось куда-то писать, объясняться, толком не знаю, что и как, но с орбиты он сошел, уже больше не возносился. Я-то обелился после 53-го года, а его из черного списка не вычеркивали. Довольно о тесте. Для вас-то, читатель, это побочный, малоинтересный сюжет, не стоит выеденного яйца. Не терпится все-таки сказать, что квартирка у них была отличная, завидки брали. Первый раз — остолбенел. Комнат уйма, без конца и края, пять штук на четверых. У отца отдельный громадный кабинет. Столовая. Спальня. У девочек по комнате. На такой фатере, говорит народ в своих пословицах и поговорках, и умирать не захочется. Очень возможно, что сейчас такие размеры квартиры не так зло будоражат зависть и воображение; многие свобод-

но живут, кооперативы себе поотгрохали: хоромы, я те скажу, будь здоров! Забывать мы стали, что есть коммунальная квартира. А после войны был адский голод на жилплощадь. Мрак, легче было из лагеря выйти, имея 58-ю, чем получить площадь в Москве. Один мой друг, помню, шутил, что ему жениться некуда. Через год уже шутил, что женился в никуда. Никому из дружков-приятелей и не снилась в те любезные годы своя комната. Даже привыкли как-то к тесноте, к коммунальности, к местам общего пользования. Считалось, что все нормально, что так и должно быть. Тиритумбия, хороши только первые робкие встречи. Жму звонок. Как всегда, открывает мне Верина младшая сестренка, которой все интересно. Я: «Здрасьте». Слышу, как она шепотом оповещает: «Верин ухажер». Я же бочком, развернув плечи по стене, проскальзываю в Верину просторную, чистую, светлую комнату, толково выходящую на улицу Воровского, по которой в те годы вообще никакого движения не было: невозмутимая тишь, благодать. Нзкидываем крючок, вделанный мной, воркуем, обжимаемся, балуемся. Все условия. А, когда подали заявление в ЗАГС, сделались женихом и невестой, стало быть, официально, то вроде и сам бог велел нам обжиматься и напропалую миловаться. А то как же, дело молодое. Никто уж не имеет права пресечь: субчик, голубчик, стой! Вот и Грибоедов, будучи женихом, записал о невесте: «Я повис на ее губах». Все, словом, шло хорошо, но стряслась история с географией, что и вспоминать стыдно. Раз дер Фатер унд ди Муттер улепетнули вечерком куда-то там на хутор, запропастились до поздней ночи. Вообще-то они раньше нам не мешали баловаться. Как всегда, накидываем крючок на дверь, кинулись друг к другу — давай во всю целоваться. Нет, не я, а она виновата, что довела меня до такого бешенства. Я же только сравнил ее спинку, как Сван у Пруста, с Венерой Веласкеса, утешался, что у великого испанского художника тот же высокий идеал. Виновны во всем ее жадные, попустительствующие, горячие, точеные губы, нежные пальцы. Раззадорила меня. Краем рассудка отмечаю: почему бы и нет? Все одно на днях распишемся! Словом, я окончательно шалею, бормочу несусветное, что больше, мол, не могу. Люблю, мол, безумно. Бред отчаянный, горячечный. Она молчит, а ее губы говорят о душевной щедрости, зовут, согласны. Я, словом, не отдаю уже отчета, что творю. С развернутым знаменем страсти штурмую девицу, свою невесту. Иду, как Гастелло, на таран. Моя партнерша уже прекратила увертываться, ерепениться, капитулирует на милость победителя: тело ее полностью



покорно моей неистойой, необузданной взбаламученной инициативе. Но сие оказалось лишь в моем воспаленном мозгу. Так-то. Если в соблазнительном мифе мраморная Галатея под влиянием любовной страсти превратилась в живую женщину, то в моей жизни все наоборот: в моих горячих руках бесчувственное холодное изваяние! Эта зараза, полудева, видать, не лишилась рассудка и чувства реальности, лишь прикидывалась безрассудной и неистойой, играла.

До меня доходит:

— Нет!

Нет, мол, и никаких гвоздей. При этом мощно, как амазонка, отстраняется, остервенело локтями пихнула. Слышу ее шип змеиный: «Потом, потом!» Что потом? Почему потом? Потом — суп с котом. Мне сейчас, а не потом. Еще не вполне пропетриваю, что значат ее слова. Она твердо говорит: «Милый, успокойся». Голос сухой, трескучий чужой. Это голос не моей Веры, подменили невесту. Нет в ее голосе ни ноты индивидуального, личного, мягкого, того, Вериного, а одно надличное, видовое, холодное, бездушное, безжизненное. Она говорит, что после ЗАГСа будет моя, бери, владей, властвуй всласть и как твоей душеньке угодно. Так и сказала: «Как хочешь и как твоей душеньке угодно». Опять звучит ее металлический, бездушный голос: «Потерпи. Недолго осталось». У Шекспира есть страшный образ, страшная метафора: «Непорочна, как лед».

Сейчас, спустя века, можно и благоумудрствовать, холодно рассудить, что Вера, безусловно, права. Непререкаема права! Почему не повременить еще три дня? За эти дни мало ли что могло случиться. Можно попасть под трамвай. Объясняя потом какому-нибудь патологическому ревнивцу, как случилась беда, почему приметный изъян в твоём юном, прекрасном организме. Наш брат мужик страсть подозрительно, мнительно-болезненно относится к эдаким изъянам. Как хочется во всем быть первым! Обноски, объедки — фи. После тебя я брезгую. Противно и — все тут. Видать, это заложено глубоко в психике мужчины, гены, природа, наследственность, а выше себя, своей природы не прыгнешь. Тут у нас отсутствует и толика трезвости, притом у всех без исключений.

Но сию мораль басни, дорогой читатель, я вижу нынче, спустя годы, когда у меня взрослые дочери, и я знаю жизнь вдоль и поперек и наизусть, когда я понял, что такое слепая мужская ревность. Волосы мои побелели, полиняли, я, как змей, мудр, как император Марк Аврелий, рассудителен, спокоен стоически, как Будда, бесстрастен. Но не таким я был в

1947 году. Разохотившийся двадцатилетний юнец требует у невесты, что, считает, ему положено, забыв, что она еще не жена, а потому не обязана выполнять супружеский долг. Он не слышит и не хочет знать никаких разумных житейских соображений и всяких там несуществующих моральных категорических императивов. В костях ломота, шлея под хвост попала, не хочу и не могу годить:

— Сейчас или никогда!

Моя-то амазонка ни в какую, непобедимая, увертливая крепость, борется, бурно, энергично устраняется, применяет военные хитрости. У ней свои серьезные философские резоны говорить мне «нет», этим резонам испокон веков учат девушек всех стран и народов.

Ах, так? Спасибо. Дебет-кредит, значит? Крохоборка! Бухгалтер! Стерва! Не увидишь меня больше! Ноги здесь моей не будет. Психанул — моча в голову шибанула. Забалдело ору, смачно, непотребно и во что горазд выражаюсь, утратил меру и приличия, забыл, что мы в квартире не одни. Дал ходу в коридор. Море по колено. На ходу штаны беззастенчиво подтягиваю. Злоба в груди, а пламя романтической, юношеской любви погасло. Один пепел.

В коридоре откуда-то взялась Верина сестренка-шибздик, забыл о ее существовании. Сестренка орет:

— Витя, с ума сошли! Витя, опомнись!

— Тебя еще не хватало! — без оглядки дую по лестнице, сигаю через три ступени, растерзанный весь, раздрызганный весь, галстук в руке держу. Та за мной устремилась, хочет меня, обалдевшего черта, унять, вразумить, вернуть. Раздухарился — ни в какую. «Не суй нос не в свое дело!» Она задорно скачем рядом, спрашивает, пророчит, что сам же после жалеть буду, что Вера права, что ее надо простить, что нельзя так. Уселись мы, наконец, в темном скверике — укромное, тихое местечко. Гудит голова, не слушаю ее. Сестренка прилежно взялась увещевать, уговаривать. Тысяча и одна ночь, ничего не скажешь! Помнишь ли ты, читатель, фильм «Сердца четырех»? Уговоры прекратились внезапно, неладно, негаданно. «Офелия, иди в монастырь!» — оборвал я; без предварительных мерехлюндий, полутонов и переходов, привлек к себе Нинку, молча начал ее целовать. Маленькое открытие: она целуется точно так, как Вера, те же мягкие губы! Гены. А я уже беззастенчиво бубню Нинке льстивые, безумные слова о любви. Пустой треп распалившегося, разохотившегося кобеля, так? Нежданно-негаданно слышу, что Нинка давно тайно вздыхает обо мне, сохнет, завидует, ревнует сестру-красавицу. Лестное открытие: для нее я «свет в окне», что она готова на все и хоть сейчас, без всяких пред-

варительных формальностей, рада-радехонька попустительствовать, утолив пылающее, яростное юношеское сердце. Без риска нет женщины!

— Идем!

И вот мы цельную вечность поспешаем, никак не дойдем, бежим, целуемся на ходу, держим курс назад, на улицу Воровского. Прибежали впопыхах, задыхаясь, как презренные, подлые воры с хищницей в руках, оглядываемся, прислушиваемся, проворно сняли обувь на лестничной клетке перед дверью, тихо, трусливо открыли дверь Нинкиным ключом, гуськом, по стенке, предательски, неверными шагами крадемся в Нинкину комнату — благо сразу направо, далеко от Веринной, где только что пылал и громыхал непримиримый скандал. Прошмыгнули. И успешно. Зажгли свет. Тушим свет. Ни зги не видно, но заметил, где кровать. В запарке, на скорую руку ее раздеваю, канителюсь, а она робко, но очень ловко, удачно ассистирует мне, опять обнял ее, совсем голенькую, слышу, как ее сердце трепещет, хочет выскочить из груди от счастья. Губы — мед; вся она — желание. Храбрый, раболепный, покорный моей вожделенной воле, безропотный подросток. Умница. Складно, славно, безотлагательно, просто, а решается вопрос вопросов! Услышал Нинкино обалденное девичье «ах!», каким-то далеким краем сознания отметил, упрекнул себя: «Е-мое, что же я напроказил! скотина!» «Не жалеешь?» — пытаю. В ответ услышал блаженный, лихорадочный Нинкин лепет (а во тьме сверкали глаза): «Что ты, я счастлива!» Она сжимает худенькими руками сильно, до синяков мою шею, слышу нескончаемый, захлебывающийся дифирамб, дионисирамб: «Мой, мой, мой! мой!. Я, как в дремучем сне, счастлива! Мой, мой!» Знаешь, читатель, что я, заблудок между двух сосен, женился на Нинке. О бывшей недотроге-невесте раздраженно думал: «Так тебе, жлобка, бухгалтер, фригидная стерва, и надо!» Не из одной вредности я женился на Нинке. Обнимая Нинку в тот раз, я мысленным взором ласкал Веру, притом в ласках Нина очень походила на старшую сестру, красавицу, со спиной, что с картины Веласкеса. Мне отнюдь не кажется неправдоподобным и сомнительным, что во тьме ночи Иаков не разобрал, что ему вместо любимой Рахили подсунули нелюбимую Лию, сестру Рахили, что Озирис в ночи перепутал, не отличил Изиду от Нафты. Читатель, вспомни себя: мужской вкус непостоянен, блуждает, эволюционирует. Я хочу сознаться, что миниатюрная Нинка сумела деформировать, изменить, подчинить мой вкус, мои зыбкие представления о вечной женственности. Но должен утвердить еще нечто, что удивит читателя: не только в моей голове заменился идеал, но произошли из-

менения и во внешнем, объективном, данном нам в ощущении мире, притом изменения к лучшему. Дело в том, что от яростных, истовых моих объятий и мужских подвигов пошла моя Нинка, замухрышка, малявка, бесцветная птаха, голенастый подросток, всюю хорошет, цвести, дозревать, доплощаться женскими статьями. Была-то прямо кожа да кости, легонькая, как цыпленок, но вот прошмыгнул медовый месяц, и эта заморышная, подростковая худоба слиняла, сошла на нет, как с гуся вода. Ножки вытянулись, словно кто их умело дернул, растянул, икры интересно округлились, кожа улучшилась качеством, подкожный жирок нарастил, хороши щиколотки, с ума сойти можно. Я ничего не выдумываю и не воображаю. Ей вовсе уж не подходил нулевой лифчик, а потребовался, к нашей обоюдной радости, побольше, сначала № 1, затем и № 2. Нет, это вам не одно голое изображение, фантазия и вольготный восторг неожиданно втюрившегося в собственную жену мужа, а нечто имеющее отношение к объективной твердой реальности, которую можно измерить точным прибором, которая существует и для других трезвых людей. Не одни груди да ножки изменились, переменились, улучшились, а все абсолютно: резче округлились бедра, обозначили узкую, осиную талию. Бедра у Веры пошире, но талия у Нинки просто восторг, изумительна. Еще с германской, империалистической войны у моего отца сохранился ошейник, который, как я уже сообщал, отец в тот раз использовал для экзекуции. Красивый ошейник с фигурными, блестящими бляхами-наклейками. Отец хранил его, как память о германском плене. Нинка быстро этот ошейник разглядела, выпросила у отца, приспособила, носила, как ремень на талии. Как тонка должна быть талия, чтобы подошел собачий ошейник! И откуда эта Психея могла разгадать мое тайное желание, чтобы она надевала этот ошейник при исполнении супружеского долга? Голенькая, лишь ошейник на талии! А знаете, почему я полюбил Гомера, почему он мне открылся своею бескрайней глубиной и прелестью? «Илиаду» я одолел поздно, когда вернулся из лагеря, домучивался в университете. Читал, зевал, скучал, чуть челюсть не вывихнул. Дело не шло дальше 2-й главы, до перечня тех, кто явился с великим Агамемноном под Троию. Очень понимаю Мандельштама, который каждый раз спотыкался на этом месте, засыпал: «Я список кораблей прочел до половины...». Однажды я открыл Гомера наобум, как блаженный Августин Святое писание, ахнул (как и блаженный Августин, которому попал в поле зрения стих 14 главы XIII «Послания святого апостола Павла к Римлянам» «...и попечение о плоти не превращайте в похоти». Эти простые слова предназначались ему, написаны для него, для его

пробуждения). Я читаю, как Гера выцаганивала у Афродиты «узорчатый пояс», чтобы обольстить Зевса (Песнь четырнадцатая. Обольщение Зевса):

Пояс узорчатый: все обаяния в нем заключались:  
В нем и любовь, и желания, шепот любви, изъяснения,  
Льстивые речи, не раз уловлявшие ум и разумных.

Вот мой пояс узорчатый на лоне сокрой его, Гера!

Раскрылись вежды: ожил для меня старый старик Гомер, перестал быть мертвым классиком, вытанцевалась неожиданно моя судьба: воссияла яркою звездой античность, забуксировала мое сердце. Конечно, было и влияние Губера, подталкивающего мой интерес. Ой, опять отвлекся, заговорился. Так где ж я, бишь, застопорился, забуксовал? Возвратимся вспять к Нинкиной талии. Да, собачий ошейник с замысловатой фигурной пряжкой, орудие безбожной порки, которую я едва перенес, чуть не лишившись рассудка. А ножки у Нинки, ей-богу, стали длиннее на три сантиметра, стали такими, как мне нужны. Волосы сделались пышнее, красивее, шелковистее. Как в сказке, Золушка, поздний плод утомленного родительского чадородия, преобразилась из заморыша-куколки в яркую, сверкающую бабочку! Кровь с молоком! Неоскудевающая веселость и жизнерадостность. Пришвартовался и прилип я душою к пригожей, похорошевшей Нинке, словно именно она, а не кто другой предназначен мне небом. Полонено мое сердце Нинкою и все тут! Недаром в старину говаривали, что браки заключаются на небесах. Читали «Метель» Пушкина? И прожили мы с Нинкою жизнь душа в душу. И не отдам ее за все царства мира и славу их. Психея. Знаю наизусть ее тело и душу, не наскучивает, только к ней и тянет. На всю жизнь и по уши втюрился. А ты, читатель, говоришь, «любовь, любовь!». Что ты в этом смыслишь? Все романтизм, с чужих слов, из оперы «Кармен»? Бизе да Гуно. Вот был я пылко влюблен в старшую сестру, а обознался, невзначай женился на младшей, прожил с младшей жизнь и, как Одиссей, готов «свою старуху предпочесть бессмертию» (Цицерон). Возвращаюсь к повествованию. Мое дьявольское коварство и дьявольское предательство долбануло бедную, красивую Веру как обухом по голове. Мрак. Убийственный невиданный кошмар. Померк свет солнца. Без ножа зарезана. Разбито сердце на мелкие куски. Чего-чего, а такого непотребного фортеля, такого крутого, злого оборота событий она не желала и не могла предвидеть и представить. Прошло два года (я уже сидел в лагере), и наша Вера дерзнула выправить огрех, забросила чепец за мельницу, уступила домогательствам же-

натого человека, который к такой гордой, красивой девушке и на пушечный выстрел не должен был подходить. Это был известный летчик, сердцеед, сверхдошлый, неотразимый ловелас, который, конечно, обещал ей жениться, обещал, что будет на руках носить и все такое, включая вечное блаженство и золотые горы. Тянулись их отношения бесконечные, бескомфортабельные семнадцать лет. Притворялся, беспардонно лгал, актерствовал, угрожал покончить жизнь самоубийством. Вдруг — умер. Нет, он не разбился, как другие, как Чкалов. Удачлив был. Что-то с желудком, как у моего отца. Повалился два месяца в больнице, готов. Рачок. А у Веры вся жизнь псу под хвост. У судьбы в немилости, обсевок в поле. Не вдова, а неизвестно кто. Даже на похоронах не была. На могилу тайно ходит. Ни семьи, ни ребенка. Дырка от бублика. Одинока, как тот утес на Волге, так же поросла мхом и бурьяном. Встретил ее на днях, высохла вся, худющая. Защебетала: «Витя, что ты о китах думаешь? Я очень за китов беспокоюсь, волнуюсь. Киты на берег выпархивают. Что это? Самоубийство? Витя, к чему бы это?». А что ей остается делать? Борется вместе с Лихачевым, чтобы реки текли в положенном природой направлении, волнуется о Байкале, о китах. Нинке пришлось уйти из пятикомнатного гнездышка, что на элитарной, тихой улице Воровского. Перебралась к нам, в общую квартиру, в нашу нелепо большую комнату. За шкафом нам выделили просторное, бескрипное, крепкое супружеское ложе. Ничего: жили, не тужили. Союз наш нерушим и вечен. Дай Бог всем! С моей матерью Нинка спелась, любила ее. Характерами сошлись. Женская, говорят, солидарность. Я уже успел сообщить, что дочка, Леночка, родилась, когда я сидел на Лубянке, что на очную ставку жена приходила с заветным пузом. Все годы, что я был в заключении, моя верная, преданная Ярославна-зегзица прилетала два раза в году ко мне на свидания, омывала мои раны.

Кто внимательно читает мои воспоминания, должен помнить, что звездное сретенье 7 ноября 1947 года с богоподобным, богоравным Сталиным имело для меня грандиозное значение, катастрофически-пагубное для семейной жизни, последствия которого не поддаются трезвонаучному расчету. Но Бог милостив. Меня сгребли. Интимное сверхсобытие пришлось на тот период нашей зашкафной жизни, когда Нинка была уже стельна, но все еще с исключительной внимательностью, чуткостью исполняла супружеские обязанности, потворствовала моим юношеским порывам. Физически я был удовлетворен. На стенку не лез, как другие в моем возрасте. Обращаю на это внимание вдумчивого читателя, чтобы он не стал все случившееся объяснять нежным, пылким возрастом,

неотрегулированностью половой жизни, когда бедный, неопытный юноша изнемогает под гнетом низкого, свинцового, безнравственного, неукротимого, надоедливового инстинкта, в аккурат готов прямо на стенку лезть, прицеливается к воспятой в стихах замочной скважине. Моя-то половая жизнь к моменту сретенья была сгармонизирована, даже был чуть пресыщен медовым месяцем. И вообще я очень уравновешен, спокоен. Всех этих жгучих, страшных проблем пола, безумств, мук плоти я не ведал. Терпелив. Не ударяюсь в крайности. Еще и еще раз повторю, что к женщине у меня спокойное отношение: никогда я не был флюгером, готовым устремиться за первой встречной-поперечной, порхающей, флиртующей женской юбкою.

Читатель, думается, сам додул, что там, на Красной площади, с моим организмом творилось нечто неладное, что наслаждение я испытал сверхмощное. Хочу еще добавить, что не всякий способен вообразить даже, что со мной происходило. Не в голове, а физически, в измененной, срамной части моего организма. Вот когда был нужен человеку путный совет врача! Чтобы не отфутболивать читателя к энциклопедичному Форелю (да и где взять Фореля? Не в библиотеку же Ленина переться?), позволю себе апелляцию к замечательной древнекитайской повести, которая приписывается исследователями древности Линь Сюаню, жившему где-то там на рубеже нашей эры, то есть около двух тысяч лет назад. Вечная, умопомрачительная классика, жемчужина из жемчужин, повесть вошла в сокровищницу мировой литературы под скромным названием «Частичное жизнеописание Чжаю — Летящей ласточки». Приведу отрывок, отдаленно иллюстрирующий состояние моего тела, когда я покидал Красную площадь:

«Вскоре государь занемог и вконец ослабел. Главный лекарь прибег ко всем возможным средствам, но облегчения не было. Бросились на поиски чудодейственного зелья. Как-то добыли пилюли — шэньсеойцзю — „Камень, придающий силу“. Пользование ими требовало осторожности. Лекарство передали Хэ-дэ. Во время свидания с государем Хэ-дэ давала ему по одной пилюле, действия которой как раз хватало на единое поднятие духа. Но как-то ночью, сильно захмелев, она поднесла ему разом семь штук. После чего государь всю ночь пребывал в объятиях Хэ-дэ за ее девятислойным пологом; он смеялся и хихикал без перерыву. На рассвете государь поднялся, чтобы облачиться в одежды, однако жизненная влага все текла из потаенного места, Через несколько мгновений государь упал ничком на увлажненные одежды. Хэ-дэ бросилась к нему, посмотрела: избыточное семя било

ключем, увлажняя и пачкая одеяло. В сей же миг государь опочил...». Да, я познал феерический, дикий, неистовый экстаз и его затяжные, удручающие, смертоносные последствия, весьма сходные и подобные тем, что после пилюль пережил несчастный император Чен-ди. Я был молод, крепок здоровьем: сдюжил. Три дня пребывал в немощи, на самом пороге гроба. Время, всеисцеляющее время, лучший врач. Но я был напуган тем, что мне пришлось пережить. Не должен смертный вкушать столь непопечные, сверхмощные наслаждения. Моя психика искривилась. Я предчувствовал расплату. Я не удивился, что расплата явилась так скоро. Тюрьма притупила болезнь. А когда я вывалился из «воронка», хватил полной грудью жаркий московский воздух, я ощутил себя здоровым: вновь обрел свободу от наваждения и крепкий союз с жизнью. А что бы меня ждало, если бы не избавительная Лубянка? Что мне маячило? Намек на свою возможную судьбу я вижу в истории той молодой женщины, о которой вскользь уже рассказывал. Хотя история из вторых рук, но сердце чует, что все чистая, святая правда. Интеллигентная женщина, кандидат филологических наук, ученица Пинского, западница, приличнейший, достойнейший во всех отношениях человек и — вот выброс: оставила грешный свет, бросила мужа, стала повсюду крутить роман (разумеется, астральный, мистический) с великим Сталиным. Пародия на святую Терезу: ей-ей! После каждой такой «встречи» на Красной площади она, с позволения сказать, становилась «тяжелой». Беременность-то мнимая, но со всеми неромантическими подробностями и знаками истинной беременности. Того и гляди — родит. Врачи фиксировали истинную беременность, слышали биение сердца ребенка. Пророчили крупного Геракла. Где-то недели за две до праздника весь этот карнавал кончался. Спадал, словно из него выпустили воздух, непомерно, неприлично раздутый огромный животик — ищи, свищи его; скоропостижно животик становился гладеньким, плотным, как у юной девушки. В предчувствии мистического рандеву она дьявольски хорошела, молодела, расцветала, дьявольски невестилась. Возвращалась стройность, легкость, подвижность тела, восемнадцати не дашь, цветок! Она светилась счастьем, тайною вечной женственности, но для кого и для чего этот «цвет», этот «брачный наряд»? Волнений пред новым свиданием хоть отбавляй. Нужны новое платье, белое, новая шляпа, новые туфли, новые чулки, новое кружевное чистое, ненадеванное нательное белье. Она летела радостной птицей на демонстрацию. Опять истерический восторг, удар, агония, исступление, смятение чувств. Все по новой, опять понесла от встречи с богом! Эта жуткая страсть, которую не хотелось



бы называть любовью, как петля, затягивала ее всю, затягивала все туже, туже. Не представляю, как бы она дальше жила: думаю, что умерла бы от черной, жгучей тоски, от отчаяния, как умирает лебедь. Она рвалась на последнее свидание, на прощание. Она была раздавлена на Трубной площади такими же одержимыми истеричками, как и она сама. Символ, обозначающий мою судьбу, если бы вовремя меня не зачатило МГБ. Ой, не зря говорят, что нет худа без добра!

Но, кажется, я пренебрег советами мудрого Аристотеля, отца философов, преступил в отступлениях меру (и Шекспир устами своего героя, который один только мог написать все его драмы и комедии, рекомендует «знать меру»), заблудился в прорве лирических закоулков, интермедий: заболтался. Не дурно бы и честь знать...



...не теряя ариадниной нити, вспомнить о дрожайшем симаском близнеце, с которым я все это время не-разлей-вода.

Прежде всего, нахожу уместным сообщить, что мне вовсе не по душе было, что мой гениальный брат Краснов трубит на этой адовой шпалорезке. Во-первых, легко получить увечье: ухайдакаешься, потеряешь бдительность — раз, рука прочь. Рано или поздно этим кончится. Но это во-первых, а во-вторых: интеллигентный человек, тем паче Краснов, мозг крупнейшего масштаба, не имеет права физически работать, а должен при первой возможности сменить завывания маятниковой пилы на сухой скрип легкого пера: головой работать. Момент подходящий. С лагпункта убирают женщин, освобождаются придурковые места. Краснов умничал, моих настроений и взглядов не разделял, но меня это нисколько не волновало; я ближе к земле, чем Краснов, лучше кумеаю, как надо жить в лагере: решил осчастливить своего друга против его воли, пристроить как-нибудь. Владзилевский, главный бухгалтер, мой благодетель и большой любитель назююкаться, а затем исповедываться (приходилось выслушивать его исповеди) всегда склонял ухо ко мне. Вот я и подсуетился, шепнул словечко за Краснова и о'кей: Краснов — учетчик погрузки, придурок, отличный ранг. В голову моего философа не могло прийти, что это я его сосватал. Спасибо он не сказал бы мне, как пить дать. Если бы я знал все последствия перевода Краснова из пешки в знатные ферзи, не делал бы этого никогда.

— Мне не нужен учетчик, — круто, непреложно дал поворот от ворот Каштанов, начальник погрузки, вылупился с

брезгливым презрением, как на букашку. Поганый тип, йеху-образен, мощная, лошадиная челюсть, огромные лошадиные зубы, такими зубами запросто крушить грецкие орехи; глотка луженая. — У меня есть учетчик.

— Я не навязываюсь, — с достоинством отбрехнулся Краснов. — Могу и на маятниковой пиле работать.

— На данном участке Советская власть буду я! Все! Сгинь! Кому говорю?

Положение предельно щекотливое, прямо скажем, дурацкое. Что делать? Погрузку пиломатериала сейчас учитывает некая Ирена. Перевод Краснова не согласован с Каштановым. Но женщин методично убирают с комендантского, уже многих мы недосчитываем. Судите сами: из полутора сотен, что было в 1948 году, едва уже наберешь три десятка. Нет на лагпункте неотразимой, неукротимой, угарно-пылкой Зойки. Право слово, помню, когда ее уволили на этап, вся наша бражка-мужичье, кто почему-либо оставался в зоне, вылезли ее проводить, запрудили подход к воротам ОЛПа. Нас не менее пятисот человек. Стоим в гробовом молчании, тянем тонкие шеи туда, откуда должна показаться первая краля ОЛПа, обнажили оболваненные машинкой ззчьи головы. Мы — угрюмы: и никто эту грусть, грусть глубокую, и никто никогда не поймет! Начальство переполошилось: не бунт ли? Ан нет. Она выпорхнула: солнце взошло! Жена, облеченная в солнце. Боже, как хороша!

— Мужички! Нос не вешай! — крикнула. — Встретимся при коммунизме!

Что же она нам такое сказала? Неясно. Всем стало легче, теплее в этом мире, улыбчатее на душе. Нет, она не хотела нас обидеть, сказать, что с любовью у нас не будет встречи: коммунизм это такая штука, которая (в анекдоте) имеет общие черты с линией горизонта: удаляется по мере приближения к ней. Нет и нет. Мне кажется, что она хотела сказать, что при коммунизме будет общность жен, что всякий может хранить надежду, что станет ее мужем. И все мы, забыв что на свете не одна Зойка, но есть и другие женщины, вздохнули таяжко:

— Эх!

И — умереть! Умереть, как умирает трутень. Как сказал поэт: «И вечность отдал бы за миг».

Погрузка начинается ни свет ни заря, когда на небе пасутся стада звезд. Грузчики мотают туда со своим специализированным конвоем. Краснова не берут. Он тащится на завод с остальными бригадами, заявляется на погрузку. Работы закруглены. Грузчики всюду стучат топорами, зашивают

вагоны. Последние штрихи. Что остается делать Краснову? Прохлаждается, бьет баклуши, неприкаянный бродит туда-сюда, глазает, как учетчица что-то пишет на дощечке, какую-то цифирь. Набрался силы, духа, хотел сунуть нос.

Она подняла глаза.

Узнавание, удивление, испуг.

— Да нет, вы меня с кем-то спутали.

— Извините.

Грузчики, молодые ребята, все хиханьки да хаханьки, перебрасываются:

— С усиками, что за фрей?

— Новый учетчик, стажер.

— А Ирена?

— Бабье убирают. К Новому году тут ни одной не будет. Запоем псалмы. Прощай, половая жизнь.

Грузчики уматывают на ОЛП; Краснов шастает, как проклятый кашей, по заводу, в чужих курилках мается, киснет, околачивается, коротает длинные одиннадцать часов. Куча тухлого, болотного времени. Скука тоскою давит. Ощущение странненькое, особенно после сердитого визга маятниковой пилы. Чтобы не подохнуть от зеленой тоски, стал брать с собою на завод толстенький кирпич Гегеля, от чтения которого мозги заметно яснее. Взыграл новый интерес. Он всматривается, до чрезвычайности вникает во все альфы и омеги производственного цикла. Он изучил и постиг все до мелочей: с момента, как бревно перво-наперво поддевается дрынком, с громовым грохотом летит с вагона, катится до транспортера; транспортер волочит бревно к бассейну; здесь, на бассейне, с незапамятных времен старшим наш старый знакомый, расторопный Яшка Желтухин, который артистически, легко, любо-дорого смотреть, играет тяжелыми бревнами, правильно, по науке сортирует их, энергично, мастерски толкает то к одной пилораме, то к другой (те, что помельче); транспортер пилорамы подхватывает бревно (насаживает на транспортер бревно уже другой зэк — «наколка», считается легкой работой); транспортер волочет бревно к пилораме, которая разом крушит его, превращая в доски; доски равняются, гудящим и воющим, как черт, обрезным станком, плывут на сортплощадку; здесь они набело сортируются, сбрасываются в «сани», а «сани» попадают на биржу готовой продукции или, минуя ее (побывав на бирже готовой продукции только на бумаге), доставляются на погрузочную площадку; грузчики грузят продукцию завода в вагоны; Ирена хлопчет, носится с дощечкой между «саней», записывает, подготавливает загрузочную ведомость; и вот продукция лесозавода развозится по

железной дороге в разные далекие места, к потребителю: ЗИЛу, Калининскому вагоностроительному заводу, другим. Краснов ознакомился с явлением на редкость любопытным, сокровенный смысл которого мог раскрыться далеко не всякому. На одном из участков «потока» ручной труд был заменен машиной. Если до этого важного нововведения эффективность работы пилорамы во много раз превышала пропускную способность «потока», что приводило непременно к простоям пилорамы, то теперь ритмы работы пилорамы и остального потока были сбалансированы. Это значительно увеличило выпуск готовой продукции. Тяжелый мускульный труд заменен техникой, полуавтоматизирован. Уменьшилась ли потребность в физическом труде лесозавода? Еще проще вопрос: стала ли легче работа? Ответ: нет. Модернизация, оснащение новой, перспективной современной техникой не только не уменьшает и не облегчает физический труд, а, как это ни парадоксально покажется, увеличивает. Так, рост пропускной способности пилорамы повлек за собою прежде всего увеличение штата грузчиков как на выгрузке, так и на погрузке, увеличилось число эзков, обслуживающих бассейн, не говоря о сортплощадке, куда, как правило, загоняли новичков. Резко возрос спрос на неквалифицированные руки-крюки, на чернорабочих, сократилась потребность в рабочих, стоящих на узком фронте работ, от которых требовалась выучка, сноровка, ловкость, наконец, недюжинные физические силы (так называемые — «незаменимые»).

Мы бодро дефилируем по ОЛПу. Нескончаемые разговоры о лесозаводе завершаются монологом Краснова. С энтузиазмом и убежденностью ясновидца Краснов внушает мне:

— Современному производству нужны несколько специалистов экстракласса и армия чернорабочих. Принеси, подай! Еще быстрее! На лесозаводе после модернизации потока можно на любое место ставить человека, который первый день выходит на производство. Не требуется особых навыков, ни даже богатырской физической силы. Последнее очень важно для производства. Поток перестал зависеть от капризов незаменимых, от умельцев, от тех, у кого золотые руки, а это в свою очередь привело к глубинному, подлинному равенству внутри бригады, к умалению привилегированной прослойки рабочей аристократии. Она не полностью исчезала, а почти. Сошла на нет. Лебедь, учти, что вреднейшим и ядовитейшим либерально-буржуазным предрассудком, удивительно живучим, является утверждение, что подневольный, рабский труд нерентабелен, уступает свободному труду. Кто и когда первый это придумал? Гнусная, подлая, намеренная ложь! Если бы это было так, коммунизм был бы невозможен.

Еще Троцкий понимал, что без насилия, без жесткого внеэкономического принуждения фундамент нового общества не может быть заложен. Мужественные, честные, золотые слова. Троцкий как никогда прав, смел, глубок. Возможно, истину не всегда можно высказывать вслух, чтобы не отпугнуть средние классы. Лагерь рентабелен, самоокупаем, экономически прибылен. Это самый могучий и мобильный способ ведения хозяйства в XX веке. Еще вчера нас, социалистов, упрекали в прекрасодушии, в утопизме, в том, что наши идеалы благородны, прекрасны, но это сон золотой: они чужды человеку, не могут быть практически реализованы. Перед нами лагерь. Он есть и будет. — С фактами и цифрами в руках Краснов готов посрамить малOVERов, гуманистов, которые боятся смотреть правде в глаза. — Вопрос состоит не в том, чтобы ликвидировать подневольный труд, а в том, чтобы лагерь сделать единственной нормой жизни и справедливости. Перед нашими глазами новая, растущая, властная реальность, бурно развивающаяся, идущая на смену индивидуализму и либерализму. Диалектика идей и природы. В эпоху механизации и автоматизации вновь, а может быть, и впервые в истории, рентабельными становятся формы принудительного труда, ушедшие в небытие.

Краснов запнулся о какое-то мысленное препятствие, задумался, затем энергично продолжил. Да, лагерь, ОЛП — идеальный образ будущего, это символ, который следует внимательно рассмотреть, раскрыть. Лагерь рентабелен. Здорово! Ура! Мне же, голубю сизокрылому, предлагается запомнить раз и навсегда, что для истинного социализма дело не в рентабельности, а в перспективе новой жизни: в равенстве. Если придется выбирать между сытостью, разлили-малиной, рентабельностью и равенством, то истинный социалист, друг человечества, всегда, во всех ста случаях выберет равенство. Так думали и Томас Мор, и Маркс. Не беда, что ты или я будем загребать меньше, если падет общий уровень, если всем поголовно будет хуже.

— Никто не должен жить лучше меня. Зависть не должна когтить сердце.

Голубю сизокрылому опять предлагается заглянуть в свое сердце, раздвинуть тину и грязь. Готов ли я жить хуже, но чтобы никто не жил меня лучше? Бог призвал праведника. Нет, не праведника, а обычного, среднего человека, слабого, посулил исполнить его любое желание, любую просьбу, но при одной единственной оговорке, при одном еще условии. То, что тот пожелает, Бог сделает и для соседа, но в сугубом, двойном размере. Что же пожелал человек? Он прицелился. Скромная, смиренная просьба: Боже, возьми у меня один

глаз! Как? Гениально! В этом великая правда коммунизма! А любая другая философия безнравственна!

□ □ □

Десятник лесозавода, тертый лагерник, туз, персона, после нарядилы первый на ОЛПе человек, углядел, что Саша выходит на работу не со своей бригадой (не с грузчиками), взялся учинять острастку:

— Ходи с грузчиками. Учись. Почему не ходишь?

— Не берут, — выступил Саша, очень зарадовавшись, что разговор сам собою получился о том, чем он мучается. — Каштанов говорит, что ему не нужен учетчик. У него есть учетчик.

— Почему не пришел? Не сказал?

Саша не первый день в лагере, не пыльным мешком из-за угла ударенный, чтобы по начальству ходить и жаловаться. Кто же ходит? Не принято. Такого и в мыслях у него нет. Лагерь. И самому десятнику яснее ясного, почему Саша, москвич, не предстал пред его светлыми очами с кляузой на Каштанова.

— Поговорите с Каштановым, — просит Саша.

Вечером, на обратном пути с лесозавода на ОЛП, Саша сам подкатился к десятнику.

— Своевольничает, — сказал амбициозно десятник.

— Мне что делать?

— Лады. А тебе что, кисло в рот? — десятник прохиндейски улыбнулся беззубым ртом старого лагерного волка, обнажив воспаленные алые десна. — Шалтай-болтай, кантуйся. День канту — месяц жизни. Пущай проводит, а другого учетчика ему не светит. Обнаглел хамски. Царек. Обуздаем. Управу и на него сыщем. Допрыгается.

Не замедлясь никакими событиями, мелькнул бесповоротно месяц. Каштанов поманил Сашу, «подь сюда», ослабиллся непомерными лошадиными зубами, и, как если бы никогда не говорил ничего иного, тоном, не допускающим возражений, выдал новый инструктаж:

— Ирен, слышь, валяй: учи его.

Девчонка захлопала ресницами-бабочками, мандражно брызгнула в Сашу растерянно-испуганными, выразительными глазищами, опустила низко-низко головку, затаилась, как мышонок.

— Не умею, — дернулась, буркнула еле слышно и себе под нос придушенным голосом, нервно куснула губу, и по ее придушенному голосу, по этим горестным сиротским плечикам Саша распознал, насколько ей не по вкусу пришлась

новая суровая воля начальника погрузки: затравленный, беспомощный зверек.

— Медведя учат, — еще сильнее, противнее оскалил лошадиные зубы Каштанов. — Тебя учили. И ты учи.

Она вовсе сникла, заскучала, сидела понурая, закручившаяся, обреченная, одинокая, как в воду опущенная.

Саша напропалую растерялся, увидев, что девчурка кончиком платочка старается незаметно вытирать неестественно крупные слезы.

Ну и ну. Она его будет учить уму-разуму, натаскивать, а как только он освоится на новом, придурковом поприще, наловчится, начнет работать самостоятельно, ее спишут, сбегрят куда-нибудь на общие несладкие работы. Как-то все нефильтикультяписто обернулось. Таковы непреходящие, суровые законы лагеря. Никуда не денешься. Сам он толком не знает, как попал сюда, на погрузку. Не сам себя двинул. Не от него зависят неукоснительные приказы ГУЛАГа: закруглен один зон жизни лагерей, начался новый, мужские и женские лагеря разделяются. Новые утеснения. Но ведь и сюда, в Каргопольлаг, он не по доброй воле прибыл, а по прихоти ГУЛАГа: прикатали в столыпине, с конвоем притаранили: «Вологодский конвой шутить не любит!». Под конвоем на лесозавод приводят. Он-то был готов и дальше упираться на шпалорезке, на маятниковой пиле. Все было отлично, не скулил, не ныл, не ловчил, не рыпался. В придурки не лез. Не по воле своей он в учетчики выпрыгнул.

Она безропотно, кротко, наивно стала учить.

Учет пиломатериалов — немудрое, плевое дело. Кубатура «саней» обычно записана на одной из верхних досок. Ее надо переписать на дощечку, затем «сани», которые будут нагружены в вагон, пересчитать. Сложить кубатуру саней. Задача для второго класса. И еж не дал бы промах. Говорили, зимой сложнее. Под снегом, ночью не видать записи кубатуры. Еще вылезла неприятность. Грузчики появляются на погрузочной площадке вместе с учетчиком, сразу начинают грузить продукцию завода (доски), а когда учетчик подойдет к последнему вагону, чтобы переписать «сани», оказывается, что уже несколько «саней» заброшены в вагон. Никто не ждет, покамест учетчик со своей учетною дощечкою поспеет к началу. Суматоха, деловой вихрь: грузчики проворно бегают с досками по трапам, доски так и летят в вагоны. Миг — «сани» заброшены, кубатуру в последних вагонах придется определять на глазок. Важно: не лихо мазать. Ирена теперь уже не дичится его, покорно учит всем премудростям, приемам и обычаям погрузки. Показала, как работать с кубатурником. Делов на рыбью ногу, освоил с ходу.

Не тупой. Она осторожно, робко, тихим голосом натаскивает на главный секрет: где нужна особая снайперская точность, скрупулезность, а где можно на скорую руку, смело, беззастенчиво гнать фуфло. Он поднаторел, насобачился, кое в чем даже превосходит Ирену. Он мог бы с учетом сладить и один, но считает, что было бы «неэтичным», если бы он это открыл Каштанову. Потянет кота за хвост как можно дольше, помуржит максимальное время обучения. Подножку, да такую крепкую — нет, не хотелось бы давать.

Они в конторе одни. Пугливая Ирена отогрелась, разговорилась. О себе рассказывает. «Я вас испугаю!». Ее отец оказался русским, офицером царской армии, полковником. Бурная жизнь. Гражданская война — у Деникина, затем эмиграция, Турция, Франция, Прибалтика, Финляндия, Польша. В Польше он бросает усталый якорь, женится. Ее мать — актриса, в кино снималась. 39-й год, Гитлер напрочь раздраконил Польшу. Отец участвовал в боях против Гитлера, убит.

— Сколько вам лет?

— О, я старая клюшка. Страшно сказать, — говорила она обезоруживающим, нежным, воркующим голосом, говорила доверительно, тихо. — Двадцать пять стукнуло. Признайтесь, вы в лоск разочарованы? Ну, чуть-чуть разочарованы?

Саша был разочарован, даже не чуть-чуть, а очень. Вежливость и застенчивость никогда бы не позволили ему признаться с однозначной прямолинейностью, характерной для него, что он разочарован. Язык не повернулся. Он не умел отшучиваться, изворачиваться, не умел выскользнуть, как налим, Смутился, глупо молчал.

— Вы не умеете врать. Совсем ребенок, — еле слышно вкрадчиво вздохнула Ирена, когда Саша сообщил, что ему будет скоро двадцать один. — У меня было светлое, безоблачное, чудное детство. Как бы я хотела начать жизнь сначала! С самого детства! Я горжусь своим отцом! — кликушески, неожиданно прокричала она. — Слышите? Горжусь. Он герой, совсем особенный, замечательный человек.

Она робким, громким шепотом сообщила ему, как тайну, что во время войны вступила в нелегальную молодежную антифашистскую организацию, готовили восстание против немцев.

— Варшавское восстание. Не слышали?

Восстание запросто раздавлено регулярными немецкими частями. Ирена, как и многие другие, попадает в плен, в немецкий лагерь. А сколько расстреляно! Нет числа! Из немецкого лагеря освободили русские, два дня она работала переводчицей. Арестовали. Уже МГБ. Много статей навешали, но все несерьезно, липа. Абсурдное, «шитое белыми нитка-



ми», нелепое обвинение в измене родине, шпионаже сразу отпало, но ее не освободили, продолжали мурыжить. Сменили статьи, инкриминировали теперь пронемецкие настроения, восхваление немецкой техники. Дело передали на Особое совещание. Особое совещание вернуло дело: «за недостаточностью улик». Слышал ли кто о подобном? Может, единственный случай в истории, когда Особое совещание считает, что для срока недостаточно улик! Чудо! Все, особенно юридически сильные, сведущие, подкованные умы, толмачи, ведуньи, прорицатели пророчили уверенно, что она идет на свободу. А как же? Особое совещание — святая святых, высшая, последняя инстанция, сердце МГБ. Ирена учила адреса сокамерниц, чтобы навестить их родных, близких. На волю ее не выпустили, подержали, без дополнительных юридических финтифлюшек и волокиты дело было передано в обычный городской суд во Львове, куда еще до большой войны после гибели отца они с матерью и старшей сестрой перебрались, короткое время жили, числились советскими подданными. Судья сметливым, зорким, сурово-равнодушным, незаинтересованным глазом не моргнул, впаял ей пять лет по 58-10. Оно, пожалуй, по здравому размышлению, так и должно быть. Ларчик просто открывался. Судья не в безвоздушном пространстве и эмпириях витает. Что может себе позволить Особое совещание, то не может судья, простой советский человек, такой же смертный, как и все мы.

— На комендатском мне быстро вправили мозги. Объяснили, что у меня детский срок. Раньше сядешь — раньше выйдешь. Закругляю, — угнетенно, виновато улыбнулась она, как бы извиняясь за то, что кончает срок; опустила глаза, прикрыла их огромными, чудесными ресницами.

— Я на старте, — отозвался Саша. — Десять лет.

— Десять лет? Не может быть. Вы верите, у меня не было пронемецких настроений?

Саша пылко, искренне сказал, что верит.

— Я ненавижу Гитлера, — нервно выкрикнула Ирена. — Он убил моего отца. Он искалечил, исковеркал мою жизнь. Почему следователь мне не верил? Я — участница Варшавского восстания! Ничего не понимаю. Ералаш.

Неожиданно, по-женски, без всякого перехода, повода, видимой логики, как одержимая:

— Я пленница!

Зашлась в горьких слезах.

□ □ □

Погрузка завершена. Грузчики стабунились в курилке, картинно развалились, расслабили мышцы, мускулы, прикорнули.

Сонные, ленивые позы. Кто-то смачно храпел. Законный перекур с дремотой. Ждут конвоя. Саша вступил в курилку, безмятежно сунул спецификации Каштанову. Привычно Каштанов подмахивал, не удосуживаясь глянуть, доверял учетчикам. В этот раз:

— Притормозись на пару ласковых. Доложи обстановку.

Наладился просматривать бумагу, глаз мымристо щурит. И так-то начальник погрузки имел отталкивающую, звероподобную внешность, а тут делается мрачнее страхолудной тучи. Дело в том, что Саша своею властью загрузил пиломатериалы, которые хотя и подходили для погрузки (по заказу), но вот уже несколько дней по непонятной халатности «забывались», придерживались на погрузочной площадке. Ирена мягко советовала: «Повременим». Он не перечил, уступал. Но нынче она выходная, осталась в зоне. «Совсем не худо бы с грузчиками успеть», — спешил Саша. Он самостоятельно работает давно, уверен, знает дело. Пусть скажет, в чем опростоволосился, обмишулился, где пенка? Да, где пенка?

— Надьсь сорокопятку трогал? — рык льва, аж оторопь берет. У другого бы поджилки затряслись но не у Саши.

— Привет, чего ее не грузить? — не повел бровью Саша.

— Так дело у нас с тобой не пойдет.

— А в чем дело?

— Ты что, контуженный?

— А в чем дело?

— Умничаешь? Портило, а не учетчик. Колун тупой, — Каштанов лязгнул кошмарными зубищами, плюнул. — Смотри, интеллипупия. Мне не нужен такой учетчик!

Прибавил трезвящий образ: этот самый, как его, в мозгах у Краснова полоскать намерен.

— Говнюк! Что пустые бельма пялишь?

— Сам говнюк. Шакал. Рвотный порошок. Рваная сволочь!

И мой Саша заиграл желваками, вычурно плюнул в сторону Каштанова. Кто-то из грузчиков художественно свистнул, кто-то противно засмеялся, кто-то лениво, скучно, пакостно пустил:

— Что, рук у вас нет?

Каштанов нравен, строгонек, с ним шутки плохи. Угодать и брыкаться зря словами не имеет привычки: бывший военнослужащий, взводом командовал, в атаку гавриков поднимал, сидит за воинские преступления, за разгул на оккупированной территории. Руки у Каштанова так и чешутся. Короткая распеканция, и уже метелит истово грузчика. У него в руке ферула с метрическими делениями, не растает с нею. Символ власти. Палка стремительно и со свистом описала

порядочный круг — сломалась на руке Саши. Пронзительная боль резанула, хотя телогрейка порядочно смягчила, амортизировала удар. Саша бросился на Каштанова, обеими руками, что было мочи, ухватил его за воротник куртки. Не сдвинул. Здоров же буйвол! Саша харкнул в тупую, наглую, лошадиную, свирепую морду Каштанова. И еще раз плюнул. Опять тот же грузчик гаденько засмеялся, пустил: «Дело пахнет керосином!» Каштанов энергично, спокойно, неумолимо, как хирург качающийся зуб, оторвал от себя Сашу, поднял устрашающим движением, мощно швырнул; Саша навзничь грохнулся к стене курилки, звезданулся о скамейку, что шла вдоль стены. Пучками полетели искры из глаз, почувствовал боль в голове, тяжелую, гнетущую, не ту, что после первого удара палкой. Но боль ощутил на секунду-другую. Новое, неистовое, давно незнакомое чувство завладело им, сняло, как руку гипнотизера, боль, прямо выдернуло ее. Неведомая сила подхватила его, подняла стремительно на ноги, руки словно выросли, налились силою, в правой руке сам собою очутился топор — схвачен поперек топорщица. Саша надвигается на Каштанова, воззрился в него, неотрывно, остро, бдительно следит за каждым движением. Глаза их влились друг в друга, жгли. Не жить одному из них. Курилка затихла. Время замедлило равномерно-монотонный, ньютоновский бег, сменило свою природу, стало бергсоновским. Саша вскинул топор, ощутил, что рука его стала пружинистой, еще удлинилась. Он делает дерзкий шаг. Каштанов метнул табуретку, злобно польхнув разинутым глазом — в голову Саши ладил. Саша импульсивно шатнулся, подался проворно вбок, молниеносно подставив топор. Табуретка срикошетила, как эластичный резиновый мячик, но, видать, все же голову шаркнула, выше левой брови. Боли вообще не было. Кожу срезала. Мозг Саши фиксировал: Каштанов норовит к двери, юркнул, исчез, а там, у входа в курилку, у крыльца — топоры. Суворов: «Глазомер, быстрота, натиск». Упредить, осадить, не дать цапнуть топор. Саша рванул за противником. Шваль, гнутся шведы. Голиаф не помышлял о топоре. Прытко, без оглядки мчался наутек к вахте. Москва — Воронеж, хрен догонишь. Саша во весь бег, неминуемый, как сама смерть, шел за ним, взмыленный, как скаковая лошадь на ипподроме. Глаза ему заливала кровь. Как дикое, преследуемое животное, Каштанов лопатками спины выхватил, почувствовал ту единственную секунду, дарующую спасение, выдал верткий, лукавый вольт; Саша, как быстроногий, дурной гепард, промазал, несообразно пролетел мимо, вперед. Остановился, враз опамятовался, волею обуздал, задушил раздрызганную неотоленную злобу: остыть, уняться, пусть угомонятся нервы.

Дотронулся до головы, смотрит на руку: кровь, все волосы в крови, липкие, слипаются. Теперь и руки в крови. Весь в крови. Ощутил тупую, саднящую, то накатывающуюся, то затихающую боль.

— У философа срока навалом, край непочатый, — назидательно, степенно объясняет один из грузчиков.— А у Ивана — жук чихнул, пшик, скоро последний год разменяет, бесконвойник.

«Наша взяла», уныло, безрадостно думал Саша, вспомнилось (где-то читал), что Суворову просто везло. Вот так каждый раз везло.

Бывает: дух побеждает грубую физическую силу. Храбрый, как самурай, Померанц одной левой сборол Шилкопляса, грозу карантина. Сам видел. Своими глазами. Так-то.

Каштанов раздул на вахте хипеж, привел в курилку начальника конвоя, надзирателя. Указал на Сашу, а сам завыл, как тюлень, на ОЛПе должно быть слышно. Сашу повели на ОЛП. Дорогою думал: «Влип». Но его на ОЛПе ждал не изолятор, как обычно положено за такие подвиги: его доставили прямехонько в санчасть.

— Каштанов разукрасил, — сказал надзиратель.

Мог бы в БУР попасть. Никто не внял тому, что Каштанов клепал на фашиста; не услышали даже, что Саша с топором гнался за начальником погрузки, чуть не порешил его. Каштанова хорошо знали, надоело разбирать его художества. То и дело кулаки тяжелые распускает. С другой стороны, план есть план. За простой вагонов Каштанов отвечает. Назначили начальником погрузки Каштанова — нет простоя вагонов. А с новичков надо спесь сбивать. Это как на фронте. Начальник должен себя поставить. Каштанов — с 24-го года, фронтовик, окопник, прошел от Сталинграда до Берлина, вырос от рядового до Ваньки — взводного. Медали, два боевых ордена: орден Красного Знамени, звездочка. «Где вы, ребята с двадцатого, мальчишки с двадцать четвертого?» А Каштанов даже не был ни разу ранен, везло. В Германии развернулась и расцвела яркая, богатая натура Каштанова. Погулял, покуролесил. Есть что вспомнить. Скольких изнасиловал — со счета сбился. Изнасиловал, припорет. Надежнее. Концы в воду. На войне, как на войне. Хорошо было, все подросшие немочки-девочки твои, любую бери. Рассказывал — отработанный рассказ. Бравада, самоуверенность.

В дверях:

— Негодяй!

Мать, наверно. А он на девочке. Схватил автомат, вскочил на ноги — штаны съехали. Выпустил обойму. Так и села,

паскудина. Из белых, видать. Сволочь! Полез на девчонку, кончил. Ушел. Каштанов считает, что сидит ни за что. Так оно и есть. Незначительное воинское преступление, дали пять лет. За ерунду. Чего только не вытворял, а погорел на мелочи.

Саше в санчасти промыли, перевязали голову. Осчастливили: освобождение от работ, производственная травма. Две недели преспокойно куковал, искал утешения в головоломках Гегеля, которыми был зачарован. Повалялся две недели в бараке — неплохо.

Повезло Саше, сильно. С начальством не следует спорить («накладно» сказал бы Пушкин), Магалиф взбрыкнул, стыкнулся с мастером цеха: и был избит, и полетел с комендантского на лесоповал.

На погрузке Саша появился с внушительной нахлобучкой из бинтов.

Ирена по-быстрому утерла чистеньким, крошечным, вышитым у одного из уголков, батистовым платочком (остаток долагерной роскоши, еще с воли!) сбежавшую крупную слезу, застенчиво, радостно сделала заговорщицкую улыбку:

— О, как я о вас сильно тревожилась. Не связывайтесь с ним, ради Бога. Вы его не знаете — зверь, остерегайтесь!

Саша преспокойненько явился к Каштанову. И Каштанов держал себя с Сашей, как ни в чем не бывало. «Надо с ним быть начеку», — решил Саша, подозревая скрытые, реваншистские, коварные поползновения Каштанова. Перемирие. Видеть морду Каштанова, оскал лошадиных зубищ — противно.



Из-за леса, из-за гор вышел дедушка Егор. На сизом, белесом, тусклом небе старалось сглазное, уже незаконное, не солидное, неверное, старчески бессильное, неторопливое, сугубо ласковое солнышко. Выдалась безветренная, просторная, немилосердно сквозная осень. Погожий, редкостный денек, каргопольская, немая, мирная, призрачная лепота, как на заказ. Поди, о таком состоянии мира поэт выискивал в тайных закромах кинжально-вдохновенные слова:

Есть в осени первоначальной...

Ущерб, изнеможенье, и над всем —

Та кроткая улыбка увяданья,

Что в существе разумном мы зовем,

Божественной стыдливостью страданья.

Он специально облюбовал удобный комелек бревна, долго усаживался на нем, наконец притулился, примостился. Ти-

хо, как на цыпочках, подкралась тоска, накатила, заграбастала, необычно настырничает. Вот-вот Ирена выйдет вольняшкою из ворот комендантского ОЛПа. Они-то думали, что еще месяц. Месяц — вечность. Ее вчера вызвали в нашенскую спецчасть, объявили, чтобы сматывала удочки. Четыре денька, кот заплакал и — ту-ту! Сказали, что зачеты. Сказали: «Пляши, девка!» О зачетах как-то все умудрились намертво забыть. Когда-то были зачеты, сейчас нет. Срока у всех астрономические. Давно с комендантского никто не освобождался, даже те, кто по указу сидят, не говоря уже о злосчастной, черной 58-й. Первое освобождение с тех пор, как Саша в лагере. Сегодня на разводе она сказала Саше. И Саша нос повесил. Четыре денька и — покедова! Четыре — число мистическое. Все к одному. Ирена старше его на четыре года. Женни, жена Маркса, старше Маркса, почитай, на четыре года. Четыре времени года: лето, осень, зима, весна. У Магомета четыре жены. У Эмпедокла четыре первостихии: вода, земля, воздух, огонь. У Гиппократы и Галена — четыре основных жидкости живого организма: кровь, слизь, желтая желчь, черная желчь. Четыре психологических типа: флегматик, сангвиник, холерик, меланхолик. В Имени четыре символа: ИНЦИ. Четыре евангелиста, четыре евангелия. Четыре апокалипсических зверя. Четыре мировых монархии. В колоде четыре масти. А еще пифагорейская четверка, знаменитая. А еще четверка в каббале. Четыре протосюжета мировой литературы; четыре протозлемента первоязыка Марра. Четыре части в поэме «Облако в штанах»: долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию. Почудились ее шаги, озырнулся, шукнул глазами. Куда провалилась? Опять этот ханурик. Хлюпик. Вчера его нещадно метелил Каштанов. Сволочь. Бедные немки, что они претерпели! Погибнет, обречен: кривоплечий, затюканный, смурной малый, без возраста, без лица, без роста, похож на всех и ни на кого. Не запомнишь.

Невзрачный, задрипанный малый бочком проковылял мимо Саши, наладился к топорам, что поодаль крыльца конторы — много топоров всякое время, как идет погрузка, здесь валяется, брошено. Цап топор, бросил, другой схватил. Саша все это видит очень отчетливо, бесспорно, каждую деталь видит, но не понимает. Малый кладет свою левую руку на вершину бревна, на комельке которого поодаль пригорюнился, сидит Саша. Легко сказать, написать еще легче — да и Саша не новичок в лагере, видел виды, сам Шалимову бросал на руку бревно; у Саши глаза на лоб скаканули — спекся. Малый посуровел, с усилием приподнял топор, сосредоточился, зажмурил глаза, еще больше скосбочился, отвернул-

ся — тюк! Себе по пальцам. Не бывает, не должно! Глухой, отвратительный звук — «хруск», слабо слышный, но явственный. Мигом явилась, хлестанула как из крана восхитительно яркая кровь. Парень остолбенел, замешкался, распространил вокруг себя поле паники. Ошалело деранул к вахте, прямым, как когда-то бежал Шалимов (шпалорезка и погрузка рядом), как совсем недавно на всех парусах от Саши улетывал мощный Каштанов.

Тюк, значит; «хруск», значит. И это бархатное, неестественно мягкое, обольстительное, евнушистое, негреющее солнышко, безоблачная блеклость, безмятежная чистота, ясность во всей природе, раздолье для чистого зрения и созерцания. Тютчев сказал, что «нет согласия в стройном хоре, душа не то поет, что море». «Хруск» и — все. И боле ничего. Канареечка жалобно поет. На осенней, жухлой траве окровавленные пальцы, обрубки; их — два. Кровь теряла преувеличенно яркий, мистический цвет, жухнет на глазах, вот она уже цвета темной губной помады, вот она уже совсем не страшная, запеклась. Пальцы упрямо живописно кровоточат, хотя и не дюже сильно. Они как бы продолжают жить. Особенно тот, что попал в лужу. Не сразу заметил. Еще один обрубок, указательный, видать, на бревне так и остался, влип, запечатлен, как память, непонятно чем и как держится, дурачком. Саша ощутил физическую боль, как если бы это был его палец, тот, что на бревне. Закрыв лицо руками. А ведь он не раз видел зэков-саморубов, еще больше слышал разговоров об этом деле. Лажовников-саморубов в лагере презирали, как хануриков, как последнюю шваль и букашек. В брюхе забулькало; гудела, бушевала Великая Французская революция, подступало к горлу приступом, удушливо вывернуло все нутро наизнанку ячневой кашей, которой вот уже полгода передовое лагерное начальство глушило наш славный ОЛП.

Налетело воробье, пернатое царство, подкралось, клюет блевотину.

Отсел подальше, чтобы не видеть.

— Моя мордочка, что с нами?

Он забыл о ней, потому не заметил, как с улыбкой проказника-подростка, незаметная, неслышная, как тень, выпорхнула из дверей конторы Ирена, неслышно подбежала к нему сзади, поверх его рук наложила свои: «Ку-ку». Он отстранил ее руки, грубо; отчаянным глазом ткнул в натюрморт. Опять закрыл лицо, почувствовал, что тянет, подступает к горлу удушливая, мерзкая, кислоющая тошнота. «Больше нечем!»

— Ах, как ты меня перепугал! — закудаhtала она, робко, торопливо взяла его руки, принялась изучать их, перебиpала пальцы, щупала их, хотя понимала, пальцы на руках Саша целы. — Что это, Сашуля? Час от часу не легче!

Не доверяя дозору глаз, она перещупала, пересчитала пальцы на обеих руках, еще раз сочла в обратном порядке, как считают колонки цифр у нас в конторе наши горе-бухгалтеры. Вроде все до единого. Легко успокоилась, шепнула на ухо Саше:

— Сегодня у свинули такие глазки интересные, совсем больные глазки, да?

Она потянула его за карман телогрейки.

— Кыш, — первопопавшееся; его лицо постепенно принимает непреклонное, отсутствующее выражение. Глаза — безумны, вращаются, блестят.

— Совсем нисколечки меня не кнокаешь. Не любишь! — с укоризной, будто бы обидевшись; целящими, нежными, тонкими пальцами гладит неровно стриженную машинкою, щетинистую голову, гладит лицо; плутовато, прелестно, тихо улыбается. Он глядит на нее, как сомнамбула. Обалделый, стеклянный, невидящий взгляд. Он смотрит на Ирену, а не на обручки-пальцы, но перед его взором они, кровоточат, неодолимо ужасные, тошнотные. Они дерут, леденят душу. Как плохо мы себя знаем. Совсем не знаем. Мы даже не знаем, что не знаем себя. Греки на зря учили: познай самого себя. Это, сказывают, записано на храме Аполлона в Дельфах. Этому учит экзистенциализм — якобы. Кровоточащие обручки-пальцы, один, что припилен к бревну, другой в луже, кровоточит, живет, навалились высшей, абсолютной реальностью на несчастного философа, душат, сдавили.

Философ, воин, рыцарь истины, вития долго, тупо, как жвачное, шевелит желваками; срывающимся, шибко скрипучим, неузнаваемым голосом разрешается от бремени:

— Нет, нет!

— Махонький, хрюша, посмотри на меня, — она дергает его. Она пытается вернуть его из скучного, опасного, глубокого приступа, вернуть на землю, наладить. Напрасный труд. — Какая тебя муха укусила? До чего ж ты глуп! Фу, злюка! Горе мне!

Она стихла, подчинилась, смотрела на него преданными собачьими глазами.

Он поднялся. Глаза его, как у полоумного, всерьез из орбит норовят выпрыгнуть, покатиться, он шевелит желваками, шевелит бескровными губами. Язык присох к гортани, но он все же срывающимся, непослушным, судорожным голосом вытолкнул со всего духа и враз страшное, новое слово.



## ПОСТСКРИПТУМ

Я горячо верю, что читатель сумеет вообразить, каково было мое душевное смущение, растерянность, смятение, колыхание, когда я услышал из уст моего необыкновенного друга, отменного, упрямого, бескомпромиссно-невылазного апостола, неожиданные, новые, беспрецедентные, глушительные, разительные, свирепые, самозабвенные, всесокрушительные, жутковатые, ни в какие ворота не лезущие, посягающие на святая святых речи:

— Проснись! Очнись! Очнись, куриная слепота! Я — контра! Пепел Клааса стучит в мое сердце. Если за несколько жалких дней, за неделю канта он, человек, уродует себя, уродует, чтобы уйти от смерти: рубит пальцы рук. Не хочу! Хватит, слишком. Не надо. Против, контра, и — баста! И никаких разговоров! Я против этой злокачественной, как рак, лживой, двуличной, отвратительной развратной, растлевающей, чумовой системы! Она наступает! Она всё, всех пожирает. Я был слеп, одурманен. Обмишулился, принял шаманский, колдовской, соблазнительный призрак за реальность.

Очень мудреные, странные речи.

Что я слышу? Откуда это все? Голова идет кругом. Жора, поддержи мой макинтош. Мозги набекрень. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Оглушен какофонией речей. Ошарашен, обескуражен, астения в коленках. Стою под северным, архангельским небом, смотрю на Краснова, на бараки, на колючую проволоку, раззявил изумленную варежку. Свет в глазах померк. Высыпал холодный пот на лбу и испарина. Уши бы мои такого не слушали!

Что он узнал нового, чего до этого не знал? Сам же Савичу бросил шпалу на руку. И — ничего.

Почему?

Тут запятая, большая загогулина, точка с запятой.

Тут ситуация, обстоятельства, не все ясно.

Вопреки мнению отдельных, хорошо вышколенных, сметливых, быстрых на умозаключения умников, воздержимся до поры до времени называть их имена, я чохом и с порога отринул нелепую версию, что Краснов выкарабкался из плензатвора постепенно, исподволь, что иное мировоззрение возникло подспудно, но оно долго не проявлялось. Нельзя пройти и не заметить суровых, неизбывных лагерных реалий, очевидностей. Нет и нет. Здесь уместно еще раз решительно, громко заявить, что Краснов был и остается истинным философом, интеллектуалом: никакой лагерь-разлагерь не мог сдвинуть с места, изменить воззрения. Если бы речь

шла не о Краснове, а обо мне, тогда другой коленкор. Охотно, откровенно, без всякого стыда сознаюсь, что даже не заметил, почему, как и когда в моем воображении чудесный образ Сталина померк, распался, перестал быть иконой, святыней, трансформировался в банального Бармалея. У меня вообще никакого мировоззрения, взглядов нет. Так, винегрет, окрошка, что-то болтается в урыльнике, цветок в проруби, а что — сам не пойму и не хочу понимать. Никакой внезапности, никаких скачков, начинка меняется, а почему, как — неинтересно. Не моя сфера интересов. Читатель, чай, помнит, как я выпрыгнул из воронка с рюкзаком в руках — все, бобик сдох, второе рождение, не второе, а поди, четвертое; уже другой человек, как после огненного катарсиса; небо снизошло в мою душу. Но все эти перемены, вся эта новорожденность относится к сфере чувств, к мироощущению, а не к разуму. Да, к этому времени я изжил, избег, преодолел в себе мятежного Гамлета, выбрал себе иную душу, а с нею и иную судьбу. Есть поверие, на него ссылается Платон, что Одиссей, памятуя о своих злоключениях и мытарствах, о бесконечных бедствиях в подлунном, погрязшем в грехе мире, подбирая себе душу для вторичного рождения, предпочел, выбрал душу самого обыкновенного, заурядного, ничем не замечательного человека. Эту версию Платона развивает и муссирует Джойс в «Улиссе». Его Блум, как считают многие литературоведы, тот человек, кем по Платону стал Одиссей при вторичном рождении, в следующей жизни. Хочется, чтобы читатель вспомнил мой рассказ про то, как я очутился в шкафу, подслушал разговор взрослых, не поняв толком, что к чему, очутился в фантастическом, ужасном, кошмарном мире; моя матушка невзначай влила яд в преддверие детских, глупых, громадных, оттопыренных, музыкальных ушей, и я сорвался в мрачный миф, хорошо объясняющий почему меня чуть не засек до смерти разбушевавшийся, гонористый отец. Вообще-то мой миф был не хуже любого другого, не хуже того, который был результатом высшего творения человеческого гения, в котором охотно жила подавляющая часть взрослого, разумного, трезво-рассудочного населения, обитающего на территории нашей великой, бескрайней, распластанной на два материка страны. Итак, я сорвался и угодил в когти злых, докучливых, неотвязчивых, мрачных демонов, изуродовавших безжалостно детскую психику, создавших мне безотцовство и вымышленный идеал, в который я страстно влюбился: сияющий призрак Маяковского, которого я почитал родным отцом, кровным, прекрасным, в котором видел гиганта и бога. Этот пленительный призрак, науськивающе путеводный, как наваждение, как дух убиенного датского ко-

роля Гамлета, сосал, как вампир, мое сердце, отчуждал, отлучал от семьи, от отца, от матери. Я, словом, спятил, хотя внешне оставался нормальным, уравновешенным юношей. Читатель, надеюсь, хорошо помнит, как моя безумная страсть к поэту естественно, силою вещей (да и не могло быть иначе!) перекинулась на Сталина, которого мои восхищенные, щедрые глаза увидели на мавзолее 7 ноября 1947 года. Всякая большая любовь — это умопомешательство. Со стороны она видится бзиком, фантазией, болезнью, колдовством. Бранцио, отец Дездемоны не без основания полагает, что Отелло околдовал его дочь: «Что лишь искусством адским он достиг того, что совершилось». Вот я выскочил из воронка вслед за Красновым — опростался от призрака. Душе настало пробужденье. Воссияла простая истина. Пришла запоздалая разгадка ребуса, не «Гамлета» Шекспира, ибо он бесконечен (правы все, кого волнует, мучит эта трагедия!), а скажем аккуратнее, моего, вымышленного. Хотелось кричать, срывать голос: не верьте призракам, обольщениям! Гоните в шею их! Бесы рядом, у дверей, ловят нас. Люди, будьте бдительны! Шекспироведы справедливо считают, что «Гамлет» — самая интимная трагедия Шекспира, что ее намеки, аллегории приоткрывают дверь к тайнам души великого драматурга. Гамлет — это как бы сам Шекспир, это Шекспир по мощи интеллекта. Оговоримся, что сомнительным нам кажется утверждение, что только Гамлет мог написать все драмы, которые написал Шекспир. Интригу Гамлет плетет вяло, через пень-колоду, с грехом пополам. Не сравнишь его с гениальным Яго, истинным драматургом, драматургом божьей милостью, для которого интрига — это игра, фейерверк, искусство для искусства. Если, читатель, вас завлекут призраки, если Яго и его козни окутают, опутинят ваше сердце, овладеют им — пишите пропало! Вы утратите все, радость жизни, трон, прекрасный замок Эльсинор, жизнь. Все в конце концов достанется наглому, хищному проходимцу Фортинбрасу. Один современный поэт предупреждает: «Опять победа Фортинбраса!». А чем лучше судьба рехнувшейся женщины, бегущей на свидание с призраком два раза в году, на 1 мая и на 7 ноября, раздавленной во время ходьбы на похоронах великого вождя. Я уже говорил, что ее горький жребий — мой удел, не замети меня гзбэшники. И я бы рвался на последнее свидание! А что касается отношений моей матери и Маяковского, то надеюсь, что читатель не был шокирован, обескуражен, введен в заблуждение, что у бездетного поэта нашелся сынок. Вывалившись из воронка, я понял, что никакой я не сын Маяковского, что это бред. Мать рассказывала Нинке об отношениях с поэтом. Всего и

делов-то было, что самый талантливый поэт нашей эпохи разок чмокнул в щечку мою хорошенькую матушку, «тоненькую и длинноногую дуру» (Асеев), получил по фотокарточке, разом утратил весь пыл, гусарство, храбрость, вел себя прямо, как Дантес на квартире Полетики, когда к нему случаем залетела Наталья Николаевна Пушкина: вытащил откуда-то пистолет, приставил к виску. «Дурак!» — крикнула моя матушка. Маяковский опустил руку с пистолетом, подошел к зеркалу, увидел себя, заплакал. Моя мать была крепко удивлена, что эта сцена повторилась с другой женщиной, что Маяковский все же выстрелил. Мог ли выстрелить Дантес? У Толстого Вронский выстрелил. Как это ни парадоксально, но к Маяковскому я сохранил до сих пор восторженную привязанность и чем больше узнаю о нем гадостей, тем сильнее люблю его. А любовь, как известно, зла (козла), ей «нет закона», см. о любви также XIII главу «Первого послания апостола Павла к коринфянам». Я широко использую приемы и метафоры, которые нашел у Маяковского. Читатель мог заметить, что мое сравнение хрипа и рычания динамика с пением Высоцкого вычурно, чрезмерно, но это дань и поклон Маяковскому: «Терек шумит, как Есенин в участке...». Если я могу точно датировать, когда закончилась моя угарная страсть к великому Сталину, то ответить на вопрос, когда я вообще преодолел то, что позже стало именоваться культом личности, тяжко. Вот пошукал по сусекам и извилинам мозга, выцветилась, выудилась такая сцена. Я и Краснов лежим на нарах в 23-м бараке, на верхотуре гнездимся. Я наблюдаю за несусветной армадой клопов, что хаотично движется по потолку. Сколько же их! Чертова гибель! Эти гнусные твари имеют разум, и препорядочный! Визави с нашими нарами усовершенствованные нары, нары с выдумкой, с изобретением. Вот что смекали народные умельца, наша слава, те, что и блоху подкуют. Как бы толковее, понятнее объяснить сложную конструкцию. Это — остров: нары на штырях стоят, а каждый из штырей умно, хитро помещен в консервную банку с водой. За такие нары не жаль и Сталинскую премию. Но еще Шмайн доказал чисто математически, что на всякую хитрую лямбду эpsilon с винтом найдется. Со всех сторон к некоторой точке потолка движется войско клопов, а там, с этой точки клопы пикируют на заколдованные, научные нары гениальных умельцев. Дождь из клопов! Канальи! Откуда прыткость, сообразительность? А какой точный расчет. Без промаха асы сигают. Восхищенными глазами слежу за мазуриками, умницами. Тю-тю. (Метерлинк признавал разум у насекомых! И Бергсон. Впрочем, для Бергсона это скорее минус, изъян. Разум, рассудок — око-

стение, это то, что противостоит интуиции, творческой эволюции). Может, не все разделяют мой восторг перед клопами? Может, кто-то осудит мое бездумное времяпрепровождение? Плевать. Если хотите знать, то сам Сократ, если верить Аристофану, восхищался блохами, усердно измерял прыжок блохи. А в 23-м бараке мы обитали до того, как нас, заразную, тлетворную нечисть, скверну, фашистов, энергично перегнали поганой метлой в 22-й барак, до первого великого переселения народов, серьезного, надрывного. Отдельный барак для фашистов, отдельный ОЛП, отдельный лагерь (действительно, вскоре 58-ю стали вывозить в особые лагерь!) — все это полумеры, паллиатив. Один разумный выход — уничтожить! Но еще общий барак, 23-й. Лежу с Сашей рядом, на верхних нарах. Радио отключено. Слава Богу. До чего же надоело! В 23-м бараке все зэки перепутаны, и бытовки, и 58-я, и указники. Все статьи кодекса. Все равны. Каждой твари по паре, как в Ковчеге, как у Босха на картине, изображающий «Рай». Радио включилось. Траурная музыка, марши. Сердце екнуло, забилось, забарабанило. Лежу, настороженно слушаю холерическим, вырвавшимся из-под контроля, предательским зэчим сердцем несравненную 6-ю симфонию Чайковского. А что, если? Надежда живет собственной жизнью, как образ в художественном произведении, не подчиняется воле, разуму. Возьми и легковесно спроси Краснова, а правда ли, что у Сталина на одной ноге шесть пальцев? Задал легкомысленный вопрос, а в это время радио подвалило сообщение о смерти Жданова! Да я ничего не имел в виду, не было никаких зыбких, пронзительных надежд, не было безумных перспектив! Ничего я не хотел — убей меня Бог!

— Идиотский вопрос! — с откровенной гадливостью и без всякой снисходительности разряжается и ухает Краснов. — Какое это имеет значение?

Ляпсус. Умом-то и разумом-то я отлично понимаю, это никакого. Тем не менее мне хотелось задержаться, почесать язычок на эту тему. Еще очень жаждалось знать, правда ли, что у великого кормчего, творца генеральной линии, рябое лицо? (В дореволюционном сухом бюрократическом подлиннике сказано: «Рожа рябая, на одной ноге шесть пальцев». Это — особые приметы жандармского сыска.) Правда ли, что курит он исключительно «Золотое руно»? После категорично-брезгливой, энергичной реплики я не решаюсь легковесничать. Полагаю, что в моих мозгах была основательная сумятица, трали-вали, сумрак, смущение. Уже не было былого бурлящего, бьющего через край восторга. Когда вытек, испарился, усох — не припомню. Подспудность вызревания —

мое врожденное, природное качество. Мое, а не Краснова. У меня в котелке одна бренная извилина, отнюдь не протуберанец, два катаются шарика. Они так как-то крутятся, вертятся, позволяют мне не проносить ложку мимо рта, отличать день от ночи (впрочем, я прибежняюсь: на свет реагирует и дождевой червь!) Я не привык докапываться до философской сути, до корней, сводить концы с концами. На этот счет я никогда не обмишуливаюсь, не заблуждаюсь. Знаю, тонка моя философская кишка. Проживу как-нибудь и без вашей толстой кишки.

У Краснова все иначе, не как у меня. Я далек от мысли, что понимаю его полностью. Если мы в себе-то как следует не разберемся, что мы можем о других сказать? Что-то можем. Режьте меня, кромсайте тесаком на жалкие, мелкие кусочки, крошите, устраивайте зверскую, бесчеловечную расчлененку моему выхолонному телу, но оппортунистическую версию, что Утопия размылась в мозгах моего друга постепенно, подспудно, не приму. Тут, как у Савла, взрыв, катаклизм, вулкан. Знаю, что как раз накануне того эмоционального взрыва, вызванного, скажем, видом живой крови, пальцев-обрубков, запахом, тошнотворным запахом крови, смешанным с ароматом гниющей древесины, хвои, под чьим напором, я настаиваю, разом во все стороны разлетелись, как от фугаски, всепожирающие абстракции, Краснов заглянул в мой барак, призвал проветриться, прошвырнулся по ОЛПу «на сон грядущий». Я накинул только что выданную, новенькую телогрейку, и мы вытряхнулись: нырнули в нахлобучившуюся на Каргополья ночь. Темень шурует непроглядная, обволакивающая, продырявливающая душу; хоть убей — ни зги не видно, глаз выколи. Это — первое впечатление. Замечаю, что справа, в черной мути, прожектора на вышках режут желтым, невыносимо мертвенным светом влажную, густую враждебную темноту, да гирлянды лохматых, разбухших лун по сто свечей каждая рвут мертвенной радугой пространство, где начинается запретная зона. Безнадега, туга, сиротство, бесприютность. Не верится, что где-то на планете иная жизнь, счастливая, где-то кипящая, сверкающая огнями Москва, счастливые влюбленные парочки, музыка, консерватория, Рихтер. Нет Москвы, нет Рихтера, нет влюбленных пар, танцев, музыки, а везде один лагерь, сплошной, вечный лагерь и его тысячелетнее царство. Хочу назад, в вонючий барак, к людям. К братьям эзкам! Мы с Тamarой ходим парой, как одержимые кренделим по ОЛПу; Краснов в ударе, абстрагировался, вдохновенно заратустрит:

— Лебедь мой, хочу привлечь твое внимание к одному непостижимо глубокому месту в «Утопии». Оно свидетель-

стует о подлинном знании человеческого сердца. Я порою излагаю эскизно, пунктирно. Рассчитываю на понимание, на творческое восприятие. Я говорил и не перестану повторять, что по своей природе человек лжив, подл, неприемлемо опасен, что ему нужна узда, железная узда, нужна несвобода, браслеты, смирительная рубашка, тюрьма, лагерь. Душа человека на крыльях рвется к высшей справедливости: к равенству. Тоскует, стонет, мучается под тяжким бременем свободы, гибельной свободы и неравенства: люди по природе не равны. Есть, к примеру, дефективные, олигофрены, импотенты. Есть рыжие. Есть карлики, пигмеи. А жажда справедливости, равенства, правды в человеке всепоглощающая и ненасытна! Страшная антиномия! Томас Мор и все великие учителя человечества, Маркс, Энгельс знали это, принимали в расчет, нашли единственный выход. Справедливость, всем сестрам по серьгам, меры равенства должны быть привнесены в общество не на либерально-гуманной основе, а насильственно, опираясь на цветущую мощь государства. Простая, ясная, солнечная истина! Давно, ой как давно пора защитить и спасти человека от него самого, насильственно обуздать, укротить, стереть его подлое, гнусное, ядовитое «эго», разрушить индивидуальность, личность, самость, махровое «я». Все, кто глубоко задумывался о природе человека, приходили к этой идее. Платон величал человека «божественной куклой», а вот кто-то назвал Зойку «чертовой куклой» — так надо назвать человека, тебя, меня, любого, Бетховена, Ньютона, Эйнштейна. Себя я не исключаю. Да, я утверждаю, что человек — это чертова кукла, принял на вооружение, и эту куклу надо нудить в лагере и ни на секунду не сводить с нее автомата. В чьих руках автомат — особый вопрос. Важный, не спорю. Вопрос вопросов, который должны мы решить, теоретики марксизма. Не люблю Достоевского, но он разительно прав. Сказал: «Смирись, гордый человек». И Ницше, куда денешься, был прав, когда говорил, что человек — это «стыд и позор», что он должен быть изжит, преодолен. И Фрейд с его «подсознательным» прав. Шекспир заявил в Гамлете, что люди «отменные мерзавцы». Он же: «Если бы каждого из нас принимали по заслугам, то никому не избежать розог». Отлично сказано. Мысль самого Шекспира, выстраданная, выношенная. А возьми молитвы христианских святых — вот уж кто знал сердце человека. Христианство призывает отвернуться от ветхого человека, человека-подлеца, зовет к новой земле и новому небу. О новых людях трубят чуткая к правде русская литература. И вся тревожная поэзия. Маяковский, Гумилев — «шестое чувство». Пастернак: «Телегою проекта нас переехал новый человек». Все,

все! О гибельности свободы не раз предупреждал Пушкин. Когда будет побеждена, сломлена, преобразена, переделана природа человека, когда человек преодолет подлое, омерзительное «я», только тогда будет возможен скачок из царства лагеря в царство свободы. А пока принудительное равенство и лагерь без поблажек и колебаний и границ. В лагере будут побеждены бушующие, черные страсти, разрешатся страшные антиномии, выпрямится извращенная природа человека!

Обращаю внимание. Как тебе понравится! Форма нашего ОЛПа в точности соответствует острову, который Мор описывает в «Утопии». Четырехугольник со сторонами: 1, 2, 3, 4. Случайность?

— И впрямь, — с готовностью соглашаюсь я, изумленный, взволнованный. Очень помню этот разговор, потому что геометрической соотнесенностью ОЛП-2 с островом, который в «Утопии», уловил мое сердце Краснов. Так бывает, читатель. Я с математикой не дружен, но, видать, мне передалась от отца склонность к геометрическому, символическому восприятию сумбурной картины мира. На днях перечитал «Утопию» Мора. Не обнаружил в ней рокового четырехугольника. Что, Краснов спутал?

Это говорилось накануне, свидетельствую; а на следующий день погода угодливо переменится, золотая осень, бабье лето; на следующий день Саша услышит об освобождении Ирены, увидит отрубленные, кровоточащие пальцы, произнесет samozабвенную, всесокрушающую, крамольную речь.

Р. Р. S.

Я стараюсь, из кожи лезу вон, чтобы раскрыть тебе, читатель тайну, как меняется мировоззрение человека, почему великая утопия, дерзким открывателем и уточнителем которой был мой друг Краснов, полетела в бездну, в черные, захватывающие дух тартарары, а ты и не следишь за моей мыслью. Я расцветываю, расшифровываю, а тебе до фени.

Знаю, читатель, что одно тебе интересно, было ли что между скромноокой прелестницей-полячкой и Красновым?

Отвечу.

— Я за ноги не держал, — так срезали фраеров у нас на комендантском. Отличное, очень уместное выражение. Вполне приличное, литературное.

Из пущей деликатности я не лез в грязных галошах в душу застенчивого, восторженного юноши, не вытряхивал из него подробности: как, мол, и что? Не спешил. Спешу, но исподволь. Символ этого выражения: дельфин. Краснов сам разговорится, оплошно обронит словечко. Куда ему деться? Так



бы оно и было. Не мог же я предугадать, что Краснов, забодай его, дурня, комар, отчебучит цирковой трюк. Наломал дров! Словом, проглядел я нечто важное, серьезное. Дело в том, что в день, когда Ирене было положено выйти из лагеря, юному философу моча в голову ударила: рванул в побег. Безрассудство. Наглый, немотивированный дерзкий побег. Угораздило же удалую, безоглядную, влюбленную головушку! Спятил, что ли? Побег из рабочей зоны обычно квалифицируется как экономическая контрреволюция: 58—14. Умопомраченный философ бежал, но, видать, образумился, опамятовался, объявился сам на вахте. В проходной, как паинька: вот я! Повинную голову меч не сечет. Чаще сечет. Странненько, чего только не было; Краснову сошло с рук. Не то, что совсем ничего за такое не было, но не судили. Суда не было. Я точно знаю. Не путайте, читатель, Краснова с Красиным, подельником Кузьмы. Шмайна, Александрова и др. Красин деранул по дороге на Колыму, с этапа. Красина судили. Срок-то у Вити вырос не ахти, было 8, стало 10. А Краснова не судили, хотя форфурку в одно место вставили. В конце 1949 года Краснова этапировали с комендатского ОЛПа на штрафной, в самую Индию, где вечно пляшут и поют, туда, к Олегу.

Я осиротел.

Думаешь, как лучше, а получилось хуже. Принимал близко к сердцу, что мой друг на шпалорезке вкальывает, решил вытащить его на придурковую работу, подсуетился, замолвил словечко, устроил учетчиком погрузки. Вроде все хорошо. А чем кончилось? Штрафной ОЛП! С тех пор я зарекаюсь вмешиваться без спроса в чужую судьбу. Если кто попросит, другое дело, помогу. Душа каждого человека пророчески знает, где ему лучше быть.

В лагере с Красновым я уже больше не пересекался.

Уже в хрущевское время, когда лагерные невзгоды были позади, я запустил крючок любопытства в интересующем тебя, читатель, направлении. Древние считали (Плавт): «каждый любопытствующий зложелателен». Никак нет. Я тихо, осторожно под сурдинку подгрелся к теме, келейно спросил. Я полагал, что рана души, если и была, то затянулась. Краснов долго, беззвучно хлопает неестественно побелевшими губами, заклокотал, запыхтел, как паровоз; лапидарно отверз уста:

— Эту тему я не намерен обсуждать. Уволь.

Отбрил — правленая бритва; сам же увял, улыбнулся через силу:

— Извини.

Я проглотил досаду. Не совсем ловко вышло. Мне-то ка-

залось, что я оставался в границах такта. Оказалось, что Краснов к своим интимным тайнам не подпускал на пушечный выстрел.

Ирена вышла из лагеря, в Коноше получила паспорт, направление куда-то под Львов, где обитала ее мать. Так или иначе, а с Красновым судьба их не свела, хотя после XX съезда Ирена делала не один яростный, бурный налет на Москву. Знаю еще, что она упорхнула в Воркуту: «выходить замуж» — злые языки трепали сплетню. Там, на Севере, она действительно вскоре выскочила за земляка (за поляка). Когда стало попроще, перебрались с мужем в Польшу. И там след ее потерялся. О ней давно уже ни слуху, ни духу. Где вы теперь? Чем сердце успокоилось и успокоилось ли?

# БЫЛОЕ И ДУМЫ

**Е.МЕЛЕТИНСКИЙ** (доктор филологических наук):

«Проза Федорова являет собою яркий образец интеллектуального жанра: за философско-идеологическими приключениями героев, за обостренным, напряженным вниманием к вопросам пола, за иронией и авторской проследжностью к глубинным проблемам бытия.»

Помню, помню.

22-ое июня 1941-ого года.

Мы, оглашенная мелюзга, непущенная на качаловскую мистерию, колобродили до рассвета, не сомкнули зенки, не прикорнули на секунду, а затем еще удили карасей на Витовских прудах, ритуально, надергали их тьму-тьмущую, вертаемся в село, тащим удочки-самоделки, корзины, полные сверкающих рыб, прикрытые для сохранности молодой крапивой — наш улов. Утомленные, усталые, счастливые.

И, как гром средь ясного неба, как тать ночью!

Трам-бам-бам!

Трах-тах.

Конь-блед.

Светопреставление, апокалипсис, ну — чистый, 98% апокалипсис. И сатанинские глубины.

Дорогие братья и сестры, в ту злосчастную минуту (хощь верьте, хощь нет) у меня мурашки-пупырышки побежали промеж лопаток, по спине и много ниже, по тому самому месту, из которого ноги растут. Ей-ей! Побежали проворно, бойко, друженько, поскакали опрометью, повскакивали мельчайшей сыпью. Факт, упрямый, как та ослица. Так-то. И кое-что еще. И кое-что иное.

Ой, люто воспоминание.

Неизгладимое.

Витовские пруды — мечта, холймес, шебола, миф, праздник, который всегда со мною, мое священное предание. Около них ярилось мое богатое, румяное, лучезарное детство. В тех блаженных краях я не был с тех пор. Видимо, никогда не буду. Нет ни родных, ни близких, ни знакомых. Сохранились ли сами пруды? Не заглохли ли? Может, их уже и в помине нет? Может, они и бытуют исключительно в моей дырявой тылке, в моих мутных ностальгических грезах.

В то пра-время, которое даже я знаю по скудным историям стариков, в прудах водилось обильно много карпа, а пруды еще не прогнили, заботливо очищались от всякой негожести, нечисти, охранялись егерями. Рыбу разводили, подкармливали; старательно ухаживали. Витов слыл страстным рыболовом. Предание приписывало ему такую удачу: будто бы он зацепил и выволок уникального карпа — в добрые полтора пуда. Вот какие исполины в старину водились. Аж не верится. О сем ихтиазавре местная газетенка прочирикала, как о диве дивном. Вестимо дело, из города сразу же ученые понаехали, принялись рыбу дотошно схолить. Взвешивали на специальном безмене, мерили и от головы до хвоста, и от хвоста до головы. По несколько замеров делали, чтобы все было по науке, точно, без тuffy и обмана. Очутилось: чудо природы, притом чистойшей воды. Форменный мировой рекорд. Интересно бы знать, на какую леску взять можно такого гиганта? 0,6? Пожалуй, подлец, оборвет и 0,6. А в те допотопные времена капрона еще не изготавливали. Леску плели из конского волоса. Грубая была снасть, не то что теперь. Кстати, японская леска добра! А из отечественных клинская котируется. Не знаю, как вы, читатель, а мне кажется, что клинская, если и уступает японской, то совсем малую толику. Я обычно на клинскую ловлю. И вам советую. Попробуйте. Но о качестве капроновой лески не буду упрячиться и спорить, готов вам уступить, чтобы сходу не схлопотать обидное обвинение в

квасном патриотизме, необъективности и пристрастности. Вообще-то, скажу вам, экземпляры по пуду Витов частенько выуживал, и они ничье воображение не тревожили, никого не нервировали. В наши дни и пудовых карпов нет, во всяком случае я не лавливал и не слышал, чтобы кто-нибудь ловил. Пудовые карпы вымерли, исчезли с земли, как пятидесятитонные невероятные динозавры, населявшие когда-то нашу планету. Современный карп, которого вам посчастливится ухватить на золотой крючок, простояв в очереди, это другой породы карп, мутант, гибрид, жалкий выродок, одно недоразумение: в нем от серебристого карася больше, чем от крупнокалиберного карпа. Его вообще надо бы отнести к серебристым карасям. К тому же он даже затянут по вине ненормальности кормовой базы. Но не будем втуне убиваться об эпохе пудовых карпов. В те дни к прудам и не подойдешь близко. Егеря сходу и до смерти затравят волкодавами-злыднями. И ответа держать нисколечко не будут. Частная, мол, собственность. На прудах рыбалил сам Витов-купец, толстосум. Вот так-то. Одному все: и миллионы большие, и суперкарпы в полтора пуда, а крестьянину-хлеборобу, который, как говорит пословица, «с сошкой», тумачи и шишки: нельзя, видите ли, посидеть с удочкой на заветном бережке, не говоря о том, чтобы на ночь пленицу поставить. Революция — вихрь: Витова нет и в помине. Лови на прудах любой и сколько ненасытной душонке угодно. Нет ни егерей, ни псов свирепых, вредных. Пруды, правда, малость пообмелели, заболотились. Всемирно прославленные карпы перевелись; впрочем, никаких нет. Пооскудели нынче пруды: одни караси в них да кикиморы болотные. Прошлым летом дружок и противорядный сосед Витька Рыжий возвращался потемками с пристани, брел по берегу ближнего, заросшего у берегов осокой, самого ржавого, заилистого, пивястого пруда, а эти наглые оборотни, как дельфины, повыбрасывали тела из трясины, остановились в полете, торчат эдак по талию (талии узкие, осиные, длинные, а сами-то зеленущие, что покойники; может, конечно, от ряски и тины), как примутся хохотать да визжать, будто их взрослые парни щупают — со скрипом и присвистом, суматошно, страхолюдно. Прытко, как кенгуру, тикал от них, сверкая пятками, бедный отрок; летит, словно с Ярила сорвался — земли под собою не чует. Вот и село. Вот и родная изба, вбежал: дух перевести — нет мочи; слово выговорить — не получается. С той поры мой Рыжий заикаться пошел. Его еще в трех водах мыли от последствий медвежьей болезни. Очень уж испачкался. Мне водиться с ним заказано. Вы, наверно, не очень разумеете,

что гадкое заикание прилипчиво, как банный лист. Слушая его сумбурный сказ о полногрудых кикиморах, видя, как он пыжится, с трудом выдавливает кажинный слог, и я с ходу поехал заикаться, будто и меня пуганула титькастая нечисть. Сильно прихватило заикание, похлеще, чем Витьку. Бабушку перепугал чуть не на смерть, и она решительно помчала меня к логопеду — говорили, профессор, говорили, прямо-таки светило, звезда первой величины. Втихаря еще рассказывалось о каком-то «большом человеке» — не то это был нарком Тимошенко, не то Молотов, не то Шкирятов, не то все они трое заикались, приезжали к нам за тридцать земель лечиться. Рассказывали шепотом, с опаской, как о страшной государственной тайне, которую прилично хранить, а не громко базарить на всех перекрестках. Помню докторский кабинет, просторный, светлый, стерильный, сердито, холодно сияющий медицинской адовой всячиной. А в одном из углов, занимая добрую треть кабинета, стоит огромный, даже сверхгабаритный глобус. Представляете, до потолка! И зачем логопеду глобус да еще таких фантазмагорических размеров? (Слышу чей-то голос, сзади, за плечами, негромкий, но пронизательный: «А тебя забыли спросить. Тюфяк, туда же с вопросиками. Не твоего ума дело.») Рискну еще отметить, что глобус потряс мое воображение невероятностью. Слышал, есть и такие презерватив от глобуса, переспросят: а что такое глобус? Мне же один дружок все разъяснил, разжевал. Я не из глуши. Ну, не совсем городской, но все-таки. Видел глобусы. И в школе. Вообще. Но гляжу на докторский глобус, и хочется протестовать: Не может быть! Не бывает! Блеф! Не лезет в умишко, что простой школьный экспонат может достигать таких размеров, такой мощной невообразимости, а вместе с тем оставаться вещью. Подавляюще внушителен. Бесспорен. Потерявшись, я не сразу уловил, где на глобусе океаны, а где материки, которые легко было узнать на обычных, маленьких глобусах. Уставился, как баран на новые ворота, ничего не разберу. Очень обрадовался, угадав полуостров, по форме смахивающий на знакомого зверя. «Покажи Скандинавский полуостров.» Подсказка: «Тигр.» Без дураков — указкой ткнешь. Но это уже много позже, когда я поумнел, так, классе в седьмом. На докторском глобусе узанный полуостров своими махинными размерами даже превосходил живого, стучащего когтями зверя, что у нас в зверинце. А у нас, говорили, тигры крупные, отменные, амурские. Такие мощные, что и льва запросто сборют. Никто мне до сих пор не верит, что в кабинете знаменитого

логопеда я собственными глазами видел тот глобус. Ведь их в Союзе всего три штуки, и по одному такому генералиссимус Сталин планировал военные операции и наголову разбил непобедимого Гитлера. Глобус, видать, держался на крохотной подставке, которую было совсем не видно, что и давало неприятный эффект чуда: нарушено естественное правило стремительного падения тел вниз, глобус сам собою парит в воздухе, левитирует, словно вовсе не имеет массы и веса или внутренность его заполнена каким-нибудь удивительным газом, не то водородом, не то легким гелием, которым на праздники надувают разноцветные шарики. А я, балда, все не могу отвести глаз от чуда, заворожила интенсивно-черная линия, метящая дерзкий путь кругосветного путешествия Магеллана. В антураже научного капища великий доктор, разместившийся за большим, дубовым столом, к которому мы с бабушкой робко подтекли, гляделся могущественным идолищем, от которого дал бы деру и бесстрашный, непобедимый богатырь Илья Муромец, живи он в наше время. Вот бабушка стала что-то тараторить, пояснять, видимо, неудачно, бестолково, а доктор как сверкнет обилием золота зубов, как зашипит — с присвистом, что ваш былинный Соловей-разбойник; как рывкнет:

— Вздор мелете!

Дальше — больше. Все в таком роде, словно бабушка повинна, что я заикаюсь и в прогнивших прудах завелись полногрудые кикиморы. Я заревел от страха, потянул бабушку за красную юбку, которую по случаю и для парада она надела. Реву, уже остановиться нет мочи. Истерика. Словом, конфуз. Скандал. Доктор во всю на нас лает — разоряется. У него, видите ли, нет времени с нами яхшаться. Другой клиент дожидается, назначен. Время — деньги. Взашей, нас, лишенцев, вышибли.

— И покуда я мог их видать! — с чувством мелодекламировала бабушка.

И с той поры синдромчик у меня, мурашки: боюсь врачей. Незаживаемые впечатления детского возраста. Может, среди них и водятся хорошие, чуткие, добрые люди. Но у меня предубеждение. Фобия.

А у моей бабушки были свои принципы, свое самолюбие. Когда она рассказывала о знаменитом логопедике и о нашем посещении его, неизменно пускала словечко «рвач». Мою бессеребренницу бабушку не переубедить вам, что знаменитые врачи имеют право на большие заработки и что в бесплатной медицине нет ничего путного. До наших дней, когда прелести бесплатного лечения проявились в своей непредсказуемой красе, бабушка не дождала.

Рассказывала она очень смешно. Завершала повесть складно: «И покуда я мог их видать с непокрытыми шли головами...» Умела бабушка разукрасить.

С Рыжим почти совсем меня раскумовали.

Не очень-то славный поступочек с моей стороны. Сердцем я чувю, что не следует в беде бросать друга милого, не хорошо его чураться. Но взрослые одно долдонят: такова жизнь! И куда выпрыгнешь? Не пристало и бабушку своеволием и непослушанием огорчать. Ей очень боязно, что из-за Рыжего я с дефектом речи на всю жизнь так и сохраниюсь. Пугает, что меня задразнят, затравят в школе. Я не вовсе оборвал с Рыжим, но стал чуть меньше проводить с ним времени, и это, знаете, пошло на пользу. А пожил зиму в городе без Витьки — заикание как рукой сняло. Почти не заикаюсь. Редко. В школе, когда урока не знаю. Правда, не знаю урока я всегда. Плохо учусь, туго.

Возвращаясь к качаловским кикиморам, скажу, что взрослые не вполне всерьез принимают рассказ Рыжего, в основном отмахиваются, уклончиво, неискренне улыбаются. А дедушка прямо и резко заявил, что это «бред собачий», от которого «уши вянут» — Как он мог видеть, что зеленая, когда темень? Бабушка хоть вроде и верит, что вообще-то в гниющих прудах кикиморы бытуют, но осторожничают. Что-то, мол, не то. Скорее с перепугу. У страха глаза с тарелку. Есть резон не сильно доверять глазам Рыжего. Во-первых, известно, что кикиморы, которые расплодились в прудах, вовсе не такие, как рисует их Витька, дюже помельче, не крупнее семилетнего сомика. Ну, а главное — у них не должно быть вовсе спины. Нет, как нет. А по Витьке выходило, что спина наличествует, мощная, жирнящая, а сами кикиморы прямо-таки великанши; притом титьки пренеобъятны, как купола на дедушкином храме Вознесения, такой же шлемовидной формы, в два ряда, как у волчицы. Во-вторых, нашинские кикиморы в мае еще не вылупляются. Их можно видеть в середине лета — после Троицы, на кикиморову седмицу, в конце которой лютая гроза, как закон, случается. В мае могла быть русалочка. Дочка Витова утопилась как раз в мае — несчастная любовь, говорили. Не раз видели бесплотную полупрозрачную фигуру с длиннущими, распущенными волосами накануне Юрьева дня. Но проказница заладила и на Крещение являться, то бишь зимой, в лютые морозы, когда на гулянии под вечер все село с горки на санках катит. Покажется, значит, из-за кладбищенской ограды — в белом, как сама смерть. Ну, народ, ясное дело, деру. И я бы, конечно, побежал. Не стал бы мешкать. Такое, значит, творилось не один год, а сря-



ду — по рассказам мамы, бабушки — лет десять. Дедушка никак не принимал зимней русалки, ворчал, отмахивался. Тоже, мол, медведь-шатун. Курам на смех. Какие там русалки, когда зима. В нашем климате замерзают реки, озера, труды. Не Иордан ведь наша Качалка. Все это, мол, дремучие фантазии, темнота, дичь и дурь. Но его обломали, принудили тащиться, самому лицезреть неприкаянную душу бедной грешницы. Поплелся-таки. Это было, кажись, в год моего рождения. Стоит дед на горке. Видимость сильно поубавилась и стала темень подкрадываться. У калитки церковной возник взаправдошный призрак, действительно в белом, как и положено лярге, только валеночки черные. Народ забазлал, паникой шарахнулся к селу. А дед устремился к привидению. Уж — рядом; оно не очень-то храбрится — к ограде попятилось, спину нычет, шмыгнуло в калитку.

— Стой, чертова кукла! — рявкнул дед.

А оно очумело и сломя голову по могилам скачет. Дед за ним припустил, хватя.

— Батюшка, прости окаянную. Я же — Нюра. Ну — Нюра.

Ясно, чей голосок: его прислуга, Нюра. И с тех пор, как отловил дед привидение, оно уже не пугало, не баламутило честной народ. Слово дала Нюра, что озоровать и баламутить народ больше не будет. Получается, никакой русалочки вообще нет, и не было, а одни лишь пустозвонство, брехня, жульничество, обман, насмешка и колпак? А мой Рыжий тверд, что кикимору видел, зазывала его, манила, сулила что-то. Между прочим, неделя не истекла, а неведомая сила вновь двинула заикающегося отрока к грудастым оборотням. И меня увещал глянуть, усиленно прельщая, что у них будто-то бы титьки отлично арбузные, в два ряда, как у суки, а в каждом ряду по три. Но в том хрупком, невинном возрасте не годились мне арбузно-бабьи буфера да еще в таком непомерном изобилии. — Не пойду! Уперся. С какой это радости мне идти? Пусть — сдрейфил, но хоть убей намертво, не пойду хмарною темнотою туда. И с Витькой не отважусь. И с отцом Витьки. И даже с дедушкой. А мой дружок, уясните себе, кольнул меня диким, окаянным взглядом и, как шалый, зашагал к прудам. Что он там второй раз высмотрел, не сказывал. Таился, финтил, глупо лыбился. Хотелось крикнуть:

— Не мучь! Скажи.

Нет, не по мне авантюра. Боюсь привидений, призраков, кикимор, оборотней, векового обманщика с раздвоенным копытом и прочей неимеющей субстанционного бытия, ирре-

альной, пугающей людей, бесспинной нечести. Иное дело днем. Днем не боязно совсем. И один могу карасей удить. Кстати, вот чего прорва на витовских прудах — так это золотистого карася. Закинуть удочку не поспеваешь — поклевка: поплавок, гусиное перо, уверенно плюхнется на воду, замрет секунду-две, потом эдак оживет, задрожит нервно и — ринется под воду. Не зевай! Тяни. Энергичнее, резче. Ну, конечно, не рви что есть мочи, как дурак, обоими ручищами: у карася верхняя губа хилая, оборвать губу ничего не стоит. И на опарыша. Можно на хлеб ловить; на манку, а в жаркое время лучшая насадка — распаренный овес. Намедни Витькин батя ухитрился выярить царского карася — 4 кг. Бабушка не удержалась — укупила. Ну и сладок карасюля в сметане жаренный. За уши не отдерешь и язык проглотишь. Вранье несусветное, что карась ароматит тиною. Так блюмяют пустомели костромские или те, кто не едал четырехкилограммового карася, в сметане запеченного. Конечно, мы, пацаны, китов на 4 кг не ловим. И не возьмешь такого без подсака! Таскаем мелочь, молодняк, так — 50—70 г. Иногда садятся и более крупные, грамм на 300—400, но реже. А наши пруды славны еще тем, что на дне их затаены клады многоценные, миллионы витовские. В прошлое лето сюда водолазы наезжали, по дну прудов ходили, шарили, шаркали, но ничегошеньки не извлекли, только время провели. Ни с чем отвалили в город ко всеобщему ликованию населения нашего села и окрестных деревень. Народ отнюдь не жаждал, чтобы корысти богатые в город уплыли и там в музеях хвастливо показывались. Пусть уж лучше они в недрах прудов незримо присутствуют, громко славят их. А Солнце, батя Рыжего, прочно знает, что есть-таки на дне прудов золото, а он не какой-нибудь хрен собачий, а всамделишный герой гражданской войны, командир красный; орден знатный имеет.

Итак, мы гурьбою валим по дороге, во всю мутим пыль. Мне 11 лет.

Скоро, в сентябре, стукнет 12. Живу я у бабушки в Качалове. Село наше уютненько приткнулось к церковке, что на горке. Под горкою блестит, обнимая село, речушка — студеная, шумная, но не дюже глубокая; местами — курица перейдет; но есть и омуты пучинные, многоемкие, где утонуть насмерть запросто. Конечно, ни один наш омут не сравнится по глубине с ямами Волги. Там — бездонные ямищи. Речка зовется — Качалка. Она распадается на четыре рукава, которыми впивается в Волгу. При впадении еще деревенька, тоже Качалка, как и речка. Окольные нашему селу деревни скуплены в колхоз; он наречен красно:

«Искра Октября». Любо мне здесь все, даже величание колхоза нашего.

— Искра Октября и та гаснет, — на обиду мне сдвоит бывало бабушка.

С председателями в Качалове худо. Что верно, то точно. Чехарда какая-то. Сменяются каждый год. Старого в городскую тюрьгу отвозят: за кражу или большую растрату. На его месте возникает новый такой же, по речению бабушки, лодырь, пьяница и вор. Почему-то председатели донельзя к водке привержены и усиленно за воротник закладывают, притом норовят полоскать горло не на свои, кровные, а пропивают колхозное. Может, работа такая, нервная, с людьми. Прямо скажу: неважнец дело с председателями. Бабушка, которой все новое и передовое не по душе, прокляла тут поносную частушку:

Бригадир блины печет,  
Кладовщик подмазывает,  
Председатель водку пьет,  
Счетовод не сказывает.

Путано все. Ой, братцы, путано, неувязочки, винегретец. Но я отталкиваю весь винегрет, ухожу спеша от него. Я — юный пионер. Этою зимой святую клятву давал, что буду твердо и неуклонно стоять за дело Ленина — Сталина, за построение коммунизма во всем мире. Будь я постарше да поумнее, можно было бы бабушку срезать, сказав, что частушка корява, убога, без изюминки. Так — дрянь кулацкая, кадилная. Пошленькие глагольные рифмы. Фи! Но я маленький. Ничего такого сказать не умею. Не стараюсь уметь. Я люблю бабушку. А она, ой, как дремуча! Стыдобушка за нее. Она и не таится, что предпочитает старый режим, царя, кого угодно, кадетов, на худой конец хоть Александра Федоровича Керенского, но только не «антихристовых супостатов». А почему? Вы, может, и сами докумекали до истинной сути. Мой дед еще вчера в этом селе священствовал. А раннею весною, до Пасхи, упекли его. И еще. Не скрою. Они зажиточные были. Свой дом, все такое. Кони, коровы, овцы, удивительно преогромные свиньи; вертоград: яблони, сливы, вишни, смородина, малина, облепиха; ульи, кажется 12 штук. А дом-то добротный, кондовый, многоместительный, лучший на селе, в два этажа, хоть и деревянный, но фундамент кирпичный, высокий, буржуйный, крыша железом крытая, не чета крестьянским хатам с соломенной кровлею, старой, черной, гниющей. У Солнца — страшная халупа, drankа пооблетела, сгнила-перегнила, а со двора, крыто-

го соломой, даже вечное небо видать: дыры несусветные. И как они, горемыки, неистовую зиму в такой хате хоронятся? Не натопишься. И как помочь? Как пособить? Какими средствами укротить нищету, безживотие, бедность? Нет слов! Я оглянулся окрест, и душа моя страданиями человеческими уязвлена стала. Чтобы описать избу нашего соседа, нужен гений Радищева.

А деда моего раскулачили, видимо, не прямо в 29-ом, а много позже, где-нибудь в 34-ом. Себя я очень помню в нашем доме: я еще призрачно крошечный, на руках у мамы, в синем ватном одеяле, очень укутанный; уютно, удобно мне; мы на террасе; в саду роскошно и велелепо цветет огромная, тучная яблоня. Знание, что это яблоня, а не другое какое ветластое дерево, пришло, видать, позже, но сохраняю полную иллюзию, что и тогда знал, что это яблоня, и тихо радовался, что здесь, под нею родила меня моя мать. Еще помню пронзительные, сложные запахи дома, в которые вплетается кисловатый запах моченых яблок, но все это агрессивно зашибает дух свиного дерьма. Это дед возит куда-то навоз, на тачке. Препротивная, скажу я вам, едкая воница. Атакует, преследует, но и реконструирует воскрешает образы минувшего. Ну, сознайтесь, читатель, что вы в этом месте ухмыльнулись, мысленно, злорадно отметили, что в литературе это уже было. Плагиат! У Пруста, мол, стибрил, бессовестный. А я возражаю. Никакая это вовсе не кража. Вообще-то нельзя не признать, что у Пруста в его знаменитом «Пердю» есть нечто близкое, подобное, есть какое-то там «мадлено», песочное печение, возбуждавшее воспоминание автора и позволившее ему накапать тысячи страниц. Но, во-первых, хочу обратить внимание читателя, что у Пруста воспоминания будятся посредством печения, светско-романтического «мадлено», а у меня в этой функции выступает, извиняюсь, свиное говно. Вы, читатель, конечно заявите, что это неважно, это, мол, непринципиально. А я вам на это заявлю, что человека, который не видит принципиальной разницы между романтическим «мадлено» Пруста и свиным говном, нельзя пускать в приличное, интеллигентное общество. Но это все только, во-первых, так сказать, цветочки, а ягодки будут впереди. Во-вторых, у Пруста воспоминания возбуждаются от вкусовых ощущений. А это наглая ложь! Общеизвестно, что воспоминания никак не связаны с вкусовыми ощущениями. Спросите любого китайца, в крайнем случае корейца, вьетнамца, японца, малайца. У них там это целая наука, древняя, развитая. Фолианты написаны. Все иероглифами. Воспоминания будятся исключительно запахами. Возьмите русскую

летопись. Три строчки летописи стоят всех Прустов настоящего, прошедшего и будущего. Мономах — силаща грозная, могучая, несокрушимая. Накостылял двум братьям кипчакам, Сырчану и Отроку. Еле ноги урвали. Сырчан утек в низовья Дона, там, как рыба, замер, затулился. Вроде его и нет. Отрок летел быстрее оленя, летел куда глаза глядят, аж на Кавказе оказался, где-то за Железными воротами лишь отдышался, очухался, а придя в чувство, там, на Кавказе, живо и художественно развернулся, нажил несметное, прямо-таки скажем, неприличное богатство, а с ним царский серебряный посох, почет, уважение. Живет на новой родине и в ус не дует. А времечко трусит помаленьку. Зима — лето, зима — лето. Чередой мельтешат времена года, так что порою в глазах рябит. Закрыв мудрые, орлиные очи и мирно отошел к отцам грозный Мономах, оставив потомкам свои поучения. На Руси туга, крамолы, раздоры, усобицы. А Сырчан распалился: самое время реваншем вдарить, пройтись по ненавистой земле головней и Карфагеном. Мечь! Кровавая мечь! Распылалось сердце Сырчана, а у Отрока все иначе. Он, видите ли, рисковать не желает, успокоился на достигнутом, живет не тужит. Омещанился, словом, жирком порос. Сырчан снаряжает к Отроку любимого барда, хитрого, сладкогласого Лемешева, снаряжает с дипломатической миссией, езжай, мол, объясни братану, что и к чему, зови домой. Наш Лемешев заваливается к Отроку, говорит то и се, родная кровь, степи, кибитка кочевая. Великая степь зовет! Наконец, предлагает еще сварганить журфиксик, на котором грозитесь блеснуть вокальным своим даром, потешить и усладить душу песенками под звонкий гудок. Отрок согласен. Журфикс так журфикс. Можно и журфикс. А у сырчановского скомороха репертуарчик ловко продуман, песни всякие, гой еси, половецкие, трогательные, душеспитательные, и он пускается во все тяжкие, запузывает сладкие рулады, заливается соловушкой: «Выплывают расписные Стеньки Разина челны», что-то родное, словом, дорогое сердцу каждого честного половчанина. От сладкозвучной песни аж море синее умолкло, штиль полный, божья благодать, а горы, Кавказские горы, пошли в пляс, и скалы, вечные и вешие скалы, пляшут под дуду Орфея: все очаровано. Лишь один Отрок никак не клюет на приманку. Может, сердце его окаменело, стало тверже, чем скала. Может, слуха нет. Медведь на ухо наступил. И такое бывает. И скорее всего он просто знает, что и к чему. На войну идти неохота. Играть, рисковать жизнью, которая — увы! — дается один раз, не улыбается ему. Потому-то он и Ваньку ломает, делает вид, что не слышит

призывного зова труб. Глухие, говорят (и правильно говорят!), это не те, кто не слышит, а те, кто не хочет слышать. Отрок, поди, рассуждает так: «Сырчан гол, как сокол, пасынок фортуны, озлобленный бедолага. Ему терять нечего, кроме своей шкуры. Отсюда и удадь, и бесстрашие, и иступленное отчаянье. А у меня хозяйство и царский серебряный посох. У меня люди, за которых я в ответе. Мне-то есть что терять. С нуля абсолютного начал и всего достиг. Дом — полная чаша. Раз нашкодили, дров наломали, хлебнули страха, позора, унижения, ноги унесли. Не хватит ли? На ошибках учиться надо. Степь да степь кругом? Тьфу. Плевал на Великую степь. Цыганщина какая-то. И вообще искусство должно служить высоким идеалам мира и безопасности, должно сблизжать народы, а не звать на злую, кровавую бойню. Пора бы издать закон, запрещающий пропаганду войны». Начинил Отрок себя такими мыслями, раскалился добела, да как рявкнет на гонца: «Вон! Чтобы духа твоего здесь не было!». Однако сладкогласый друг степей не был таким уж простачком, романтиком, не знающим жизни, как это могло вам почудиться с первого беглого взгляда. Он видал виды и бывания, отлично понимал, что если угрюмые горы Кавказа пляшут под твой волшебный гудок, это далеко еще не значит, что и сердце человеческое дрогнет. Игрец, поди, знал истинную цену святому искусству. Он припас напоследок нечто, что должно вдарить по нервам похлеще искусства. Нашего Орфея, значит, взащей гонят, а он упирается, хватается руками за что попало, за столы, стулья, за пальмы, роняет пальмы, вырывается из цепких рук и, хитро изловчась, сует под нос грозному Отроку какое-то зелье, траву сухую, которую летописец, между прочим, обозвал «евшан». Пряный, горький запах. Лишь одной ноздрей дыхнул Отрок и опупел. Ну и ну! Это вам не «Стеньки Разина челны!»! Это вам не «гой еси!»! «Евшан» туго знает свое дело: разбередил благоуханием память. И вспомнил Отрок все, как миленький, вспомнил, что в нем течет густая половецкая кровь, вспомнил неотмщенные обиды, бесчестия. Откинул прочь малодушные, обывательские разговорчики о мире, добрососедстве и безопасности, весь этот гнилой буржуазный пацифизм, залился пьяными слезами. Эх! Была — не была! Двум смертям не бывать, а одной, мои голуби сизокрылые, не миновать! Ой-ляля! Где мой суровый, несмиримый меч? Где мой быстроногий пышногривый, златосбруйный Буцефал?

— Гей, Шурукани!

Соскочил, значит, с высокого трона и — айда: понесся сломя голову под северный ветер на ненавистные племена

Афета. Хотя дальнейшая судьба Шуруканидов и не чужда моим интересам, но спешу вовремя остановиться, вернуться к основной теме повествования. Ведь я ринулся в Галицко-Волинскую летопись, чтобы привлечь ваше внимание к тому, что уже летописец знает то, что невдомек Прусту: не вкусовые ощущения, не святое искусство будят образы прошлого, а лишь запахи, обоняние. Дыхнул Отрок и — привет. Стал другим человеком, вспомнил все, как на дыбе. А мой «евшан» — свиное говно, вернее не его вкусовые качества, как это у гастронома, гурмана, гомосексуалиста Пруста, а запах, амбре разящий на три версты, который, как известно всему просвещенному, цивилизованному миру, очень схож с духом свежего кала особи хомосапиенса, притом сходство настолько разительно, что ненароком можно впасть в ошибку, запросто перепутать.

В нашем доме, вернее, в бывшем доме моего деда, разместилась школа, семилетка. Разве не справедливо, осмелюсь спросить я вас, экспроприировать дом у вонючего попа и передать его под классы? В светлых, просторных комнатах теперь зубрят азбуку-кириллицу, учат науку чисел, то есть правила сложения, вычитания, умножения, деления; учителя открывают сонные буркалы деревенских деток, воспетых Некрасовым, на смуты и революции прошлых годин, на знатное восстание силезских ткачей 1844-ого года; на великие географические открытия XVI века, на Колумба (1492), на Магеллана, которые вместе с такими титанами, как Коперник, Галилей, мужественно перевернули вверх тормашками средневековый мрак. А над входом в школу, над крыльцом, чуть левее — фантастический, декоративный фанарчик, причудливый, веселый, глаз радует. И фикус в окне, еще бабушкин, еще не погиб. Хороший у нас был дом, великолепный, нарядный!

Этой зимой наезжал дед в город, гостил у нас недели две, дольше прежнего. Перед его приездом мама прилежно процензурировала мою скудную детскую библиотеку, изъяла книжку, в которой сказка про попа и работника его балду, запретила строго-настрого, чтобы я ее вытаскивал (я заметил, куда она ее сунула), не канючил, чтобы дед почитал ее мне. А я, знаете ли, любил эдакое на сон грядущий послушать. Дед приехал и вышел казус. Полистал, помнится, дедушка мои убогие книжонки (в довоенные годы, да еще в провинции, ой, как хреново было с детской литературой), возмутился духом и отмел все: не лежала душа пичкать любимого внука тошнотворною мутью. Но куда денешься? Я хворал, выздоравливал, скукой маялся. Вот тут-то и приключился забавный анекдотик. И не пове-

рите! Вдруг принялся мой дед чесать по памяти стихи Пушкина, во всю наяривает, да так запросто, словно всю жизнь тем и пробавлялся, что с эстрады Пушкина жарил, на хлеб зарабатывал. Ну, скажу я вам, прямо-таки Яхонтов! Даже голос каким-то молодым стал, звонким. Про золотого петушка, царя Додона и настырного звездочета сначала прочитал, затем про золотую рыбку и глупую, вредную, ненасытную старуху, которая в своей жадности явно переборщила, не смогла вовремя остановиться. Дошло, наконец, дело и до попа и работника его балды. Смутил меня дед. С толку сбил. Не принималось никак, что эта ядовитая сказочка может ему полюбиться. Ведь она в него нацелена! Злая, едкая издевка в ней. А он — тот самый поп, у которого «толоконный лоб». Корыстен, жаден, глуп, за дешевой гоняется. Очутилось, что Пушкина помнит дед наизусть, любит. Мне это непонятно. Нечего себе, скажу я вам, вкус у иерея! Интересно, а как насчет Гаврииады? Знал ли ее дед наизусть? А вот бабушка, кажись, всего Некрасова знала, очень читала. Мама — толстяка Апухтина, Надсона. «Только утро любви хорошо». Отец вообще был глух к стихам. В ту суровую, студеную зиму ходили мы с дедом в зверинец на всяких тварюг глазеть: на незабываемую, грациозную антилопу, на непомерно ушастого слона, которому разрешалось прямо в чуткий хобот совать печенье или монетку, притом монетку он посылал не в рот себе, а ловко опускал в кепку сторожа, что клевал носом рядом; на сонного угрюмого льва, на стучащих когтями, болтающихся по клетке тигров, на обезьян, на гигантского четырехметрового крокодила. Меня занимал философский вопрос: кто кого собрет, сонный крокодил сонного льва или наоборот? Я мог часами простаивать перед террариумом с крокодилем, на котором по провинциальной небрежности не то вовсе не было сетки, не то она была настолько редкой, что я без особого труда мог просовывать туда всю руку, с придурковатой настойчивостью пытаюсь палочкой, которую для этой нужды специально прихватил из дома, достать чудище. Крайне любопытно, муляж это, чучело или только притворяется зеленая страхолюдина бездыханным бревном? А дед мой любил постоять перед обезьянами, пристально рассматривал их, чего я инстинктивно не одобрял. Топочется дед у клетки, а я уже ною, тяну его к другим экзотическим, ненашинским зверюгам. А поступал я так потому, что у меня закрадывалась щекотливая догадка, что неспроста дед так упорно, упрямо на обезьян зырит. Ведь должно же сомнение иголить священника, а вдруг пролог всемирной истории начался не так, как описано в Библии,



не от Адама и Евы, а вот от этих, что в клетке, хмыристых, юрких, пошлых, гримасничающих тварюг вымутировалось людское население земли? Сознаюсь, что и я, юный пионер, глядя на энергичную, проворную, наглую, бесстыжую мерзость, терялся и кис в идеологическом смятении: неужто? Не может быть! Позже люди умные прочистили, прополоскали мне мозги, навели в них полный марафет, а затем и извилины выпрямили: просветили. Все оказалось весьма просто. Вшивые обезьянки, которые по недоразумению демонстрировались в нашем бедном провинциальном зверинце, абсолютно ничего не имеют общего с мыслящим адамитом, а от наших мелкотравчатых, егозливых, бесчинствующих, пакостных и пародийно-похотливых живчиков разве что тупиковый и незадачливый неандерталец выволюционировался, которого, кстати, в наше время ни один уважающий себя культурный человек и не полагает прямым предком. А интеллектуальный адамит произошел вовсе от иных приматов, которые давным-давно, миллионы с гаком лет назад вымерли. Притом так давненько, что никаких лбов, зубов, челюстей и всяких тазобедренных костей, а тем паче сентиментальных цветов на захоронении останков и не могло сохраниться, а они давно и начисто сгнили под гул столетий, превратившись в глину, пыль и прах. И на их месте горделиво громадный нигилистический лопух вырос. Вот те-то несохранившиеся пра-пра-пращурь, как две капли воды, похожи на нас с вами. Вообще-то с великим Дарвиным нелегко спорить, поскольку это наука и, как говорится, все равно что дважды два; иными словами говоря, как в аптеке, так и тут: сорок фунтов так и пуд. От себя еще скажу, что физици взрослые теток, имеющих педагогическую жилку, очень даже смахивают на морды антирелигиозных обезьян. Прямо-таки до импульсивных спазм смеха и последующих за ним режущих колик в нижней части брюха. Нет, не покачу бочку на научные теории мутаций, дарвинские неопределенные изменчивости и переживания наиболее арапистых, ловких, нахальных, нахрапистых. Народная поговорка: нахальство — второе счастье. Это сама жизнь. Хотя внешнее сходство не главный аргумент в пользу происхождения человека от обезьян. На свинью, пардон, человек еще более похож, притом к старости черты сходства разительно и неумолимо прогрессируют. Не зря, поди, многие религии, к примерчику, ислам, иудаизм, категорически запрещают свинину лопать. Мол, трэфное. Мол, поганое. Табу. А где табу, там и тотем. Священное животное. Предок, пращур. Это анализирует и весьма убедительно доказывает Фрейд. И жрет человек, как свинья: все подряд. Но барельефнее

всего проявляется общность в гнетущей противности вони. Голуби мои, дорогие читатели, ведь просто невозможно по вони отличить человека от свиньи. Немецкая овчарка, шерсть дыбом, хвост поленом, ищейка, уж на что жох по уголовно-сыскной части, но и она, драгоценная умница, зачастую мажет, взяв след, непристойно, непростительно оконфуживается, приводит — ха-ха! — в зловонный свинарник. Итак, я зову живых к терпимости, к осторожности в суждениях. Мало ли у кого какие общие признаки. Бабочки и птицы, к примеру, имеют крылья, а человек и курица двуноги! Для умной, резонной классификации нужно уметь подбирать существенные признаки, а не внешне броские. Отсюда прямой и математический вывод: профаны, не получившие специальной выучки, не должны фабриковать теории происхождения и развития растительного и животного мира... После того, как взрослые силком и каждый раз со скандалом загоняли меня в кровать, а сами отправлялись «пить чай», плотно закрыв за собою двери, чтобы я лишнего не услышал — начиналось: гул, гомон, галдеж, затем выкрики и истерические визги мамы. Я запросто смекалил, что там творится, почему и отчего. Это папа и мама понуждают деда, чтобы он расстригся, отказался от сана, перебрался к нам в город и тихонько, без дураков, доживал свой век. Квартира хорошая, емкая. С лихвой на всех хватит. Можете и в церковь шастать. Сколько душеньке угодно поклоны бейте. Молитесь, хоть до состояния левитации. Коротайте постылое, тупое время, как заблагорассудится. Мешать никто не будет. Откуда-то мама раздобыла самые точные сведения, что «по плану» к 42-ому году все церкви должны быть закрыты. С религией будет кончено раз и уже навсегда. Попов, которые негоже артачатся, прижопят, помордуют, как следует, и заморят в исправительных лагерях. Но дед бранился, упирался, и там у них во всю разгорался идеологический сыр-бор. Я же нарочно не засыпал, вслушивался, что было сил, потому что очень интересно. Галдеж крутился вокруг того, может ли революция извести на нет попов и уничтожить полностью религиозное некультурие или церковь устоит, «врата ада не одолеют ее», то есть бесконечный боженька энергично займется земными делами, пособит, устроит все так, как хотят дряхлые старики и старухи? Мои родители были людьми, можно сказать, современными: они ясно видели, что при новых средствах и возможностях, которыми располагает пролетарское государство, прихлопнуть православную церковь ничего не стоит. Пифпаф и крышка! Наше вам, так сказать, с кисточкой. Кранты! Ни в какие катакомбы не скроетесь, преподобные мазури-

ки! Обвиняли лишенца-деда в сумасбродстве, легкомыслии, даже в потере жалких крох рассудка. Естественно, что я был всецело на стороне мамы. Однако теперь, когда все далеко в прошлом, притом так далеко, что даже не верится, что все было точно так, как помнится, я не могу постичь другого: каким образом и так долго такие ясные, очевидные факты я ухитрялся истолковывать в пользу мамы и против деда? Как это я умудрялся? Обратите внимание, «по плану» церкви должны были закрыть к 42-ому году. Если бы закрыли, права была бы мама. Но ведь не закрыли! Вроде бы я должен был убедиться, что прав был дед. Но я считал, что мама все равно права. Если бы не было войны, закрыли бы! Казалось бы, какого рожна было нужно мне, каких доказательств?! Теперь бы, мне уже не очень верится, что я, малолетка, имел перед глазами так четко сформулированную гипотезу и такое ясное, очевидное ее подтверждение. Разумеется, я не считаю, что воспроизведенные разговоры могут хоть как-то повлиять на читателя. Все покажется выдумкой, легендой. Но чем пристальнее я вглядываюсь в прошлое, тем яснее мне видится тайный умысел происшедших событий. Знаю, кто не видит, того ничем не убедишь. Фома Неверующий, как это остроумно комментирует Достоевский, поверил не тому, что получил непроверяемые доказательства, а потому что «хотел поверить». Напомню, что в начале 60-х годов церковь вновь переживала недобрую минуту: придирки, поклепы. Опять был «план» по сокрушению неистребимого православия, успели закрыть немало храмов. Опять случайные, внешние хитросплетения событий. Вылетел из тележки главный архитектор «плана», всемогущий Хрущев. Его свергли не потому, что он, каналья, душил русскую веру, а по другим причинам, которые, как нам, дуракам и профанам, объяснили, сводятся к двум словам: «волюнтаризм и пустозвонство». А там, в столовой, за стеною, все сильнее гудели, кричали, все шибче завывала мама, и это терзающее, дерущее душу стенание каждый раз выстреливалось тем, что отец и дед с грохотом, словно то была злая, нечистая сила, врывались в мою комнату (они полагали, что я давно и без задних ног дрыхну), суматошно рыскали в аптечке, искали целительные, чудодейственные валерьяновые капли, чтобы ими вытащить маму из пропасти сердечного приступа. А я внутренним взором сквозь стену видел, как там, в столовой, на диване, капутится мама, как она задыхается, как угрожающе-зловеще барахлит перебоем ее сердце и вот-вот остановится навек. Моя душа сжималась от режущего, остро-квадратного распинающего, леденящего ужаса.

Хочу, чтобы дед оставил поповскую рясу, расстригся, не убивал маму!

В меру силенок и я решил пособить маме в обработке пещерного, упрямого деда; как-то, когда все ушли по своим делам из дома, и мы с дедом очутились с глаза на глаз, я задал старику антирелигиозную головоломочку:

— Почему, если бог есть, умирают хорошие люди?

В глазах деда заметался озорной зайчик, сильно меня озадачивший и смутивший; дед улыбался, прямо-таки сиял, как начищенный медный самовар, и можно было решить, что он всю жизнь ждал, что его любимый внук задаст этот вопрос. И наконец-то дождался! Он буравил меня цепкими, насквозь прожигающими, карими, мамиными глазами и в пандан мне спросил, притом очень серьезно, как бы достоверно, чуть даже робко, а кого это я полагаю таким хорошим? Я загодя сбирался к педагогической вылазке и, хотя в поповской теодицее не разбирался, но спинным мозгом чувствовал, что выдуманная мною заковыка ядовита, и не представлял, как дед выпутается. Мой вопрос и сейчас видится мне удивительным: не с моими хилыми, молочными зубами щелкать твердоскорлупные интеллектуальные орешки. Ведь кем я был — простачком, филей безмозглой. А это же дерзкий попрек незадачливого, гнойного Иова, к этой огненной мысли сводится безумный, отчаянный бунт Ивана Карамазова и все его бескомпромиссные «проклятые вопросы». Ведь не один острый, пытливый, мощный ум сбивался с панталыку при лихом кавалерийском наскоке на эту антиномию. Как сопрягать такие свойства божества, как милосердие, всемогущество, с тем, что в подлунном мире царят зло, несправедливость, а над всем живым зависла секира смерти? Я знал (нет, не умом, а пупком), что не надо бы отвечать на контрвопрос хитрого деда, что это каверзное уточнение позволит ему выйти из воды сухим, затемнить и запутать все и вся. Пусть бы дал ответ в общем виде. Словом, я малость потерялся. Импульсивно хотел ткнуть в маму (видимо, и дед опасался того же), но раскинув робкими мозгами, умыслил ходить со старшего козыря, не мелочиться. Объявил того, кого почитал самым человеческим из прошедших по земле людей и достойным светлого бессмертия.

Выпалил, как из пушки:

— Ленин.

На пронизательные, живые глаза деда сразу же наплыла полынная, остудная скука. Лицо заменилось, стало странным, словно то был чужой мне человек.

— Однако! — сказал дед. Вдруг картинно, невыносимо

обидно тряхнул рукой, будто я назвал ему не великого Ленина, а князя ада. Я уязвился обидою. Расчухал по-быстрому, что врезал маху с примером. Просветился недрами селезенки и печенегов, что дед не просто сельский священник, темный, некультурный, невежественный, а упорный сорняк, неугомонный враг. Конечно, такому фрукту-овощу мои старания да еще с моим несовершенным, убогим умишкой, что мертвому припарки и лекарства.

Печать вины за политическую аморальность неподдающегося деда раскаленностью прожгла мое детское сердечко, и я уронил курносую, еще не оформившуюся толком носюру, испуганно весь ужался.

Все же проняла мама деда. Просверлила. Истериками, опасными, затяжными сердечными приступами, приневолила покориться судьбе, сдаться. Не смог продемонстрировать прыть характера, резануть с выплевкой:

— Отойди от меня, сатана!

Не доставало, видать, крутости.

Напоследок мы с дедом в зверинец поплелись.

Невероятное стряслось происшествие. Я, значит, как всегда перегибаюсь над террариумом, тыкаю палочкою в страшное чудище, все ближе, смелее, решительнее подбираюсь к мутному, водянистому глазу, увлекся; мысль успела сверкнуть: «как бы не укусил, гад!» А он как дернется! Да как!...

Я, значит, отпрянул; рука, значит, застряла в сетке; от страха в глазах дико заметались черные мухи. И, видимо, остальное уже померешилось мне, а на самом деле ничего и не было. Вижу, значит, как свирепый Левиафан привскочил на драконовом хвостище, почесал коротенькой, быстрой, противной лапкой белое пузечко, словно бы перекрестился поспешно, как это делают старухи, нагло, людоедски усмехнулся, плотоядно облизался и — а его глазища ужасные, злые, прямо вредно-человеческие! — распахнул красную пасть со страшными, в два ряда, круто загнутыми вглубь зубищами, цапнул подбежавшего на выручку деда, поднял его, как на каком-то рисунке в детской книжке, проглотил целиком и полностью, в ушанке, шубе и валенках. А затем и я оказался в его огромном, влажном кожаном брюхе. Мне худо, душно, темень, как у негра в черной жопе в двенадцать часов ночи. Начинаю доходить, задыхаюсь. Не могу кричать. Когда я очухался, пришел в себя, дед стоял рядом, что-то меня спрашивал; аллигатор по-прежнему лежал недвижимым бревном. Почему-то я не рассказал деду о своем видении. Почему-то мне думалось, что деду будет неприятно узнать, что я видел. Все это настолько невероятно, что

у меня вызывает серьезные сомнения, было ли пророческое видение.

Строгозимнее, сирое, мглистое утро; грязный вокзал провинциального города предвоенной поры, полупустая грязная платформа; с неохотой, скрипя, лязгая, трескаясь друг о дружку, тронулись вагоны; зареванное, багрянистое лицо мамы; она трусит за грязным, облезлым, обшарпанным вагоном, хвостовым, медленно, но неумолимо убыстряющим ход; она надрывно, истово, зацикленно заклинает:

— Папа, ты обещал! Папа, ты обещал!

Сморщенное, как высохший гриб, щербатое, жалкое лицо деда; малодушно-виноватая улыбочка; натужность, растерянность; на седой бороде блестят бисером схваченные морозом беспризорные слезы; еще слеза, только что выпрыгнувшая, юркая, молодая, катится из угла глаза — с горошину.

Как славно будет, когда дедушка поповство сбросит!

Поп — какое постыдное, препротивное, гаденькое словечко!

В деревне все не так, как в городе, здесь все другое, чистое, трогательное, новорожденное. Может, потому, что дедушка около пятидесяти лет был здесь священником, ко мне все с неподдельною ласкою влекутся. Рискну схватить сильнее: здесь все меня любят. Явление мое в начале лета — праздник. Прибыл Фекул — теплый ветер подул! Принимают как родного, долгожданного, как красное солнышко. Наперебой зазывают, потчуют всякими вкусностями, ватрушками, сочными, колобками, пирогами, на которые я падох. А в городе, ой, как худо! Таимся мы. Мама скрывает, что ее отец священник. Но соседи откуда-то пронюхали, знают. Уж этот город! Поминать нет охоты. Чужой. Нелюбим. Пока дойдешь до школы, шпана не раз приярится. Вроде ненароком: дай, мол, закурить. Притормозят, остановят, карманы повывернут, спуют все стоящее. А если начнешь рыпаться, поймаешь оплеуху. А то и по зубам. Не отметили — считай, что потрафило, счастливо отделался. Впрочем, может и зря я все пою Лазаря. Меня-то редко тузили. А последний год жил, как у Христа за пазухой. Среди самых оберархаровцев у меня заступничек изыскался. Сам Вовка! Первый хулиган города! Вовка Таракан, или, как его еще величали, «Тараканья смерть». Отчаянный забияка. Весь город его страшился. С ним никто не связывается. Даже большие, взрослые. Всегда с финкой. Чикаться и цацкаться с вами не станет, раз под ребрину и — готов, поминай как звали. А кому охота под нож лезть? Но ко мне он вот присосался, хочет задушевную дружбу водить. Говорит: «Ес-

ли кто пристанет, скажи, что брат Вовки. Так и скажи». Раз, значит, прибегнул к паролю. Назвался братом Таракана. Произвело отрезвляющее, лепое действие. С ходу отлезли. Вспомнят. Много времени спустя. Уже годы превратных заключений, которые сверзились на меня, как обвал. На вахте, значит. Развод еще не начинался. Темень непроглядная. Стоим у ворот, переминаемся с ноги на ногу, и, как водится, матюгаем нарядчика. А злыдень-то холод лютует, пробирает, лезет под слежавшийся, негреющий 2-ого срока бушлат. Сучий потрох нарядило, как назло, мешкается, резину тянет. Ему что — в тепле, сидит там чин-чинарем, только попердывает. Кто-то, проциപ്പнув рукав бушлата, дерг меня, дерг, потянул:

— Дантес?

— Обознались, — говорю. Ухо держу остро. Пытливо, мнительно всверливаю глаза, поспешно, усиленно перемаываю память: что за фрукт? откуда? — Я не Дантес. Я знал Дантеса. В детстве. До войны.

Разинул изумленную варешку. Стоп машина! Мир-то как тесен, батенька! Да ведь это мой разлюбезный покровитель, Вовка. Черт! Тараканья смерть! Наш громило! Еще шибче стал с тараканом схож: усы тараканьи, торчат, почти шевелятся. Здесь на комендантском ОЛПе, его кликали — Корзубый. Не было вовсе передних зубов. Где-то утратил. Может, результат недоедания, голода, цинги, может, высадили. В этой жизни разное случается. Не упомнилось, какая у него статья (точно: не 58-ая). Грозной репутации, которую ему приписывала молва в городе, здесь вовсе не числилось за ним. И к былой, опасной славе он не рвался. Так — шпынь гороховый, кривляющийся, гримасничающий болтун, пройдошистый пустомеля, лагерный пустобрех. Здесь никто перед ним не заискивал, не мандражил. Видимо, я переменялся еще разительнее: Таракан не мог никак отождествить меня нынешнего с тем нелепым обормотом, за которого когда-то стоял горой, как если бы я действительно был его меньшим братом, родной кровинкой. А, признав наконец, взорвался неестественным, нервным, обидным для меня смехом, будто какое чучело зимогористое узрел.

— Указ? — не столько спросил, сколько объяснил он мое пребывание за колючей проволокой.

Я отверг его предположение:

— Фашист.

Он сделал мину, понимающе потряс головою. Мол, так и думал, хотя не только думал, но и предположил он нечто другое. С ходу плескнул на меня ушат лагерной риторики, которую, естественно, снабдил обильным матом, угловатой

жестикующей, принялся учить меня, как жить, как не согнуться в борьбе за выживание, спастись. Его прописные рецепты, вроде «умри ты сегодня, а я умру завтра», мне не клеились. Я был поражен благородною проказою идеализма. Следует еще присовокупить, что к этому времени начал получать из дома добрые посылки, потому вопрос о физическом выживании остро не стоял на повестке дня. Общего у меня с Тараканом, кроме того что земляки, знали когда-то друг друга, ничего не было. Наши дороги и раньше не шли близко, а нынче вовсе и радиально разбежались. Он угадал мою отчужденность и отвалил с моего горизонта... До школы часто провожала меня мама. Отнюдь не из-за шпаны, хотя шпана маячила на каждом углу и перекрестке: балдели. Дело в том, что я почему-то попадал все время в странную ситуацию: не умел дорогу до школы найти! Плутил, петлял, путал. Не считайте, ради бога, что я нарочно придуривался. Если бы вы меня знали в те годы, никогда бы так не подумали. А школа-то наша была близко, прямо-таки рядом, но к моему горю не прямо на Пушкинской, а на соседней — на Негорелой. Мрачное, буро-красное кирпичное здание, еще с незапамятной дореволюционной эпохи здесь всегда было что-то учебное, не то реальное училище, не то еще что-то; кажется, сам Фурманов, чапаевский комиссар, учился в этих стенах грамоте. От нашего дома прямоком в школу не угодишь, хотя со двора ее видать отлично. Глухой забор, за забором — стройка. Вернее, одно название, что стройка. Так: что-то разворотили, разрушили до основания чьи-то деревянные хибары, затем завезли кирпич, отгородили. И — стоит годы. Получается, что прямоком до школы нельзя, а надо Химико-технологический институт огигать. Вроде — просто. Но не тут-то было. Я путаюсь, затмение какое-то: не нахожу школу на месте, где ей, по разумению моему, надлежит быть. В чем подвох, не знаю. А вот в Качалове даже в лесу не плутаю, запросто, преспокойненько, не аукаясь, выхожу. Имею знание, в какой стороне село. И вовсе не по солнцу, а как-то так, наитием, нюхом, как зверь. Хорошо летом в Качалове: уйма грибов. Между прочим, грибом-то мы только белый значим, а эти бесчисленные подберезовики, подосиновики, боровики никто не берет. И уж, конечно, опенок не считается грибом. Да какой это гриб? Так, недоразумение, поганка, на пнях растет. На всю жизнь сохранил предубеждение. Теперь-то я соглашаюсь, что это гриб и неплохой. И буду есть. Но собирать — неинтересно. А ягод сколько в тех местах. Земляника, малина, черника, брусника, гонобобель на болоте. Неслыханная рыбная ловля. Прямо скажу — лафа здесь.



А город — чертовы классы, изнурительная пытка азбукой, таблицей умножения, географией, историей Панкратовой. И проклятая Урарту! Незапоминающееся стихотворение «Ем-шан» — оскомина от него. Учусь-то я туго. Замучил маму, которая спит и видит, что вдруг, чудом, не мытьем, так катаньем, я постигну премудрости школы. Корень учения горек, плод — сладок. За ученого трех недоученых дают. Учение — свет. Если бы не мама, если не ее доука. Если бы не брала она в голову мои отметки. Да что и говорить! Испытываю саднящую боль, когда она раскрывает замызганный дневник, видит каракули, кляксы и каллиграфическим почерком выведенные отметки, которые свидетельствуют, что ее ненаглядный сынуля балбес, чурка, глуп через край, олух царя небесного. Еще: если бы не зловредная, придирчивая училка, может, и в городе мне не было столь худо. Вообще-то отметки, которыми пестрит дневник, меня нисколечки не колышат. Даже не укладывается, как это можно так полошиться, мучиться из-за того, что мне в дневник «Пл» заярили. Это выше моего разума. И на ребят, которые надо мною смеются, я не обижаюсь. Чувствую, что на самом-то деле они ладно ко мне относятся, во всем потрафляют, ищут со мною дружбы, взгляд и улыбку ловят, а этих самых отличников — чураются, ненавидят. И — лупят. Вот Шилов, которого за одну выходку в классе прозвали Дантесом, из отличников отличник, а ему тут темную соорудили, нещадно, очумело дубасили. И, если бы не я, забили бы, как говорится, родных бы, не узнал (во всяком случае, если бы он и узнал родных, то они-то его никак не узнали). Две недели со страшной дулей под глазом ходил. Не любят его. А почему? Воображало. Бахвал. Зазнайка, задается, возносится. Так-то. А мама пробуравила мне душу, и я готов в герои, на подвиги, но не в силах сделать самое простое: постичь, задержать и донести до урока в хилой, дырявой памяти, что на территории СССР первое государственное образование — Урарту. Свет не мил. Уже в четвертый раз мама читает мне вслух одну и ту же страничку, один и тот же абзац, а в моей голове по-прежнему плотный, глубокий вакуум. Слова никак не проникают в уши, не переполняют их, отлетают. Ну что тут поделаешь, что у сынули не хватает в башке серого вещества и он туп, как сибирский валенок. Взмыленная, порядком притомленная моей бестолковостью мама оставляет меня в покое, выходит на кухню. Не все со мною валандаться, учебник мучить. Надо и по дому хлопотать, обед состряпать. Наконец-то предоставлен себе, забыл невзгоды, утеснения. Трын-трава. Бездумно, легко, чудненько. Чему-то смеюсь, гогочу,

обалдело и идиотски ору. Сам с собою играю, услаждаюсь, резвлюсь; с собакой забавляюсь, прыгаю, вышколиваю, натаскиваю смышленную псину на таблицу умножения. Вошла мама. С тоской смотрит на мои вечные нелепости. Опять, мол, свое! Молча взяла учебник. Сардури I, война с Ассирией. А еще, между прочим, задано стихотворение «Емшан». Наизусть. Но это сверх моих силенок. Организм не тянет. Чаша переполнена. Болезнь — протест, ответ на изнурение, попрание детства. Не симуляция, не хитрое притворство, а я чуть чалку не отдал: брюшной тиф! Жар, во всю температуру лезет, заговариваюсь, бред. Уж невдомек, где заправдашнее, а где недуг, галлюцинации. Дикие прыжки черных, страшных химер, словно они спрыгнули с собора Парижской Богоматери, явились пугать меня. Ад и пекло. Дым столбом, свара. Рукопашная. Куча мала! Тузим, лупцуем друг дружку, увечим, чем попало. Стук секир, звон мечей. Есть упоение в бою. Героический эпос. Коня, коня, полцарства за коня! Амба. Каюк. Пиши — пропало. Рванули, как олени, тикать, бросив многоценную добычу.

Сырчан залег в Донских степях.

Отрок в горах Кавказских скрылся.

Эй, кабы, да знать бы, где потеряешь, а где найдешь! Там, в тридесятom царстве: где теперь я царь, неслыханно жарит солнышко, море теплое, как парное молоко, ласковое, а небо безоблачно, сине-пресинее. Рай, сказка. Так жить можно. Так и дурак проживет. Каждый день застолье, подаем. Алаверды, опять алаверды. И хлещем не зелено вино, не брагу медовую, не сивуху какую-нибудь, перегонную, дрожжами воняющую, а все вина марочные, животворные, очень отличные, тонкого букета, здорово веселящие сердце, легко пьющиеся: Цинандали, Мукузани, Хванчкара, Кваренги. И, конечно, Кинзмараули. И богат я чертовски, как Ротшильд. Денег — куры не клюют. Искупаемся утречком, снова застолье, до которого горазд, опять алаверды. Вам и не снилась такая житуха.

Но вот скончался Мономах,  
И на Руси туга и горе.

Сорока-белобока на хвосте приволокла новость. Сырчан-то, говорят, на Русь в поход собрался. Сквитаться хочет, мстить. И охота была на рожон лезть? Дурак, шушера, зараженный ум. Насквозь его вижу. Головорез, фанатик. Знаю его помышления. Миннезингера заслал, с бандурой. Пусть. Искусство. Это можно. Почему не послушать? Хорошо поет, собака! Какие рулады запузывает. И при этом брэнчит.

Про степь все. Про муравы разные. Со слезою. И ветры хмельные. И удаль половецкую. Эх! Там бубна звон, гитары стоны, там пляски, песни воли и полей. Эк, куда клонит! Ловлю иносказание, намек. Но пускаю мимо ушей. Блажь. Надо на земле жить, а не в облаках витать. А жизнь хороша. Живой собаке подавно лучше, чем мертвому льву. Не наступайте на любимую мозоль. Укатали Сивку крутые горки. Хоть тресни, а с места не сдвинусь. Я в сердце твердость воздвиг. Фи. Распелся тут, а глазами, нахал толстопузий, наглец, так и шныряет, так и рыщет. Да как твякну: «Вон, вонючий лизоблюд!» Да как ногами сумасшедше затопаю. Куражусь: «Отриньте искусство!» Отзыньте. Не морочьте мне голову. Хватит. Осточертели. А этот наглый, бесчинный субъект, предерзкая тварь, бард ряженный, поганный, сует мне что-то под нос, дрянь какую-то сует. — Дыхни, — говорит. — Что? — Нюхни, — говорит. Убери поганые грабли! Знаешь, кто я? Видишь серебряный посох? Видишь? Да я тебя, подлеца, за можай, куда Макар телят не гонял. Держи двери! Александра Македонского извели, отравили, за меня взялись? Что дрожишь? Виноват? Отвечай! Дай сюда эту гадость. Ну? Что? Ну и нюхну. Ну? Полынь. Блядь буду, полынь. Лопни глаза. Однако!... Забористо. Душновато. Скучно жить на этом свете, господа! Диво дивное: как из рога изобилия, брызнули фонтаном сладко-томные воспоминания. Воронка в глубинку сердца. Тоска тоскучая в груди спеет, во всю наливается, бухнет. Меланхолия емшанная, бездонная, беспросветная, хоть несчастным шакалом вой. Окрутило. На крючок, словом, сел.

Затем будто бы я обмолвил крылатую, занозившуюся в века фразу, вошедшую в учебники:

— Лучше мне на своей земле костью лечь, чем в славе быть на чужбине.

С воплем крепким:

— По коням!

И рванули скороходные, ненасытные волки на окаянный город. И сравнивали с землею его. Но вот интересное кино получилось: не ненасытные волки-мстители на город напали и не крысы, то мы с Витькою-заикою во славу гуляем и творим пакости и глумы великие. О, святое лиходейство! И разом порешили их Пушкиных, Коперников, Магелланов. Языки резали, глаза кололи, ноздри рвали, а тела-то окровавленные голодным псам бросали. Метампсихоз, переселение душ. К тебе взываю, великий Пифагор! Хочу поболтать с тобою с глазу на глаз о моих блужданиях в веках (в теле или без тела — не знаю). А, может, все это соблазн? Козни парнокопитного?

Люди умные говорят, что в болезнь, как в монастырь уходят: от жизни бегут, укрываются от ее напастей, скверны. Ведь до школы я ничем не хворал. А тут пошло-поехало. Чуть что — немогота, температура. Все болезни перепробовал, о которых слышно было в провинции в 30-е годы.

Накрылось волчье времечко и пришло лето красное. Теплынь. Меня, как всегда, закидывают в Качалово. Гора с плеч. Хворь уходит, как вода с гуся. Эх, первым делом сорвал со стены кнут! Угорело на улицу выскочил, махнул, навично вперед подал, уверенно пустил его и — на себя упрямый рывок: трах-тах! Как из охотничьего ружья! Раж, счастье. Ведь кнут-то у меня не игрушечный, а взаправдашный. Как у взрослого пастуха, только маленький. С таким подпасок ходит. Ловко я насобачился хлопать и за мучительную, долгую зиму нисколечко гожесть не утратил. Еще раз! Хлобысть! Не плоше, чем у деревенских. Похлеще даже. Давняя, сладкая страсть, которую втихаря я лелею, вынашиваю, хороню от мамы (проведает — расстроится): вырасту — уйду в пастухи. И непременно, чтобы в Качалове. Нет доли завиднее и медовее, чем коров пасти. Одна напасть: придется с петухами и солнышком глаза продирать. Муторно. Охоч я поспать, сибаритски понежиться утречком. А еще страшат: «снега не будет — всю зиму пропасешь». Уговор такой. Исстари: пасут до снежной заварухи. Но бог не выдаст — свинья не съест. Снег-то в тамошних местах ранехонько ложится. На Покров обычно. Втихаря, как рачительный монах, молюсь «неведомому богу» (слышал, в храмах древности был жертвенник «неведомому богу»), чтобы сделал меня пастухом, чтобы не знать мрака школы, высвободиться от пресных, сухих, нудных истин, чуждых нежной детской душе.

Не сподобился омечтанного жребия. Не было, видать, подлинного призвания. Говорят, что талант нельзя зарыть, что прорвется, легко и запросто перешагнет через эдакий мизер, как «слезы бедных матерей» — пресловутые. Святой Симон уж на что любил свою старуху мать, но оставил ее, подался в монахи, притом утек тайно, никому не сказавшись. Пропал — с концами. А это самый любимый святой Восточной церкви, потягается и с Николаем Чудотворцем. Видать, улавливал я шестым чувством, что профессия пастуха не только для моей родни, ну, там мамы, бабушки, крайне малопочтенной видится, но и разлюбозные моему сердцу качаловцы смотрят на пастухов, как на цыган поганых. Шваль, ничтожество, никчемнистые, никудышные людишки. Бабушка, видя мою ревность, ложный полет помыс-

лов и фантазии, выдала очень знаменательный, ехидный, въедливый пестунчик:

Кончил курс своей науки,  
Сдал экзамен в пастухи,  
Взял кнутище в обе руки  
И пошел коров пасти.

Прошли годы.

Тут накололся на «мистический амулет» Паскаля. Потрясающе!

«Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова  
Не философов и ученых»

Разом всплыла на поверхность сознания заветно-беззаветная мечта-мечтанка. Почему? Ассоциации: и Авраам, и Исаак, и Иаков пастухами значатся. И — Моисей. И — Давид. И Апполон, младший брат-близнец Артемиды, приснославный олимпиец. И Отрок, который по отцовской линии числится в моих далеких предках и кем, видимо, я был бесспорно в моей предшествующей жизни, если, конечно, в учении орфиков, в индийских Сансаре, Карме есть хоть доля от истины. Пастухи первыми поклонились Младенцу, найдя Его в яслях. И еще: «И овцы слушают голоса Его, и Он зовет своих овец по имени».

Кавардак.

Раздерганные, неприученные, беспризорные мысли, как юркие клопы, бросились в разные укромные места.

Сквозняк и злая непогода на душе.

Одно утешение. Видать, на роду другое вписано. Не было предназначения, предначертания. Не пало на мой фант в пастухи топать. Конечно, в ином сиянии зрится мне сейчас образ пастуха. Не ставлю и на иоту под сомнение чистосердечность Эйнштейна, который на смертном одре скорбел, что в свое время не избрал профессии водопроводчика. А подумайте, насколько пастухом-то правильнее быть. Не знаю, как вы, читатель, но если бы мне выпало свободно выбирать, кем быть, пастухом или слесарем-водопроводчиком, ни секунды не буриданясь, подал бы голос за древнюю профессию. А на Кавказе, где я когда-то царем был, пастухи живут на диво долго, много свыше ста лет. Неспроста, видать. Что-то есть в этой профессии. Но с другой стороны скажу, что очень хорошо, что наши самые горячие мечты, молитвы и мольбы вроде бы не услышаны Небом. Ведь мы, профаны близорукие, недоумки, просим у Бога и сами мало смыслим, что просим, что должно проистечь в вещном, чтойном мире, если наши мольбы будут услышаны: испол-

нится, притом исполнится буквально все, что мы, недотепы, просим. У Эшби очень поучительный анекдот про амулет, обезьянью лапу.

«Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?»  
(Иов, 38.2).

Качалово — экзистенциальная моя родина, отчизна глубинная, и почва, и чрево, и святая купель.

И — первая любовь.

И — последняя, вечерняя.

Наше село — знаете ли, не из простых, а имеет гордую повесть временных лет. Вроде бы тащится тонкая, но прочная ниточка-веревочка к славным московским царям, кропотливым собирателям земли русской. Не то у нас сидел в бочке из-под капусты, хоронясь от Тахтамыша, великий князь Московский Дмитрий Иванович, не от Иван Сусанин из здешних мест родом, а вовсе не из села Домнина, как превратно считают некоторые историки, не то еще что-то такое колоссальное стряслось в прошлом. Словом, в незапамятную седую старину Качалово очень даже проявило себя, отличилось, прославилось, а качаловцы прямо-таки спасли Русь. Не меньше. Чужаку, к примеру, отцу моему, непременно пойдут объяснять и заталкивать, что, мол, качаловцы не просто русские, а каким-то образом сугубо русские, чуть ли не самые-просамые русские. Уж во всяком случае не чета «костромским двуногим меринам». Не зря поди и село-то наше зовется:

— Рус.

— Как же Рус. когда Качалово?

Не сконфузятся нисколечки. Вообще-то, конечно, и Качалово, но и Рус. Рус вроде бы вернее. Вот и Кострому можно назвать и Костромою, и просто город. Словом, будет пропихиваться смелая, прямо-таки чадная идея, что каким-то таинственно-мистическим фортелем вся наша великая земля на них, качаловцах, как на трех китах, стоит и держится; что из села нашего, значит, явилось все русское, отсюда есть пошла земля наша, а может, и вся необъятная вселенная — кто знает! Кстати, в Качалове есть и Романовы, и Минины, и Сусанины, но больше Гавриловых; Гавриловых — добрая половина села. К превеликому сожалению, в те годы я не больно интересовался былым Качалова. Отчасти по малолетству и тщедуумию, отчасти потому, что времечко выдалось негодное для проникновения в туманную ретроспективу Качалова и его изначальные времена, предания. Не только прошлое моего села, но и история всей России виделась нам, юным пионерам, подрастающей желторотой генерации, дыркою от школьного бублика, мракобесием,

деспотизмом, суеверием, тупым чванством, идиотизмом, русской дурью, упорным вечным хамством, злобною, угрюмою татарщиной (надо же, отлили царь-пушку, которая ни разу не бабахала, и царь-колокол, который не звонил. И блоху подковали!), поганой, гримасничающей пошлостью, историей города Глупова. Россия — застойное, гнилое болото, вонючее, лишенное актуального исторического бытия, азиатская деспотия; ее исторические деятели — безумные Павлы, Николаи-Палкины, Николаи-Кровавые и их лакеи: Тит Титычи, держиморды, Угрюм-Бурчевы, самодуры, «секуны и серальники», Кирилы Петровичи Троекуровы, Дарья Николаевны Салтыковы. Чернышевский: «Жалкая нация, нация рабов, снизу доверху — все рабы». Презрение к старине, ко всему русскому носилось густыми клубами в воздухе, было общим местом, банальностью, трюизмом, аксиомой. Мой отец, уж на что был человеком, не шедшим в ногу с великою эпохою, огорчавшимся по таким пустякам, когда какой-то там монумент Скобелева сняли, переименовали «по желанию трудящихся» Нижний Новгород в Горький, но и он лишь посмеивался над безудержной фанаберией малограмотных качаловских любомудров и Филофеев. Ныне я преодолел гиперкритицизм по отношению к прошлому России (тоже дух времени!), считаю, что было бы очень не вредно обрести полноту исторической памяти. Мне представляется, что не вовсе на пустыре, поросшем бурьяном, расцвели те нежные, милые моему сердцу басни и апокрифы. Что-то было. Почему-то в 13-ом году, когда земля русская браважно справляла трехсотлетие дома Романовых и последний, вскоре свергнутый и убитый в Екатеринбурге царь наведаясь в нашу глухомань (что-то его потянуло!), притом от самой матушки-Волги мимо обильнокарповых Витовских прудов пер пехом (а это — верста с большим гаком) до дедушкиного храма Вознесения, приложился к иконе преподобного Тихона, которую владыка ему выволок, сказал ласковое словцо владыке и моему деду, сел в коляску и укатил в город, луковки монастыря которого и новый железнодорожный мост (вообще-то мост построен еще до революции, но его упорно называли «новым») через Волгу хорошо различимы в погоду, если повыше забраться на каменную церковную ограду. Малоправдоподобную легенду о навещении Качалова царем я не раз слыхивал в детстве, любил эту волнующую, немыслимую историю, что вовсе не мешало мне надеть пионерский гастук и вместе со средою ликовать, что вокруг нас строится новая, светлая, справедливая жизнь, жизнь без царя и всяких эксплуататоров, помещиков и капиталистов, жизнь без богатых и бедных. Де-

тали и подробности примечательного анекдота сильно разнились в зависимости от того, кто повествовал, так сказать, чьими глазами увидено было. Мама гнала сагу, что чудотворную икону сподобился вынести ее отец (то есть: мой дед), притом на этой версии очень настаивала, обижалась, если ей перечили и указывали, что такого и быть не могло; бабушка сказывала, что икону вынес дед, но держал ее владыка; глянув на маму, поспешно сворачивала со скользкой темы, перескакивала торопливо на анекдот, как Нюра (та самая, что под утопленницу рядилась) про каждого генерала, летящего к Качалову в туче всклубившейся пыли, со священным ужасом пыталась:

— Это, что ли, матушка, царь?

Рассмотрев в упор царя, оцарапалась заголенным сердцем, сетовала, почему это батюшка-царь такой? Знать, народный стандарт требовал иного вида для помазаника божьего, и в ее горячем воображении царь куда был более красносотрительным, чем тот, что предстал ее взору. Она ждала, что царь будет богатырского роста, с длиннушей, как у Черномора, бородищей, черной, чуть с проседью, и уж непременно на маститом белом коне. А у коня того — из ноздрей огонь! Увы и ах! Она увидела человека среднего роста, стройного, худощавого, пригожего, даже как-то не по возрасту молодежавого, идущего легкой походкой — без парада: в длиннополой шинели без знаков различия, с обнаженной головой; а это значит: без шапки Мономаха!

Царь шел.

Приближался.

Нашинские и окрестные мужики бухались на колени по обе стороны дороги; усердно, истово, до земли хребты гнули, а землю, по которой ступала нога самодержца, вдавив след, лобзали, собирали для хитрых надобностей: против сглаза, порчи, для врачевания недугов, в частности, против зубной скорби. Мама уверяла, что уже тогда прочитала на лице царя обреченность, его трагическую судьбу: оно было уныло, утомленно, конвульсивно подергивалось при сухих щелчках затворов фотоаппаратов. Вот он быстро подошел к иконе, наклонился, коснулся губами — прильнула жизнь. Прямо-таки ожил, окинул собравшихся ясными, голубыми, чуть лукавыми, улыбающимися глазами, улыбнулся всем и каждому в отдельности, улыбнулся ясною, милою, простою, доброю детскою улыбкой. В улыбке царя было что-то особенное, запомнившееся, что заставляло маму упрямо подыскивать разные эпитеты: «великолепная улыбка», «удивительная», «царская», «божественная». Затем царь сказал что-то владыке, что-то моему деду.



— Так недавно, — с грустью говорила мама, притом было не очень ясно, о чем она сожалеет, — о быстротекучести жизни, или о судьбе самодержца.

А в 18-ом году свистнул Стенька Разин — замутилось Качалово, рвануло неистово грязною, вонючею пеною смуты, расхуторениями, черными переделами и аграрными пехухами. Погуляли мужички по усадьбам, поцапали, поцапцарапали что лежало плохо и что было глубоко надежно схоронено. Глухая к исторической перспективе и прогрессивным модам времени заунынилась, закручинилась бабушка; и теперь вмазывала суровую, беспощадную эпитафию богоносцу, которого еще вчера чтала, как икону угодника Тихона:

— Поганый народец. Тати, пьяницы, бражники, лодыри.

Отмечу, что ничего рядом и близко лежащего не слышал я от деда. Он священствовал в Качалове более полувека, паству знал, как облупленных: они, чай, не в великих добродетелях ему на духу каялись. Заманчивых и липких романтико-славянофильско-народнических фантазий у него вовсе не водилось, а качаловского богоносца он насквозь видел, как под чутким рентгеном. И много глубже. Но дед был человеком большого благоутробия, жалел прихожан, умел за их скверностями, слабостями, пакостями видеть и хорошее.

То о том, то о другом бывало скажет эдак просто: — Хороший мужик.

Ну, к примеру, о Солнце, о соседе нашем, огненно-рыжем, горбоносом Витькином отце; а бабушка не удержится, встрянет, внесет жесткий, суровый корректив.

— Пьянь стрюцкая. Крышу бы залатал. Гниет дом.

— Да, дом гниет, — смиренно капитулирует дед (как в притче о мудром раввине: «и ты права!»). — Хороший дом. Жаль мужика. Изрядно забеспутил Василий.

За бабушкой всегда последнее, непререкаемое слово — повелось.

— Дурень! — как костыль загнала: по самую шляпку.

А у Солнца большая «мечтанка» (его давнее, чудное словечко; жутко полюбилось оно мне и странно открылось; и протащил его сквозь жизнь, как ни отучала мама, как ни хмурилась, втемяшивая, что такого слова нет в русском языке, что говорить так «некультурно»): напролет все дни, одержим сонмом бесов — в поисках витовских кладов. Это все началось у него сразу же, как его сынка кикимора пуганула. Плот с навесом сварганил. Тяп-ляп — готово. Дно багром мучает, настырно, тупо, как маньяк, скребет его, удачу вылавливает. Померещится что — бултых головой

вниз, только эти самые, как в задорной, веселой детской песенке о Садко, заморском госте, сверкнул. И, как нырок, под водой держится, аж за него порою боязно. Вдруг утоп, не всплывет больше. У дна с открытыми глазами пребывает, вызыривает клады, врзается упорно в подозрительные участки дна. Потому-то глаза воспалены, ярко-брусничные. Ну, само-собой и от родимой. Солнце всю дорогу навеселе, а в его командирских, суконных, широких, как море разлитое, галифе всегда маленькая, за 3-15, и пачка «Казбека». Пьет он люто. Семью забросил. И в колхоз почему-то не пошел, а «ишачит на болоте»: «Худо нам в деревне пряники жевать». Да, на болоте. И понимать это следует буквально. А то я опасаюсь, как бы читатель, увлеченный гением Солженицына, не решил бы, что Василий из Качалова в Ленинград на заработки уехал. Да, то самое болото. Гнилое. И мамонта в нем нашли. И, говорят, в нем Сусанин увяз вместе с несметным скопищем гонористых поляков. А бабушка считает, что напрасно Василий в колхоз не вошел, уклонился. Его бы в председатели двинули. Ведь он герой гражданской войны, боевой командир! Ведь у него красный орден! Крыла бабушка председателей почему зря, но с ее точки зрения все же получалось, уж лучше Солнце, чем вся эта шантрапа и мазурики. Замечал, что по отношению к Василию бабушка не очень последовательна: и сурово судила, и явно любила рыжего непутевого зятейника.

А я-то как понимаю Солнце, притом чем дольше живу, тем больше проникаюсь и понимаю. Если у тебя «мечтанка» — брось все, отдайся пламенной мечте. Никаких уступок, компромиссов. Вперед! Только вперед! За двумя зайцами рванешь, — ни одного не поймашь. Если бы не мама, которая спит и видит, что я выучусь, в люди выйду и буду, как все, а еще лучше — инженером, если бы не бабушка, которая и без того страхом томима, что мама не отпустит меня в Качалово, если бы... Эх, да что толковать! Без оглядки искал бы затуленные витовские клады. Внутренний голос твердит мне, что клады на том месте, где Рыжий увидел кикимору. От берега недалеко. Знаю я, где они. И зовет меня Солнце в напарники, меня именно, малолетку. Может, шутка, а может, и нет. Он любит, когда я к нему на плот забираюсь, советы проникновенные даю. Так-то. Скользнет счастье шустрою щукою, ухнет хвостом — только ее и видел, а второй такой в жизнь не выудишь. Спешит: пруды спускать будут.

Мама о моем жребии зело печалится. Да и как за жизнь такого убогого несмышлениша, потрясного безнадежного

тупицы, олуха не страшиться? У всех людей дети, как дети, только у нее одной форменный идиотик. Полная страхов за мою судьбу, она строго-настрого запретила деду таскать меня на религиозные обеды, причащать (неужели дед так ни разу меня и не причастил? Не припомню.), вообще вести при мне, слабоумке, гнилые, вредные, ядовитые разговорчики, которые могут вывихнуть и без того никудышные мои мозги, напрочь сбить с толку, уклонить от линии жизни и перспективы. На таких тяжелых кондициях дозволялось мне жить в Качалове. Но бабушка то и дело нарушала веления мамы (я не выдавал), исподволь, а то и прямо пичкала чем-нибудь злокачественным (между прочим, не в коня корм: у меня, как и у моих сверстников, было предубеждение к рассказам о прошлом), неподобающе крыла местные власти (что греха таить, не только местные, но и тех, кто там, в Москве, высоко, у пирога, словом), притом изображала их монстрами, злыми супостатами, слугами сатаны, взалхлеб превозносила «доброе старое время». Трудно это уразуметь, но для моей отсталой, религиозной бабушки, в корнях которой тысячелетнее поповство, самодержавие оборачивалось не формой правления, притом устаревшей (естественная точка зрения для нас с вами, читатель, и вообще для просвещенного европейского сознания), а как бы явленной самим всеблагим богом милостью, которая не есть и не может быть умышленною, человеческою данностью, а являет собою нечто безусловное, абсолютное, сверхъестественное, потому его надо рассматривать и воспринимать не в ряду категорий правовых, юридических и т. д., а в ряду понятий теологических, вероучительных, мистико-онтологических, вводящих в горнюю область веры, притом именно кафалической, православной веры, а не выводимых из вне-религиозных, цивилизных, дольных предпосылок, модных, злободневных поветрий, таких как пресловутые права человека, гражданские свободы, справедливость, равенство, народное или государственное благо, преходящая мода на тот или иной политический строй. Дед никогда, насколько я помню, не нарушал заветы мамы.

Дед уехал от нас обкатанным. После затянувшегося молчания пришло письмо. Не сохранилось. Жалею. Дед писал, что не оставит Христа, примет все пагубные беды, всю горечь горших дней. Он просил извинения, что не сдержал слово. И еще в письме, помню, было нечто странное, меня пуганувшее: вроде бы за то время, что дед гостил у нас в городе, «потемнели иконы». Что бы это могло значить? Аллегория художественная для красного словца или на самом деле что-то было?

Листы письма у мамы. Она бросила читать, смотрит в стену так, словно на стене появились слова, написанные кистью невидимой руки: «мене, мене, текел, упарсин», смотрит сухими, страшными, как у рехнувшейся, глазами. Она глядит в стену, и это тянется долго, целые столетия. И — о, наконец-то! — кликушески очумело, как полоумная, заголосила.

Я боялся, что мама прямо тут так и умрет.

Переупрямил, выходит, старик маму.

Все сбылось, как предрекла мама. В точности, даже быстрее, чем она пророчила. Впрочем, не надо быть пророком Даниилом, Кассандрой, Тересием, Нострадамусом, чтобы такое вычислить. Ночью, когда село спало, пожаловали за дедом энкаведешники, умыкнули в город, а там через две недели судили. Мама хорошего адвоката не успела найти. Да и какой прок в этих адвокатах. Только деньги тянут. Нанимаем для очистки совести. Судили деда. Впяляли полтора года.

Мое первое горе. Подшиблен, подранен. Не укладывается. Как же так? Он же старенький, согбенный, беззубый. Ведь ему за семьдесят. Хотя сгребли его не по 58-ой, а за то, что вовремя не заплатил налога за церковь (налог-то каждый год увеличивали вдвое, душили), но мама имеет страхи, что дед и того не протянет, быстро окачурится в лагере.

А любил меня дед, как никто, души не чаял. Позже мама уверяла: я весь в деда, упрямый, гуляка, пьяница. Традиционное мнение: русский батюшка должен иметь слабость к хмельному, это как бы по чину, ну, как сапожник. Но я не припомню деда за бутылкой. Один случай за все годы. Лесник дрова ему устроил. За услугу дед и угощал лесника, раздавили блондиночку. А как же без этого? И дед, конечно, пил с гостем, раскраснелся, помню, весь. А бабушка вся извелась. Шландала туда-сюда, нудила, скрипела телегой колхозной, немазанной:

— Поп с мужиком пьет! Позор!

Вообще-то в те годы я понимал, что церкви надо закрыть и сравнять с землей, что от них мрак и одно поголовное невежество. И чем поспешнее, тем лучше. Но это все умом, а сердцем я прилепился к деду, жалел доброго старика. Зачем его морить в лагере? И так осталось немного: пусть бы умер своею естественною смертью. Их, стариков-орешков, не перекуешь. Годик, от силы два, и неподдающиеся христороубцы вымрут, как карпы витовские и мастодонты камчатские. Церкви никто навещать уже не станет. Они закроются сами собою за абсолютной ненадобностью.

Дед под Ярославлем в лагере погублен был.

Это в ИТЛ общего типа, где верховодили блатари-уркаганы. Не приключись брань с Гитлером, возможно, сдюжил бы дед лагерь. Ностряслась война. И до войны-то жизнь была не мед, а тут вовсе худо сделалось. Всем. И тем паче в лагере. Ведь ИТЛ запланирован не как пионерский Артек, а для массивованного перевоспитания и перековки сознания. Но как ни велика роль труда в процессе очеловечивания обезьяны, но все же недоедания и некоторые формы изнурительного труда не для всех гоже воспитательное средство. Не для стариков — уточню. Уже по окончании войны доползли до нас шу-шу-шепоточки, что кончался дед зело тяжело по вине дистрофии, завершившейся лютым дизентерийным недугом. По прикидке мамы немного не дотянул дед до смены курса политики. Вы, вероятно, не очень знаете, что с началом войны переменилось отношение безбожной утопии к церкви и православию. Все для победы!

Умирать надо дома, на своей постели. Нет, я далек от мысли повторить за поэтом: «согрей последней лаской женскою мне горечь рокового часа». Я, как вы, наверно, успели заметить, не ханжа, но это уж слишком. Это чересчур! Это какая-то гадость. Вдумайтесь! Вдумайтесь! Мету надо знать.

Неладно умирать и на больничной койке.

И на чужбине.

Сколько отчаянной тоски в последних словах Чехова, умирающего в Баден-Бадене:

— Давненько я не пивал шампанского!

Вовсе тухло в лагере. Не знаю, как вы, читатель, а я бы не хотел умереть в лагере. Мысленно и в который раз соперечаю предкончинные часы, минуты деда. Содрогаюсь. Неужто и на йоту ему не было отпущено утешения? Неужто выпало испить злую, тошнотворную чашу до дна и речь загадочные слова: «Боже мой! Боже мой, для чего ты меня оставил?»

Сбереглось всего две пожелтевшие, тусклые фотокарточки с дедом.

Но его помню, притом другим, чем на фотокарточках.

Так вижу. Сидит дед в горнице под образами, на табуретке вроде, а бабушка рядом. Она ловко, проворно, усердно плетет ему многие, тугие-тугие косички; ну — как у узбечки. Забавный дед, несуразный, и я смотрю на эти чудные многочисленные заплетенные хвостики, начинаю безудержно, захлебываясь, гоготать, словно мне матерая смешинка в рот запрыгнула. Так заразительно, утробно смеюсь, что и дед реагирует: глянет на меня — я нырну, прыснув, фырк-

ну шумно, и его спина, вижу, ходуном ходит. Я еще пуще принимаюсь гоготать.

— Ой, грехи, — говорит дед.

— Два дурня: старый да малый, — резонит бабушка.

К слову. В лагере у деда окарнали космы, постригли его, как новобранца машинкой, под «0». Всех стригут в заключении. И меня стригли. И вас, читатель, если попадетесь, остригут. Только нам с вами не проникнуть, что значит для священника быть оболваненным наголо!

Рано. Покаместь еще экскурсия вбок, близехонькая. Вообще-то шибко душещипательная присказка. Подробности канвы сюжета подзапамятовал. Но это не важно. Околевала, значит, в колхозе кобылка, Машка. Ветеринар из района приезжал, признал случай абсолютно безнадежным. Кобылку сактировали, на живодерню нацелили. А на ту беду дед подвернулся. Это до его ареста еще было. Уломал власти, чтобы разрешили ему взять больную, негожую скотину. Может, что-то там и заплатил за нее. Не знаю. Может, лишь слегка умаслил. Вообще-то что-то подобное, незаконное и было, но реальных оснований чего-то эдакое инкриминировать у меня нет. Ну, общие соображения и знание жизни. На моем бы месте Гоголь эту присказку закруглил бы пророческими словами: «темно представляется». Может, и не было никаких нарушений, коррупции. Да это и быльем поросло. Поди, и в живых никого не осталось. Словом, отдали власти колхозные попу полумертвую подышающую кобылку. Дед за нею всю зиму, как за малым дитятей, ходил, молоком, соками потчевал, лекарствами целил, настои трав давал, разные бальзамы: спиртовой настоей на щучьих жабрах, полыни и меду, спиртовой настоей на шафране, ревене, горчичном корне и меду. Еще: проросшая и специальным макарком приготовленная пшеница — очень целительна. Увлекался дед. И вот, извольте видеть, стряслось чудо. Ну, положим, не чудо, не воскрешение дочери Иаира или четырехдневника Лазаря, а с грехом пополам оклемалась тварюга, сбросила недуги-хвори, к концу зимы и вовсе раздобрела на нетрудовых поповских харчах. Здоровущей стала. По причине непредвиденного оборота события не на шутку переполошились местные начальники, заметались, как прусак на жару. Не трудно влезть под их кожанку. Есть из-за чего в штаны накласть. И вы бы, читатель мой, на ихнем месте набрались страха и кальсоны замарали. Времечко, забыли какое было! Революция снизу; в 18-ом попередили Витовские и хуторские земли, а затем, в 29-ом, сверху, раскрушили, раскулачили кулаков-мироедов, раздобревших на хорошо удобренных Витовских угодьях. Весело с гармош-

кою и песнями по стране шагал социализм, круша кулаков и подкулачников, цвели колхозы. И вот, вообразите себе, на этом чистом, сверкающем, ликующем солнце всего одно ненашинское, грязное, гнилое, смердящее пятнышко: в каком-то завшивом, захудалом Качалове, которого и на карте нет, у загребастого попа-паразита завелась частнособственническая лошадь! А? Каково? Нет бы утаил, скрыл, татетно, аспид, держал. Все бы легче. Но тут, оборачивается вроде, что сами потворствовали, попустительствовали, потрафляли. Поблажку дали социально чуждому элементу. А кто так поступает? Известно кто: двурушники. Ну, значит, спохватились они, заваливаются к деду, на скорую руку аттестуются: «Не положено!» Дедушка и сам видит, что развернулось все нескладно, прямо-таки скверно и глумко, а главное, очень уж некстати. Не изрыгая хулы, не поминая, что, мол, сами отдали хворую, умирающую, а теперь, когда душу вложил, забираете, говорит дед: «Не положено — берите». Они конфисковали скотину, а когда вывели ее со двора, повели мимо окон, плохо стало моему дедушке: сердце прижало. Прикипела душа к животному. Ведь дохлятину околевавшую вернул с того света, на мощные четыре ноги взгромоздил. А не зря, видать, заповедано: «Готовьте себе сокровища нескудеющие на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Надрывающую душу сагу про Машку я от бабушки знаю, а она могла и приврать, превеличить для образности, разукрасить, расцветить из одной только лютости к «нечестивцам» — по причине политической отсталости и темноты старушечьей.

В письмах из лагеря, которых за это время было всего два, дед о Машке дознавался. Как, мол, она там, голубка? Жива ли? Мы с бабушкой обещали приглядывать. И слово держали, наведывались к кобылке, что-нибудь приносили, баловали. И меня Машка признавала. По ее синим, умным, нервным, фантастически выразительным глазам видел, что она меня узнает, выделяет, в руки смотрит, не принес ли чего? Не я один, но и другие ребята считали, что кобылка меня знает и любит.

Все нарицали Машку не иначе, как «попова кобыла».

Раз тварюга раздурилась, вошла в шалости, удраповала со всех ног от конюха, вконец замотала подвыпившего мужика. В стойло, знать, не хотела смиренно идти. Вообще-то домашние млекопитающие пьяных не уважают. А кто этого зверя уважает? Со вкусом, витиевато, колерно материл ее Геннадий, кажинный раз завершая сложную, запутанную бранную тираду словесами:

— Чертова попова кобыла!

И, наконец, уловив, привязал к столбу, пошел остервенело, во всю богатырскую силенку кнутищем жарить. Да все по морде! Заядло, бешено, безобразно, неумоимо. Эх, раззудись, плечо! Эх, развернись, рука! Отвел душу. Как, значит, пакостно, в селах наших бессловесную тварь лупцуют. Вообще-то ее, бедовую, уместно было как-то поучить, но не так же, не истязать же живодерски.

А такого кудрявого, пышного, смачного, роскошного, громового мата, как в Качалове, нигде не услышишь. Вся эта божба, переусложнения, нескончаемые и замысловатые «в бога душу сердца крови». Да, забыт нынче подлинный мат. Думается, и непонятен, темен смысл кощунства для современного интеллипупского уха. При чем тут «сердца крови»? Ныне мат уже не тот. Убог, жалок, поверхностен, чахоточен.

И еще о Качалове. В других местах не видывал, а только слыхивал да читал. У Рабле, к примеру. Итак, разлюбезные читатели, нескромный вопросик, знаете ли вы, что такое гульфик? Ну-ну! Точно. На сей раз вклепили в яблоко. Кстати, у блистательного метра Рабле не одна глава посвящена славным доспехам, обстоятельно доказывается превеликая польза гульфиков для рода людского, приводятся прелюбопытные ссылки на древние авторитеты, в частности на «еврейского вождя и философа Моисея». С гульфиками связывается исключительное долголетие древних, что само по себе заслуживает изучения, тщательной проверки. Но, увы и ах! В наш век прогресса гульфик несправедливо забыт и изъят из гардероба мужчины. Утрачена древняя, тысячелетняя культура, связанная с трогательной заботой о столь нежном и важном мужском предмете. Я разрешаю себе думать, если обезумевший от преступлений мир не сгинет от дьявольского атома, то непременно возвратится к добрым старым обычаям. А вот в моем Качалове все мужское население поголовно носило под верхними портами гульфик, скроенный по строгим греческим образцам, которые пришли к нам из Царьграда (возможно, не прямо, а через Балканы) вместе с кириллицей, Великими четьи-минееми, Божественной литургией. Так-то вот. Не сатиновые, синие трусы, длиннущие, до самых колен, какие по последней моде носит надменный город, вообразивший себя шибко культурным, а древний, надежный гульфик надевают качаловцы. Зимой — на овечьем меху, утепляющий.

Помнится, обиняком спросил я Солнце, почему-де качаловские взрослые дяди такие неотесанные дикари, продол-



жают упрямо на тайные уды эдакую смехотворную хреновину натягивать?

Рикошет на мою пытливость;

— Для эйдоса!

А возможно: для поддержания эйдоса. Не внял толк. Посмел уточнить. Опять услышал это странное, волнительное слово. Невдомек мне, что же это такое эйдос и с чем его едят? Почему его следует усиленно и заботливо поддерживать? Какие горчайшие беды проистекут, если носить трусы и не очень печалиться об эйдосе? Какие несчастья навалятся? А что, если жить, как птица небесная, не думать о завтрашнем дне и всецело положиться на русское авось?

Солнце увильнуло от ответа:

— Вырастешь, Саша, узнаешь.

А глаза его, помню, ужасно смеялись.

И вот я давно вырос, уже под горку лечу, старею, но так, братцы мои, ничегошеньки не уразумел, не оседлал до сих пор идею эйдоса. Ношу по-прежнему трусы. Синие, сатиновые, но не такие длинные, как принято было носить до войны. Одним ухом слышал, что настоящие мужчины в наши дни сатиновых трусов уже не носят: немодно. Надо носить белые трусы. И красиво, и гигиенично. В крайнем случае — нежно-голубые или нежно-розовые. Прогресс летит вперед. За ним нелегко угнаться. Где нам, старпердам. Зимую я поддеваю даже кальсоны. Может, совсем это неприлично, но зато тепло. Мне не до красоты и эйдоса, когда мороз за ляжки, как собака, хватает. А вот что такое эйдос, так и не вник. И такого славного, чарующего, въедливого словца и не слыхал с тех давних пор. Не ведаю его нутряного смысла. Втуне алкал, искал. Листал втихаря «Толковый словарь» Ушакова. Рыскал по страницам с тайной надеждой. Ну — нет, как нет. Плюнул. Не все же мне слова знать. А есть еще много неизъяснимо-волшебных, диковинных слов, которые довелось мне слышать только в моем селе.

Представьте картиночку. Качалово. Вот чья-то избенка. Рядом — между голенькой березой и забором натянута веревка; на ней — и на заборе — стиранное: исподнее, всякие женские причиндалы, всякая всячина и — гроздьями исполинского винограда темнеют отменные гульфики, надуваются, как жабы, на холодном ветру.

Ой, а какие петухи в Качалове. Что твои — индюки, громадные, дородные, бойцовые. А их толикокротные, голосистые крики, самовлюбленные, самодовольные, словно Эверест покорили.

— В Костроме был! В Костроме был!

Другой — чисто, явственно, выражая законные сомнения, эдак подъелдыкивает:

— Каково там?

— Побывай сам.

А бани какие! Но не буду распинаться на эту тему, умолкаю. Не особенность Качалова. Бани издавна на Руси распространены. Не зря летописец Нестор засвидетельствовал, что сам Андрей Первозванный хвалу гремел, увидев наши бани по-черному.

Качалово, неисчерпаемый источник чистейшего счастья и радости, вижу внутренним взором твой прекрасный мистический лик. Я, твой сын, в захлестывающих и восторженных грезах сохранил тебе преданность и благодарность, что ты было в моей жизни. Может, уже пред смертью, выберусь, гляну на святые, родные места, попрошу прощения у земли, что прилепилась ко мне огненной, назойливой мечтой. Оробь хватает, когда прикидываю, что все быстро меняется, что, может, тебя и не узнать. Слышал, что в тех краях будто бы матушку-Волгу вздернули на два метра: плотина рядом. Качалово, моя сказка, «зеленая калитка», Иерусалим души моей, потерянный рай, неужто, как славная Атлантида, ты соскользнуло в пучину волжских вод и скрылось к чертям собачьим от взора ко всему привычных и равнодушных взрослых людей. Правда, должны остаться дедушкин храм с долговязою колоколенкою и кряжистая плешка. Может, хоть что-то от того храма сбереглось? Высоко стоял. Не библейский Арарат та горка, но все же добрая, с лихвой поболее двух-то метров над Волгою.

Витька, жив ли ты? Если смерть не прибрала тебя, то тебе, как и мне, за 50. Остарел, поди? Храбро ли встречаешь недуги? Наверно, такой же беззубый, седой, как и я? Может, прихрамываешь, крапивою, скипидаром трешь деревенеющие колени ног, которые когда-то были быстрыми, ретивыми. Я бы советовал для этой цели панацейный опольдедок арника. Хорошо пособляет. Как твои кикиморы? Почему именно они вобрали всю полноту женственности? Освобдился ли от обуявшего наваждения, или оно все еще мучит, сосет сердце червем неумирающим? Что ты видел и что было на самом деле? Неужто груди в два ряда, как у Кибеллы? Неужели такие необъятные, как купола на дедушкином храме? Одно время я решил, что все это брехня, окоlesiца, бред сивой кобылицы в лунную ночь. А теперь, на склоне лет, принимаю абсолютно все. В «Песне песней», черным по белому: «Сосцы у меня, как башни».

Качалово, где ты?

Чего ты от меня хочешь? Какая непостижимая связь та-

ится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что было в тебе, обратило ко мне полные ожидания очи?

О, Русская земля! Ты уже, как говорится, за Соломоновым царем!

Катился мне 12-й годик. Рос и мужал я вроде нормально; в свой черед и без лишних трагедий сменил молочные зубы на взрослые и т. д. Но одним боком я чуть отставал от сверстников. Дело в том, что к вопросам пола у меня не появилось любопытства и ничего нового в моем организме не проснулось. Может, потому, что много болел, как в школу пошел. Был я прост и невинен до глубинного дна души. Конечно, в глупую сказку про одноногого грациозного аиста, который приносит мамкам в клюве грудных пузырей, а тем паче в версию, что млекопитающихся горланов случаем под капустою находят, я не верил. Это все неправда, для маленьких. Да и взрослые обо всем таком и эдаком сказывали как-то игриво, несерьезно, не так, как про то, что земля вокруг солнца вращается, хотя последнее явно противоречило непосредственным наблюдениям. К 12-ти годкам все мы смекаем, что грудные детки у мам из животика вылупляются, а в беременных, очень наглядных животиках бытуют битых девять месяцев, растут, обрастают плотию. Словом, все, как у собак, кошек, отчасти, может быть, как у слонов. Кстати, в городе у меня дружочек не по летам башковитый и подвинутый завелся. Я упоминал о нем. Алик именем. Шилов. А прозвище — Дантес. Не тверд, что и Алик в своих друзьях меня числил: я неровня ему. У Алика водились предостаточные основания гордо взирать на меня сверху вниз. Оговорюсь: вообще-то Алик был мизерного ростика. Так, мальчик с пальчик. Фитюличка, как самые мелюзговые девчонки. Даже хуже их. Его мамаша, дама дородная, важная, чопорная, с претензиями, очень печалилась из-за неказистого ростика сына, в народных поговорках утешение искала: «Мал золотник, да дорог; велика Федула, да дура». Глуп, глуп был я, а все толк раскушу, что Александра Гавриловна в меня, тумака-недоумка, целит. Нисколечки не обижался. Ее нетрудно понять. Мать всегда остается матерью. Обидно ей, что ее невообразимо гениальный вундеркинд такой невзрачный шибздик. Вот тебе ирония природы: семь пядей во лбу, а ростика бог не дал. А ведь ростика на базаре ни за какие деньги не купишь. От матери Алика я слышал уже не раз, что Александр Македонский, Чингис-Хан, Тамерлан, Пипин-Короткий, Наполеон тоже вроде бы от горшка два вершка. Но вообще-то Алик вовсе не лилипут, не карлик, не пигмей, не жалкий гомункул. Не уродец-гном, а напротив: скроен ладно, красив ста-

ном, лицом. Я же нелепо вытянулся в эдакую дурынду-оглоблю-орясину, аж первым на линейке в классе маячил. Но вот разумом я скуден оказался, беспамятлив. Как и преподающему и богоносному отцу нашему, игумену Сергию, чудотворцу, школьная наука до поры до времени не лезла мне в голову. Меня то и дело брали на буксир. Из класса в класс с трудом, как куль, переваливали, и хотя вот уже четыре класса позади, но читать я так, помнится, и не выярился. Из чужих, враждебных, сухих литер слово никак не складывалось, а когда что-то слетало с непутевого, неповоротливого языка, то почему-то непременно не то, что клещами тащила из меня докучливая, порядком разъяренная непробиваемой моей тупостью училка.

— Какая буква? — указка безжалостно буравит «М».

— Эм, — тихо, сквозь парализующий страх: душа съежилась, помялась, покорибилась.

— А это?

— А.

— А это?

Тупо молчу. На чердаке густым прокисшим молоком туман стелется: расстройство системы рассудка. Сердце в пятки от страха рвануло. Аспидная указка ткнулась в «М», второй раз это «М», что сбивает напрочь с толка, воспринимается каверзным подвохом, ловушкой. Ядовитая интонация, с которой пущен вопрос, парализует и без того неказистые, мелковатые шарики.

— Эм, — разрешился боязливым лопотком.

— Громче. Лебедь умирающий. А это? А вместе?

Молчу. Тщусь всем духом потрафить вредной деспотке, искательно вперился в нее рабскими собачьими глазами, от перенапряжения непрозревающей мысли взопрел, во рту язык раздулся, как пчелой ужаленный (машинально начинаю сосать его, как ребенок соску, причмокиваю, прихрюкиваю), к гортани непутевый так и липнет, словно его цепким резиновым клеем обмазали, дали посохнуть и снова обмазали: вовсе чужак, отвердел, упирается, перестал двигаться.

Итог: ни бум-бум.

— Не на меня смотри! — резкий, свирепый окрик.

Оторопело, покорно, послушно поправляю негордые глаза на беззвучные, пустые буквы: «МАМА». Они пляшут, прыгают, сливаются, рьят, уродливо кривляются, выпендриваются, выкобениваются, форменно издеваются. Питке нет конца. Опять, как в сказке про белого бычка, все сначала: какая буква? В который раз: как вместе?

Повинуюсь, напрягаю старание, как птица-страус закрываю глаза, скомканно, сумбурно, поспешно, но в голос:

— Эм! А! Эм! А!

А как же, дорогие братья и сестры, это можно сложить?

Класс грохнул, как по военной команде, будто пришел на веселое представление и ждал чего-нибудь эдакое: Алик Шилов громче всех смехом разливается. Я же, убогий, ничего не понимаю, как с луны свалился. Отчего заваруха и гогот? В чем ляпсус? Где? Но, раз всем так смешно, и я начинаю глупо лыбиться.

— Ура-а! — восхищенно, по-детски азартно, заразно, вопит Алик.

И без того серое, не улыбочатое лицо училки делается страшным; в нем пыхает что-то гаденькое, враждебное мне, беспамятливому ублюдку. Она теперь сильно смахивает на больную, злую, старую обезьяну, притом, как это ни покажется вам странным и неожиданным, на самца; сквозь крупные, торчащие вперед, редкие, ржавые зубы с превеликим трудом и очень пресно отцеживает:

— Садись.

Потный, в изнеможении опадаю на парту. Пронесло. Гора с плеч.

Училка развернулась вхимичить в журнал жирно-художественную бяку, пропорциональную моим успехам, но осеклась, чего-то осумрачилась взглядом, засентябрилась. Вот она напялила на физиономию фальшивую улыбочку (с тех давних пор, когда вижу такую улыбку, испытываю патологический ужас. Стойки впечатления нежного возраста!).

— Шилов, почти правильно.

Как и всегда, Алик делает попытку меня выручить, смело принимает огонь на себя. Хотя он безумно развит и смекалист, а читает, как бог (выярился, пострел, в три годика!), чувствительно борзее нашей училки, вообще горазд на всякую заумь и нет сомнения, что он знает, как там надо правильно сложить буквы в слово, но он ради моего спасения пускается комедь ломать, рапортует старой образине, что я сбил из букв слово верно, как положено по всем правилам, что так и надо озвучить это сочетание букв. Громко, высокопарно, напыщенно, чуть подражая моим пугливым интонациям, повторяет мой вариант прочтения. Ну — цирк! Класс одуревает от гогота. Гвалт. Слезы на глазах. Кто-то, потеряв душевную сбалансированность и представление, где находится, пускается ботать крышкой парты. Буза взвинчивается. Потеха — и только. И опять этот сногшибательный, возносящийся, непокорный Алик. Губительница с трудом приводит нас в чувство. Ослушника за страшную выход-

ку вышибают из класса, неволят привести в школу маму. А мой Алик только плечами пожал, беспечной, легкой, играющей, чуть подпрыгивающей походочкой направляется к двери, останавливается, показывает отвернувшейся училке дразнящий язык, длиннуший, интенсивно красный, как у набегавшейся псины (такой язычище и должен быть речистым, как говорится, хорошо подвешенным), грохает тяжелой дореволюционной дверью, опять шумно ее распахивает, всовывает башку, вращает во все стороны искрометные, яркие голубые прожектора; дерзко, бесшабашно и забубенно, словно неистовый и восторженный бес в него вселился, прочно вквартировался и выезжать не имеет никакого намерения:

— Эм! А! Эм! А!

Спас меня Алик. Взбеленная его выходкой, полилолевшая, словно в преддверии апоплексического кондратия, гнилозубая кобра запамятовала мне очередное, заработанное «Пл» вьярить.

И не единожды верный Алик был мне щитом.

Думаю, что вы, пристальный читатель, не безумно удивитесь, если я ненароком, но откровенно и по чистой совести обмолвлюсь, что книги сделались моими первыми и лютыми недругами. В отличие от меня Алик был жадным пожирателем книг. Читал все, везде. До одури. Читал где уместно и где прямо-таки неуместно. Читал, вестимо дело, за едой. Втихаря глотал чтиво в классе во время уроков. Читал, извиняюсь, и в нужнике. Примостится уютненько на унитазе, запрется надолго, потеряв представление, где он и зачем туда засел; отключится, всласть лакомится книгою, пребывая в полусознательном оцепенении и эйфории. За эту неудобную в быту привычку, затейливо и убедительно в свое время проанализированную пронизательным Фрейдом, простительную в таких великих, как Хэмингуэй, браним был отцом. Евгений Алексеевич из-за своего несносного, неподдающегося нравоучениям вундеркинда чуть ли не каждый день в институт приопаздывал. А в те годы дальние, классические, ой как строго было. Не то, что ныне. За нечаянное опоздание по головке не гладили, а — под суд. А где суд, там и срок. Указ перед самой войной вышел (может, декрет, не помню), 21-я минута — все, лагерь! И, как говорится, не взирая на лица. Сколько этих бедолажных опоздантов я в Каргопольлаге повстречал! А отец Алика был большим ученым, кафедрой в Химико-технологическом институте заведовал, наращивал, штурмовал высоты науки, атомы, молекулы, резонансы, реакции всякие,  $H_2O$ , этиловый спирт. Конечно, как полагается, и доктор, и профессор. Слыл

оригиналом, чудакom. Вижу, словно то вчераcь cтpяcлocь, аллюрит вoвcю мой профессор; вcклoчeнный; буйно, бeс-толкoвo нaпяливaeт нa лeтy нeсчacтнoe cтapомoднeнькoe пaльтишкo, oкoнчaтeльнo зaпутывaeтcя в рукaвe:

— Японский бог! — cнoвa и cнoвa, бeднягa, рвeтcя нaдeть — cмaхивaeт нa пoдбитoгo cтpижa. Пoмню зaбaвную бacню, кoтopyю Eвгeний Aлeкceевич aртиcтичнo рacкaзывaeт и кoтopая кaжeтcя мнe пpeизpяднo умopитeльнoй; пpитoм — тoлькo мнe.

— Пpofeccoр нeceя нa рaбoтy, a кyрицa cидeлa и нeслacь. И вьaeт кyрa тaкoвoй вoпpocик: «Кyдa нeceшьcя ты, пpofeccoр?» A oн, c зaвистью: «Я нecycя нa рaбoтy, a ты нeceшьcя cидя.»

Пo-мoeмy — oчeнь здopoвo cмeшнo. Я зaxожyсь, пoмиpaoт oт cмexa; Aлeкcaндpa Гaвpилoвнa c oпacкoй глaзaми нa мeня cвoeмy мyжy пoкaзывaeт, кaкиe-тo знaки дeлaeт.

Мoй выcoкoлoбый дpyг Aлик oблaдaл eщe oднoй бeспoдoбнoю cпocобнocтью, yмy нeпocтижнoю (eсли бы я нe был живым cвидeтeлeм, нe пoвepил бы): oн зaпpocтo мoг читaть oдними глaзaми, пpи этoм нe издaвaл никaкиx чaвкaющих звyкoв, нe шлeпaл гyбaми, нe двигaл языкoм. Cчитaeтcя, чтo тaкoe нeвoзмoжнo. Bce мы пpи чтeнии чeм-либo пoшe-вeливaeм, eгoзим, пoдшлeпывaeм, пoдмaхивaeм, a пoдaвляющee бoльшинcтвo и жecтикyлиpyeт. Ктo мeньшe, ктo бoльшe, нo aбcoлютнo вce. Aлик жe лишь cмыгaeт пo cтpочкaм яcными, гoлyбыми, coкoлинными глaзaми. Шнырь-шнырь, шacть-шacть, и — книжкa в 500 cтpаниц yхлoпaнa. Bce пpочитaннoe oтличнo пoмнит, ycвoил, мoжeт тoлкoвo пepecкaзaть, pазвить. Cпpотив бeсцвeтных oтличникoв, зaпpocтo глoтaющих и ycвaивaющих пpогpаммy шкoлы, вyзa, лeгкo хвaтaющих выcoкиe бaллы, нo вceгдa пo oкoнчaнии yчeбы cникaющих, тepяющих блeск и гoжecть, мoй Aлик, кaк «зeлeнeющaя мacлинa», впитaв блaгoдaтныe coки плoдoнocнocти и cтязaв знaния, peзкo pвaнyл нaвepx и в 42 гoдa избpaн в мacтитыe aкaдeмики. Тeпeрь oн в «paнгe бeссмepтных: нe чeтa нaм c вaми, читaтeль, птицa, выcoкo вoзнecшaяcя (зaпoмним: нe вышe Aлeкcaндpийcкoгo cтoлпa). Co вpeмeнeм eгo cлaвным имeнeм нaзoвyт кaкoю-нибyдь yлицy, в кpайнeм cлyчae пepeулoчeк или тyпик. Мoжeт, тy, нa кoтopой мы c ним oбитaли в дeтcкиe гoды. Хoрoшo бы! К злoчacтьe, мы жили нa yлицe Пyшкинa (дo 37-гo гoдa — Микaйлoвcкaя). Вpяд ли пepeимeнyют. Хoтя y нac имeeтcя eщe oднa yлицa в чeсть вeликoгo пoэтa — Пyшкинcкaя. A Пyшкин в нaшeм гoрoдe ни paзy нe был. И cлыхoм нe cлыхивaл o тaкoм. Oднy yлицy мoжнo и в чeсть Aликa нaзвaть. Нo eсть зaгвoздкa. Я yжe yпoминaл, чтo Aликa пpозвaли Дaнтecoм.

Намертво пристало. Кое-кто в таком переименовании усмотрит злое глумление над светлой памятью поэта, который остается «наиболее полным воплощением духовных сил России», который вознесся «выше Александрийского столпа». Но никакого глумления нет. Просто мой Алик жил на улице Пушкина, а Пушкин не жил. Может, в Москве что-нибудь переименовать? Еще немало улиц с ветхими, допотопными названиями. К примеру, вместо Шаболовки — улица академика Шилова. Как? Звучит? А еще мой замечательный друг умел две кровавые струи из носа пускать. Хлебнет незаметно клюквенного морса, не глотает, во рту держит. И вдруг, как настоящий йог, из носа выбросит бойкие рассыпающиеся красные ленты. Увидишь — муторно, оробь берет. А когда я понял, что это шутка, трюк, лицедейство,дох от хохота, когда и в сотый раз видел фокус-покус. Ржал до коликов в мочевом пузыре, который прямо-таки лопался, угрожая выплеснуть содержимое в штаны. Да и не раз был такой грех! Факир знал мою дикую смешливость, распорядился ею по своему усмотрению. Отдам ему должное. Вину за неуместный, безудержно-болезненный, дурацкий смех и его печальные последствия всегда на себя перекидывал, а меня умело, убедительно выгораживал. Не подводил. В те пайсые лета Алик стал для меня даже не апостолом, а живым богом (читатель, а день его рождения совпадает с православным рождеством! Ну и ну!) и вот он-то, умница, златоуст, баловень капризной фортуны, которую, как совершенно справедливо считают римляне, «в руки не возьмешь», оказался моим первым профессором в вопросах секса, вразумлял меня, тумака-недоумка, терапевтически осторожно приоткрыл завесу над адом и мутною бездной. Да, именно он объяснил, чем и как занимаются взрослые дяди и тети под секретом ночной темноты, с какою целью заваливаются на ночь вместе, в одну кровать (вроде одному-то ладнее спать), каково назначение двуспальных кроватей — «амурных станков» (его образ. Хорош? А пожалуй, я и звонче знаю. Без тусклых эвфимизмов и паллиативов!), какой цели служат мешочки из полупрозрачной резиновой ткани, которые в теплое время года и по утрам, до того, как прошвырнется сердитая дворничиха с метлой, можно во множестве видеть на задах нашего дома, в траве, на кустах, а порою и высоко на ветвях серебристых тополей, куда и закинуть их непросто, а тем паче снять, но куда лихо метнула их чья-то разудалая молодецкая рука. Уточнил еще Алик, что эти самые тончайшие резиновые мешочки есть сильное изобретение европейской цивилизации, носят имя врача XVIII-го века. От него я узнал о так называемых стыдных



венерических болезнях и про то, что Маяковский застрелился потому, что схватил сифилис (с тех пор эта версия мне не встречалась), завлекательным, чародейским шепотком опытной сводни нашпиговывал и начинал меня мой друг, подвинутый и начитанный не по летам, открывал Америку и глаза на то, что не узнаешь от мамы и папы, «о чем не говорят, чему не учат в школе». Его яркая, блистательная лекция врезалась в сердце и память, притом гораздо глубже, чем всемирнославные лекции профессора Соколова (вам, читатель, они скорее всего известны под строгим, академическим названием: «Букварь любви»), которыми отуманивались до поллюций мальчики старших классов в нашей школе (увы! их некогда читал и я, грешник. Каюсь.). Ладно бы читал, но еще внятно, разборчиво передрал в две толстые тетрадки. А позже они попали в ГБ, приобщены к делу, на папке которого написано: «Хранить вечно». Как губка, возросшая в бездне морской, я жадно всасывал запретные, тайные смыслы и символы. Алик начал издали, потчует меня остороженько: с растительного царства, где на незамутненной поверхности прозябания вроде б все так тихо, целомудренно, бесстрастно, безгрешно, а потому пристойно и прилично. Но вот если углубиться, проникнуть в существо, сердцевину и суть явлений, то тогда некоторые феномены растительного царства окажутся весьма сомнительными, двусмысленными, непристойными, а порою даже срамными. Те же цветы, а? По Алику, математически вытанцовывалось, что это прямо-таки неприличие и стыд, прямо-таки не что иное, как нагло-роскошные половые органы. Приманка, капкан, уловка природы, многомерный символ, недвусмысленный девиз: плодитесь и размножайтесь. Пыльца, тычинки, пестики — везде одно и то же! При всей видимой разнообразии, изощренности и вычурах в забрасывании семени — одна суть: оплодотворение, самовоспроизведение, продолжение рода. То же у насекомых, то же у глухих, как великий Бетховен, пауков, самки которых после великого акта в самозабвенном порыве страсти откусывают с корнем детородный аппарат у своих мужей, а порой, увлекшись, ведут себя прямо-таки, как прославленная египетская царица Клеопатра, взаправду убивают замешкавшихся, незадачливых сперматозоидоносцев, если те не успевают вовремя смыться. А мухи!!! Очень они встревожили мою душу, заставили задуматься над неясностью символа. По Алику, получалось, что из личинки мухи разовьется не муха, что было бы естественно, ожидаемо, а тошнотный опарыш, который тут же по-быстрому начнет расти, бегать, жрать, разрастаться в размерах, интенсивно, неистово, бурно, словно квасное тесто

у бабы в опаре. Вот он уже превратился в эдакое снующее, мерзкое, многоногое насекомое, хоть собирай, готовь на карася (я обычно на крючок трех сажаю. Отличная насадка. Держится крепко.) Словом, этот опарыш бухнет, как тесто на дрожжах, и в конце-концов, как это известно каждому профану, в том числе и мне, это все завершается тем, что опарыш дряхлеет, наплывает черною хмарью старость, а там, как и все живое, он гибнет. Так-то. Природа не очень-то щедра на индивидуальное бессмертие.

Поочередно всех своих детей  
Свершающих свой подвиг бесполезный,  
Она равно приветствует своей  
Всепоглощающей и миротворной бездной!

Не уйти общей судьбины и вонючему опарышу. Да, да, я говорю о том самом опарыше, на которого так отлично клюет карась на Витовских прудах. Опарыш-то добывать донельзя просто. Раз плюнуть. Записывайте рецепт. Берется кусок мяса или рыбы и дня на два-три выставляется на солнцепек, затем на дуршлаг, который укрепляют над ведром, и все это хозяйство помещают в тепло и темноту. Недели на две. Готово. Глазам вы своим не поверите. Полведра опарыша, резвятся, друг по дружке снуют, лазят. В сухом прохладном месте опарыш отлично держится. При умелом хранении, например в погребе, хватает не на одну рыбалку. Я сделал важное для рыбаков открытие: опарыш, выращенный на костях, крупнее, живучее, чем полученный на рыбе, и на него охотно карась берет. Поклевка раза в два чаще. Но потрясающий курьез в том, что опарыш завершает свой жизненный путь очень престранно, не просто умирает, а тут махонькая хитрость. Вот перед вами то, что еще только что было опарышем, что сновало, шныряло, бегало, лазало, суматошно карабкалось по ведру — темная палочка. Это — продукт гибели, сухой твердый кокон. Вспомните египетскую мумию, что в нашем краеведческом музее почему-то показывается. Очень сильно сходство! Парадокс в том, что кокон символизирует отнюдь не смерть (кстати, как и египетская мумия), не небытие, не вечное, гнетущее, черное, всепоглощающее ничто, а воскресение, ослепительный успех, звенящую победу. Смертью смерть поправ! В один прекрасный день кокон разорвется, лопнет, и из бездны небытия, как феникс из пепла, выкарабкается новая жизнь — великолепная, дерзкая муха. Вот она еще робко расправляет перламутровые крылышки с бледным фиолетовым оттенком, вот она порханула, сверкнула ими, взвилась, нагло,

решительно режет воздух и — скрылась на фиг, в неизвестность, унося и неразгаданные намеки, смыслы, и интересную тайну перевоплощения, и робкую надежду на воскрешение мертвых, и жизнь будущего века. Как так? Почему? Кунштюк? И зачем такой невразумительный, замысловатый прихотливый, лукаво-дразнящий путь самовоспроизведения? О чем жгучий, мучительный искус? И есть ли намек? Зачем эта промежуточная форма жизни, воплощенная в рвотном опарыше, жрущем гниль, тухлое мясо и тухлую рыбу? Зачем навязчивый ребус? Зачем туман? Нет, не понять. И лучше не разгадывать шараду, а то от угадываний, мистических предчувствий в мозгах завихрение пойдет, свихнуться можно. И чтобы выбросить из головы пагубные, завиральные фантазии, я нарочно с треском высморкиваюсь, а сопли по ветру швыряю — так, на добрых метра три, а то и четыре. Увлечшись сногшибательной метаморфозой опарыша, я забыл следить за стремительным летом затейливо-кучерявой мысли своего чересчур и не по летам развитого дружка-всезнайки, а он за это время гуторил что-то возвышенное и хитрое о половом отборе, о здоровяках динозаврах и мезозойской эре, про то, как объявились позвоночные, сверкнула горячая кровь, птицы накинули яркие брачные наряды, и пошли откаблучивать элегантные гопаки, а там, не успеешь оглянуться, дух перевести, промчалось сто пятьдесят миллионов лет и отовсюду полезли умопомрачительно похотливые млекопитающие, макушкой развития которых оказываемся и мы с вами, читатель. Везде та же суета сует, экклезиаст и томление духа при кажущемся разнообразии в приемах и способах зашвыривания семени. Красноречивый образчик: как трогательно эту неразрешимо-головоломную задачу решают колючие ежи. Вообще-то самка строптива, неприступна, капризна, но вот стукнет звездный час, уймется, присмирится, образумится, покорно, как рабыня, на спинку завалится, спрячет злые колючки, примет, как выразился Алик, «вид, удобный для логарифмирования», откроет азартному, шустрому производителю самые нежные, интимные части своего тельца. И — ого! Восторг! Умница, лапочка, душка! Но опять я встревожен, смущен. Нет, не ежика меня так озадачила. Алик ненароком обмолвился, что чудо-юдо-рыба-кит совсем не рыба, а животное, млекопитающее. Дерзкое, похотливое сладострастное, легко воспламеняющееся и возгорающееся. Хвост, как у рыбы. Не морочит ли мне голову мой друг? Не розыгрыш ли? Черта лысого, чтобы я ему так и поверил. А как же в этом случае прославленная технология любви, положенная в основу научной схемы Линнея? У китовой самки и ног-то вовсе нет. Это и ежу ясно.

У нее отменный хвостина, которым она запросто корабли сшибает и вертает, и топит, когда разбузится, в стих войдет. Так как же, а? Это же ни в какие ворота не лезет! Но Алик рассеял туман, разбил мои доводы в пух и прах. Киты и впрямь очутились млекопитающими, богато изобилующими титьками или, как их там в науке называют, сосками, что ли? А между прочим, не я один попадал впросак, мазал, путался в линнеевской схеме. Многих зудила загвоздка: а как, не имея ног, амурятся киты? Как же они, горизонтально-хвостатые, устраиваются? Не я один и далеко не первым высказал эдакие несостоятельные, невежественные контрверзы. Сам Герман Мелвилл, «мореплаватель, китобоец, мистик» твердо стоял на своем, отстаивал идею, что кит — это рыба, несмотря на Линнея с его «Системой природы (1735), всеми этими «грудными железами», «двухкамерными сердцами», «подвижными глазными веками» и — «проникающим членом».

А дружище-сатаноид со сдержанной, но радостно-торжествующей осклабочкой все свое сугубит, дидактически напугивая, все пуляет хлесткими, стенобойными словами: — Плодитесь и размножайтесь!

Я — весь догадка, подозрение, предвкушение, жадное, хищное. Мне начинает казаться, что все, что я слышу, очевидно, естественно, просто, что вроде бы все это я знал и раньше, до Алика, смутно о чем-то таком догадывался, самоуглубляясь, вроде бы ничего нового и не узнал, а (по аналогии с Платоновским учением о познании) припомнил крепко забытое. Ведь и до Алика я прозревал, чем занимаются мухи, когда они прямо на моих глазах совершают то самое, что взрослые зовут спариванием. Прозревал и умно истолковывал. А эти собачьи, простите за выражение, свадьбы? А любовные игры кошек? Как я гоготал, услышав первый раз веселую присказку: «Бывают в жизни злые шутки, сказал петух и прыгнул с утки».

Спустя годы больше всего меня терзает, где это мой гениальный друг черпанул свои познания? Что прочитал? Собраны ли они в недрах одной умной книги какого-нибудь энциклопедично эрудированного немца, или Алику пришлось подцеплять материал в разных источниках, отбирать, самому систематизировать? В этой потрясной лекции красной нитью и назойливым рефреном проходила мысль, на которую я не наткнулся в умных книгах, хотя читал их мизер, допускаю, что мог упустить. Что-то близкое можно уловить у модного Тейяра де Шардена, который шеллингианскую идею природы как живого организма, саморазвивающегося, самовосходящего по диалектическим ступеням (потенциям!), грубо скре-

стил с дарвинизмом. Но бешеный, всемирный (слава богу, кратковременный!) успех Шардена падает на послевоенные годы, и можно поручиться, Алик не был знаком с писаниями этого автора, когда настойчиво втемяшивал мне, что кто-то очень остроумный и беспредельно могущественный бросил тактически удачный, ловкий лозунг, призвав природу заниматься любовью, одной любовью и только любовью. Мол, плодитесь и размножайтесь. И этот призыв был радостно услышан, горячо принят. Все живое, отбросив своеволие, ему добровольно, свободно подчинилось. И — завертелось, понеслось. Одно слово, извиняюсь: эволюция! В лекции Алика природа, фауна, флора, ботаника и зоология обернулись ко мне жарким, буйным борделем, как в гениальной песенке о Садко, заморском госте. Помните, как это? «Пал жребий на зачинщика, пал жребий на Садко». В этом месте припоминаю пророка Иону, но вижу мысленным взором ныряющего отца Витьки: бултых — «и океан затих». Дальше: «И вот Садко на дне морском!» Наконец — пик, острое, апофеоз: «Садко в недоумении, здесь море иль бардак?» И так, плодитесь и размножайтесь. Смысл, цель, назначение и предназначение всякой твари. Много спустя я узнал (если бы знал в невинные годы, знание это ничего бы мне не прибавило), что великий призыв к размножению в своем первоизданном виде уже содержится в 1-ой главе «Книги Бытия», которую полагают боговдохновенной, приписывают Моисею.

«И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь и наполняйте воды в морях, и птицы да размножатся на земле.» (Быт. 1.22).

«И был вечер, и было утро: день пятый.» (Быт. 1.23).

«...плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю.» (Быт. 1.28).

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.» (Быт. 1.31).

Может, я что-то клею Алику, чего и не было в его лекции (сколько времени-то с тех пор прошло!), но что-то такое было: явно его тешили и забавляли несуразности, парадоксы, всякого рода смешные совпадения, в частности совпадение третьего, четвертого, пятого, шестого дней творения и так называемой научной, эволюционной, дарвиновской теории. Конечно, Алик сгущал, подтасовывал для красного словца факты, передергивал. На самом деле не все так уж складно. Не такие уж совпадения! Для меня важно отметить, как я на все реагировал. Лекция была гениальна! Ведь любой другой внял бы толк и воспринял свет знания, прослушав такую лекцию. Да, любой. Но не я! А я ниско-

лечки не просветился. Оказалось, что и после обстоятельных разжевываний и пояснений девственные заклепы моей души не были ничуть надломлены. Нечто эссенциальное соскользнуло, сорвалось, осталось невнятным. Прежде всего я вовсе не прозревал экстатической пронзенности спаривающихся особей в момент соития. Не прозревал одержимости, градуса наслаждения, которое захватывает адамита в этом самом акте. Не зря, поди, о любви говорено, что она «сильнее смерти» (новый перевод; в синодальном: «крепче смерти»), во многих случаях, сильнее страха смерти, сильнее свирепого инстинкта самосохранения; притом такое имеет место быть не у одних млекопитающих, но и у всяких там черепах, ящериц, крокодилов. Осталось сокрытым от меня, значит, то нутряное, ноуменальное, что делает утеху телесную и великим святым таинством и — увы! в подавляющем большинстве случаев — грехом, похотью. Каждому овощу свое время — подсказывает поговорка. Ведь я-то был недоспелой мелюзгой. Понять — уподобиться. Кстати, что мы с нашей холодной отстраненной объективностью смыслим о растениях. Нет, мол, нервов. Так — тычинки, пестики, пыльца. А у рыб? Не находится ли карасиха в состоянии экстаза и высшей одержимости, когда бешено мечет бесконечные икринки на краю водной растительности? Вода аж кипит, так она елозит и возится. На Витовских прудах я не раз наблюдал это впечатляющее для рыбака зрелище. И как раз после нереста разыгрывается самый клев, садятся на крючок крупные особи. Еще примета: во всю мощь крыжовник цветет.

Ну, хватит ностальгических, романтических бредней, придыханий, длиннущих отступлений, обиняков, намеков, извинений, расшаркиваний, ужимок. Опущу даже качаловскую мистерию.

К теме, феме, реме.

Приснопамятное драматическое 22-ое июня 1941-го года. Тусклая бирюза лысого неба. В бездонном пустом просторе недвижно, словно накипь на перевернутой чаше, чернеющими фитюлистыми точками парят два куроцапа. Погожесть вовсю переливается в преисподний зной. Гонят скот на полдень, намученный в лесу слепнями, комарами, мухами. Мы, пацаны, ватагою скорим домой. В руках у нас удочки, корзинки, набузованные добычей, которая предусмотрительно прикрыта крапивой. Деревенские ловчее меня: больше надергали. Но у них одна мелочь. А у меня хорош, грамм на 400, красюк, всем на зависть. Я его, гада, у самого берега взял — в проводку; чуть потянул на себя — сидит, стервец, даже можно было не подсекать, так глотнул насадку.

Борзо чапаем босыми резвыми ногами по дороге, подняли пылицу, что то стадо, заваливающееся гулким, дружным, охальным блянием овец в село с другого конца.

Вдруг —

— мамочка родная! —

— родная мать! —

— апокалипсис!

...задыхающийся храп, напряженный, переливающий в пронзительный шипящий свист. И сопение. Словно паровоз. И тяжкие вздохи — уши, будто циклопические меха вкалывают где-то рядом. Только не секу, в чем дело, и оробело оглянулся; туда зыркаю — по направлению утробного, дерущего душу звука: вижу:

— О, господи!

огромный белый жеребец (наверно на самом деле он был пегим, потому что кличка его была «Пегий», но в памяти он остался как белый) оголтело, неистово, как бешеный, лезет на мою Машку. Классический прием, отлично отработанный, как сказал бы Алик, за миллионы лет: прихватил в полон передними ножищами, взгромоздился чертовой тушею на растерявшуюся, милую сардиночку. И это в трех-четыре шагах, близко, вовсе рядом. Смотреть больно, режет глаза. И страшно: стройненькая, безупречной, неотражимой грации, дикой, огненной красоты кобылка и такое.

Кто-то из деревенских (не преминул, хаменьш!) пустил:

— ...

Скабрезно-гаденько, самую чуть конфузно и — одновременно — эдак, знаете, восторженно, словно Тунгусский метеорит узрел.

Читатель, только больно-то не воображайте, что вы, мол, молнией поймали смысл, скрывающийся за точечками. Все мы имеем право на цензуру, умную, чуткую, воспетую великим Пушкиным и в прозе и в стихах. Помните, «Евгений Онегин», строфу XIII 1-ой главы? А строфу XIV? Дело в том, что опущено вовсе не то, что вы, читатель, смели помыслить. Надобно долгие годы прожить в Качалове, чтобы догадку строить умно, складно, умело. Применен не блистательный глагол, которым в великорусском наречии обозначают акт соития живых тварей, а его качаловский, туземный эквивалент, используемый исключительно в здешней дыре. Вот в чем перец! Позволю отметить, что в Качалове весь цветник лексики свой, особый, очень разнится от великорусского. Ну, не весь. Почти. Частично. В нашем, качаловском, языке много своеобразного, самобытного, исключительного. Моя бабушка была большим грамотеем, без единой ошибочки и огреха писала; так вот она говорила, что в качаловском

языке три дательных падежа: дательный краткий, дательный долгий и дательный самостоятельный. А такой переизбыток дательного вроде не характерен для славянских языков. Не думайте, ради бога, что я собираюсь заявить, что качаловский язык не примыкает к группе славянских. Я вообще не лингвист. Моя хата с краю. Ничегошеньки не петрю в филологии. Так, слышал звон. При такой раскладке, как у меня, эрудированному мастаку Гумбольдту самый раз привстать, я же беспомощно, трусливо пасую. У меня с грамотой нелады. Увижу ехидного грамотея-лингвиста, спешу ретироваться, хвостом прикрыться. Словом, в данном вопросе могу зело мазануть и своими умствованиями невзначай ввести вас, читатель, в заблуждение. Возможны иные кудрявые щеголеватые гипотезы. Может, никакого качаловского языка, в смысле выражения духа и внутренней формы индивидуального сознания качаловцев, не бытует вовсе, и это ерундистика, блямканье, говор, тьфу. И нет малейших оснований претендовать не только на государственную обособленность, но даже и на куцую автономию. *Entre nous*, словцо, «окунуться» у нас значит вовсе не то, что в суконном великорусском наречии: не погружение в воду с головой, а вообразите! — как раз то самое, что виделось в эту роковую минуту моему восхищенному взору. То же, кстати, означает «яриться». Еще наличествует десятка два синонимов, нарицающих сей, извиняюсь, акт. Богат, сочен наш язык!

Значит, я разинул глаза.

Увидал.

Вообще-то и до этого мне доводилось вгарнуиваться исследовательскими глазами в спаривающихся тварей. Кошки. Собаки. И коней, безусловно, не раз я видел за эдаким (эка невидаль!) делом. Этого здесь полно. Деревня. А после лекции Алика я правильно интерпретировал любовную возню животных, все их игры, хитрости. Так-то оно, конечно, так. Но и не совсем. Видел, интерпретировал, но как бы и ничегошеньки не видел. Еще небезызвестный английский епископ, прославлявший дегтярные настойки и бальзамы, целебные свойства которых в наш век вновь прослыли чудодейственными, учил, между прочим, что виденье — это не есть примитивный акт зеркального отображения вещей в механизме глаза, а сложный, можно сказать, интеллектуальный процесс, в котором доминирующую роль играет нежное воспоминание, ожидание, готовность, узнавание: все, что залетает на сетчатку глаза, обрабатывается, обкатывается, шлифуется, толкуется, трансформируется, переводится в знакомые ранее образы, гештальты, включается в некую систему, и если в тезаурусе гештальтов не было ничего, что



можно соотнести с тем, что перед глазами, то оно и не будет увидено, воспринято, принято. Оно будет как бы упущено, пропущено. Кто-то, не то Тимирязев, не то Сеченов, не то Мечников (забыл кто, но кто-то из них), зашел так далеко, что заявлял, что «без идей не увидишь и фактов». А Силуян Афонский считал, что то, что написано со Святым духом, может быть воспринято только (и только!) со Святым духом. Итак, до сей поры хотя я и видел телесными глазами, как спариваются крупнокопытные, но в то же время и не видел: главного не улавливал, как если бы был слеп на все 100%. Но тут, словно хитрый, многоопытный окулист снял бельма: зрак просветился и я стал зрячим. Что я видел? А вот что! Эти могучие, судорожные попытки Пегого не просто так, а срамны, непристойны, до жути постыдны. Нельзя на это глядеть, как гляжу я. Через виденье этого пламенно-азартного, буйного, неукротимого поползновения в мою оробелую душу течет сперма мутной грязи. Она распалает меня, задирает, заражает. Она глушит в сердце радость, свет, безмятежность, покой. Объективизируется и то, что душонка моя в своей истинной первосущности не стерильна, а очень сопричастна скверне, падшести, заразе, что она больна и ветха в самом корне, предрасположена к греху. И вот нечистый и неистовый дух тоски, скотства и сладострастия ухватил ее, зацепив сильными железными когтями, и она, падла, малодушно, прямо-таки радехонько поддалась ему.

Итак, я вперился.

И не было силенок выдернуть замороженные глаза.

Впервые. Взасос. Забрало.

А затем моя жизнь выбрыкнулась из привычной, наезженной колеи, полетела кувырком, захлестнулась обстоятельствами, утратила пригожесть, скомкалась. Началась дичь, фантастика. Ну, внешняя беда. Общая. Я-то не считал ее сугубо внешней: мне ясно виделось, что творящееся в объективном мире есть не что иное, как проекция моего душевного хаоса, расплата. Навсегда покинул насиженные места, Качалово, наш город. Обрушились обстоятельства, начались мытарства по приключениям. Потянулись за отцом в Казань. Эвакуация, значит. Превратности, голод, вшивость. Школу-то я в чужом городе окончил. На жизненном пути повстречал Кузьму, и этот Кузьма сходу сделался для меня вторым отцом, матерью, всем. Затем... Впрочем, всего, что было в жизни, не переберешь. Да и ни к чему. Отмечу, что той деревни, милого сердцу уклада и быта теперь нема: усох, измочалился начисто. И коней во плоти не увидишь больше. Их выжил трактор, «стальной конь», как в те годы

мы его ласково величали. Может, где и остались коняги, но страшно мало. В цирке еще можно увидеть лошадь, на бегах, в заповедниках, в кино, по телевизору. Того гляди внесут бедную скотину в Красную книгу, и она своей чередой, как всякие мезозоиды, исчезнет с лица земли за полной ненадобностью и бесполезностью. И останется либо роптать на злой рок прогресса, кусая локти в бессилии, либо обратится к некромантике и Черной книге, чтобы хоть как-то воссоздать былое и ту типичную, исчезнувшую фауну моего светлого детства. И те, кто годиками меня помладше, кто прихватил только послевоенную деревню, кто сегодня гордо лѣтает на природу на собственном «жигуленке», кто овладел прелестями и сверхъестественными возможностями нашей цивилизации и, как говорится, «всегда на колесах» — зря будут тщиться охватить воображением, сколь отменны и титаничны габариты чадородной штуки жеребца, когда сей могучий аппарат в «рабочем состоянии». Это же, дорогие мои несмышлениши, несусветно-могучий крокодил! Страшилище! Это же все сокрушающий питон! И, если мы с тобой, робкий читатель, все же рискнем, позаимствовав храбрости у менее расслабленных эпох, и в нашем мещанском умишке, допускающем только пристойное, приличное, произведем абстрактно-логическую манипуляцию и попытаемся через метафору поймать истинные размеры той махины, то знаешь, что будет? Нет, ты ничего не знаешь! Ты — трус, мещанин. А я скажу. Эта штука посильнее Фауста Гете! Не то. Миль пardon и тысячу извинений. Оговорился. Досадная опечатка и не из той оперы влезла. Ум за разум залетел, как у Маяковского, когда он в Америке увидел Бруклинский мост через Гудзон («Бруклинский мост! — это вещь!»). Я намеревался только заявить, что уж больно здорова эта штука в «рабочем состоянии». По габаритам куда ближе к телеграфному столбу, чем к тому пустячку, к той убогой фитюльке, которую великий Барков воспел в бессмертных стихах. Сего обыкновенного чуда ты, читатель, не видел. И не увидишь! Потому тебе остается сиротливо опереться на мой опыт и на мою память Я-то живу давно. Видел довоенную, еще нелапанную, девственную природу, деревню, ее патриархальный уклад, ушедший, романтические «погорбившиеся плетни», гребенки, хилые, ржавые соломенные кровли, бойких, наглых тараканов-захребетников, занесенных в Качалово из Германии еще при Елизавете Петровне, когда «русские били прусских» (1756—1761). Видел и похотливую жадность спаривающихся четвероногих громад. Видел телесными глазами. И виденным зашиблен был. Да этим дородным, баснословным, несокрушимым, неукротимым бревнищем запросто

можно башку раздробить. И, используя яркий образ Баркова, «чертей глушить». А тем паче рыбу ботать. А вообрази, мой золотой, каких несусветных объемов достигает та часть библейского питона у жеребца, которая в современной точной научной анатомии значится «головкою», а у нас в Качалове называлась простенько «залупою конскою». Это не головка, а — у-у-у!!! О-го-го! Что там футбольный мяч или наши мальчишеские головы, постриженные по довоенной моде под «полубокс»

Я, значит, прилип безумными глазами, алчущими головокруглительно-бездонных, сатанинских глубин.

Как зачумленный.

Сомлел.

А этой белой туше не удастся в цель угодить. Плошает. Лепит как назло, промах за промахом. Всегда ли такие задачи в теплокровном царстве наших меньших братьев, или Машка, каналья травоядная, дурила, помехи строила, не давала, шибче раззадорить мужика жажду имела. У них, зверюг, поди, все, как у нас с вами, только говорить они не умеют.

Пегий сызнава

— и в который раз! —

мазанул (на конских заводах есть должность, называемая «направляющий», требующая мужества, высокой квалификации; очень высоко оплачивается). Глазища его прямо на лоб, как у жабы, скаканули, уродливо вывернулись, холодно застервенились; сверкнули зверским оскалом трогладитские зубищи, и он запустил ржание: эхо этого угрожающе-неистового ржания, как раскат бабахнувшего грома, шархнулось с дьявольской силой к печальному ельнику, шлепнулось гулко о густой фронт деревьев Витовского леса, долго замирало, клокотало, захлебывалось. Заядлый изверг завелся не в шутку, пошел злыднем машинку холку рвать — в кровь, в клочья; и, когда я мысленным взором припоминаю эту картину, из памяти прытким дельфином выбрасывается: «царство божье силою берется» (Мф. 11.12). Юная гордычка сломилась под неистовым, целеустремленным, ожесточенным натиском. Вняла, что иначе не сдобровать. Хватит проказы строить, ломать ангелицу небесную, бесполоую. Укротилась строптивая дуреха и с охоткою, словно исполняла высшее предназначение, широко, много ширше, чем при намерении испражняться, расставила свои удивительные, мощные, совершеннейшей формы бабьи ножщи, хвост эдак подбросила — куда-то вверх, на круп уложила (с тех пор выражение «подбросить хвост» имеет для меня один смысл). И вот. Вижу! Могучий, всесокрушающий,

интенсивно лиловый, слегка прогнутый от избытка энергии его величество Ярило «с усилием входит» в Машкину природу. И целиком в ней утоп, как в бездонной прорве. Ну, скажу я вам, фокус-покус!

Сладил, значит.

Как потрясно с этой простой, природной, вечной жанровой сценкою корреспондируются проникновенно-пронзительные слова поэта:

И женщина, которою дано,  
Сперва измучившись, нам насладиться.

Пегий одолел. Влындил то есть. И тут же, скот, во всю мощь богатырской лошадиной глотки исторг хамски-ликующее, наглое, самодовольное ржание: грянул эдакий хохот ада, торжествующе-пошлейший. Если бы читатель мой сподобился слышать ту медную глотку — священный ужас пронзил меня, словно то была последняя дуда апокалипсиса! И началось! Видел бы ты это буйство плоти! Снова и снова, с несусветной лошадиной силищей (одна лошадиная сила =  $75 \text{ кгс} \cdot \text{м/с} = 736 \text{ Вт}$ ) злобный любовник зашуровывал бревнище в малодушно-покорную, по-бабски расслабленную, замлевшую, сердцеразжиженную и изумленную кобылку, и этот дьявольский питон гулял в ней лихо, свободно, «как по сараю воробей» (опять Барков!). Пегий вдруг обмер в мертвой точке натиска, по-человечески нежно ткнулся в машинку шею, потерся о загривок, который закусал и окровавил и все еще придерживал зубищами (на всякий, видать, пожарный случай), и моя дурында обрадованно повернула на длинной, как у лебедя, шее свою голову, чмокнула необъятными мягкими, чудными губами морду насильника (считал, считаю и настаиваю на этом, что она его поцеловала, хотя из Брема знаю, что животные никогда не целуются, что этим занимаются исключительно адамиты; этим и мягкой мочкой уха человек отличается от животного), видать, поощрила любовника к новому неистовству и атаке. О, подлое бабье нутро! Так вам, похотливым сукам, и надо! Запоматовала моя очумелая дура и о грубом насилии, и об укусах и боли, сломивших ее лошадиную гордость, и уже сама бесстыдно провоцировала углубить соитие. А этот идол! Нет, видел бы ты, читатель, его морду. Отвратная, с дико, как у того пятиметрового крокодила, что проглотил меня, с дедом в зверинце, с вылупленными, идиотскими глазищами, лопающимися от перенапряжения, с полуоскаленной пастью, из которой, вообрази, во всю хлестала слюна, бурно пенясь, словно туда карбид сорванцы-мальчишки кинули.

С новым ражем рвалась атака.

Полтавская баталия.

«Но близок, близок миг победы.

Ура!»

Туловище Пегого, преогромное, что дом, сверкающее на солнце крупными, яркими, отражающими мир, каплями пота вдруг завибрировало: дрожь разрешилась мощным дерганьем, а затем перешла в агонические судороги, каряченье.

Все.

Механизм сработал.

Бабах!

Свершилось.

Или, как говаривали — у нас, в Качалове (память удержала, но тогда смысла не понимал), «кончил».

Юная кобылка чутко уловила бабьим нутром сей божественный трах-тах-тах. Да и кто бы не заметил извержения Везувия! Она засияла, преобразилась: громадные глазища, сияющие, как Витовские пруды в безоблачный день, замутились вдруг, почернели, получились какими-то задуренно-хмельными, даже развратно-бесстыжими, если бы они не источали циклопических размеров флюиды, если бы они не источали восторг, сверхчувственную истому. Знать, извержение жеребьячьего семени дало ей вкусить помрачающее наслаждение и еще нечто, что нам, мужикам, и не снилось.

Пегий уродливо-гигантской раскорякой соскользнул с потного крупа кобылки, скопытился, грузно ударившись одним коленом. Прямо-таки сорвался! «Неужто подох?» подумал я и вспомнил лекцию Алика, вспомнил, как обреченно гибнет трутень, оплодотворив самку. Но Пегий тут же вскочил и, как ни в чем не бывало, начал с ходу жадно цапать траву, всем своим видом демонстрируя, что ему теперь очень приспичило жрать. Одышка давала знать, что он уже не первой свежести: меха легких глухо похрипывали, посвистывали, будто были порваны и не в одном месте. Видать, свершенное было не очень по силам и возрасту: погнал его во всю прыть кто-то безжалостный, для кого цель выше средств, как гонят солдата выполнять священный долг перед отечеством, как какая-то сила движет горбушу вверх по рекам, чтобы там, у истоков, дав жизнь новым поколениям, найти свою запрограммированную гибель. Пегий хватал траву, добросовестно тер ее зубами, некультурно громко хрустел, даже хрюкал, а его опавшее, но все еще внушительных размеров непригожество напоминало шланг золотаря, волочилося по земле, все еще продолжа-

ло исторгать белую мутную густую жидкость, весьма смахивающую на растаявшее мороженое. В Качалове на туземном языке эта жидкость величается «молофья». Самое яркое, выразительное слово, какое я знаю!

К Пегому подкатилась Машка, озорно подпихнула крупом, снова с бесовским задором толкнула, потерлась о его надутый травяной мешок, фыркнула, сверкнув безупречными молодыми зубами, нырнула туда, в промежности задних ножищ, заинтересовалась тем бревном об одном конце, которое только что гуляло в ней и доставило неизгладимое удовольствие, но, видать, там она не нашла ничего путного и заслуживающего внимания. Вытянула, как гусыня, длинную, элегантную шею, положила морду на хребет насильника. Безграничная доверчивость, нежность, обезоруживающая женственность, софийность. Навек приняла, полюбила. А этот одеревенелый, бесчувственный истукан с неохотой повел на нее сонный, скучно-унылый глаз, будто спросил: «что тебе, курва, надо?» Сделал шаг. Грубо, раздраженно швырнул машинку морду, все еще бесстыдно прекрасную, преобразенную, словно имел дело с обрыдлой, надоевшей любовницей; пошел хватать траву, со смаком, звонко, нахально и демонстративно хрустя ею, похрюкивал, как живая чушка, жадно, шумно, торопливо хавал, набивая чрево, в котором начало что-то булькать, раскатисто и грозно урчать. Еще переступил; еще шаг, два, затряс, как собака, тучною гривою — вконец отчалил прочь от деспотически-назойливой кобылки, наивной, даже сексуально неграмотной, не воспринимающей сполна грубой, черствой, свинской мужской природы. Неугомонная, романтически настроенная дуреха все еще не желала принять мир без прикрас, без мишуры и позолоты, таким, как он есть. Ждала еще чего-нибудь. Нет, не любви и духовной близости, но хоть капли — не подумайте плохого! — внимания. Неужто все, праздник окончен? А ее, обезумевшую чертовку, учи «науке страсти нежной» и уму-разуму: — Отваливай!

С трудом, как после свинцового обморока, когда тебя чем-то увесистым по шебале тюкнули, я высвободился из мглы кудеса; прочухивался, опамятовался.

Расстанепутие.

Пронзен, потрясен. Подкошен.

Дорогие братья и сестры, в эту плотную, емкую минуту мои духовные глаза во всю ширь разверзлись. Я увидел новое небо и новую землю, ибо прежняя земля и прежнее небо уже миновали. То было не рациональное постижение, с зазубриванием и возвращением вспять, не рачительное

включение нового знания в систему, не полная модификация старой системы, даже не интуитивное с эдаким закидончиком проникновение в тайну. Это было озарение, гнозис. Это описано. Тот, кто направляется в Дамаск, ослеплен ярким светом, упал на землю. То же и у меня. Только свет был другим. Мое детское, инфантильное сознание осветилось черной молнией, мигом проникло в то, что было для него скрыто тяжелыми, плотными завесами, скрыто по причине физической, психической неразвитости, хилости, неспелости. Разверзлась зияющая душащей хмарью тайна. Раскрылось — сконгениалилось, сопережилось. Я был обескуражен, ошеломлен, прихвачен, даже в известном смысле целиком и полностью подменен, низвергнут в болото погибели и испорченности, как тот безоднореберный Адам, в которого вместе с злосчастливым, злокачественным яблоком вошла несвобода и кромешное знание новой реальности, знание, что он «наг». Из ватного обморока вернулся не светлый отрок, наивный, чистый, потрясанный, который только что вдохновенно и беззаботно таскал карасей на Витовских прудах, а до этого был увлеченным и наивным зрителем затейливой качаловской мистерии, а ноуменально другой мальчик, униженный проснувшимся инстинктом. Этот другой был грязным, гадким, пошлым, опустошенным, угнетенно-пришибленным. Мои синие трусики почему-то сделались липкими. Начало проступать жуткое, постыдно-срамное пятно. И бешеный стыд, который, по Соловьеву, является сильным свидетельством в пользу бытия Божия, поскольку его затруднительно вывести из фактора приспособляемости к окружающей действительности, стыд, которого я до сих пор не знал, как и Адам до того, как вкусил острую сладость запретного плода, подsunутого ему отчаянной и простодушной Евою, драл и корючил душу. Я ошалело рванул в сторону, оторвавшись от ватаги ребят, пулей ринулся с горки, с понтом держась за живот (мол. прихватило), забрал влево, шмыгнул в густой кустарник, росший по берегу Качалки. Укромно стирал трусы, смывал стыд в злюке-воде, не прогревающейся даже на июньском солнце; выжимал, разглядывал, обнюхивал; опять замывал, без усталости яростно драил.

Голос бабушки, совсем рядом:

— Женя! Где ты?

Властный голос, глухой, насыщенный тревогой. Но я умышленно не отзывался, глубже таился в уреме, за густой зеленью кустов, за деревьями, росшими по берегу Качалки, хоронился, уходил; ждал, когда просохнут распроклятые трусики, свидетели постыдства, вновь исследовал

их, обнюхивал буквально, как ищейка. Пятно смылось, исчезло, словно вовсе не бывало, но сладковато-рвотно-прииторный запах, чудилось мне, все еще усердно исходит.

Ничего не поделаешь, я выкатился из прохладной, мягкой тени деревьев на солнцепек, напоролся на бабушку.

Она агрессивно шагала по дороге, уже побывала на Витовских прудах. В правой руке — ореховый, старомодный посошок, с которым до ареста и лагеря ходил по ближайшим деревьям дедушка, собирал мзду с паствы харчами. Лицо бабушки страшно покраснелось, будто она вывалилась из жаркой качаловской бани (для пущей полноты сходства не доставало на голове полотенца); глаза ее то бесконтрольно, как у шальной, блуждали по сторонам, то метали грозные, далеко разящие стрелы. Она еще не видит меня. Я пуганул, ужаснулся весь. Почудилось, что прозорливая бабушка знает о моем отвратительном грехопадении. Стыд еще злее резал, коробил, крючил нутро. Хоть сквозь землю провалиться, пролететь стремглав в неисповедимые тартарары. Тигрицею бешеной накинулась, принялась журить, распекать, заушать, ранить разными нечуткими, очень обидными фразами. И вовсе не за то, что за собою я знал, в чем вину чувствовал. И где это я запропастился? С собаками не сыщешь! Почему другие ребята давно вернулись, а я один где-то шлындрую? Еще тысячи сетований и столько же почему? Ответы мои она не дослушивала, продолжала свое. Оборвала головомойку; драматически объявила, что едем в город, борзее собираемся и на крыльях летим к маме, что мама безумно нервничает (в последнем она не промахнулась: мама с ума сходила). А я, дуралей, тумак, дубина стоеросовая, безмозглая, все никак не уразумею, в чем дело? Почему бабушка, такая дока в физиогностике, вовсе не замечает, что клокочет в моей душе? Но вот наконец-то все урезонилось, упонянилось, разъяснилось, улеглось по полочкам и встало на свои места — успокоился, вздохнул:

— Ну, и слава богу!

Я угадывал таинственную связь между тем, что приключилось со мною, во мне, и тем, что разразилось вовне, так сказать, в большом мире взрослых, в истории и политике: всемирно-исторический катаклизм определился всецело моей волею, дерущим душу невыносимым стыдом, стремлением схоронить мое падение от прозорливых глаз бабушки, и я, как пророк Иона, готов был объявить взрослым дядям и тетям: «ради меня постигла вас эта великая буря».

(Иона. 1.12).

Вернулись домой.



Бабушка принялась укладывать мои немудреные пожитки.



Вот каким манером я был выкатапультирован и извергнут из беспечального детства во тьму крошечную, внешнюю, в мир взрослых с его бездушными, ледяными уставами причинности, естественной необходимости, с неумолимыми догматами науки, со всякими там моральными императивами. Это опасное сальто, вообще говоря, проделывает душа каждого человека. А как же иначе? Всяк, не умерший во младенчестве, в конце концов заключает соглашение с объективной реальностью, впрягается. Только у других переломность не так скоропостижна, не так безумно стремительна. Есть поверие: вот на свет божий народилось дитя, сразу на него пикирует ангел-хранитель, шлепает пальцем по верхней губе, и новорожденный тут же теряет память о своем предбытийном бытии. На верхней губе ребенка остается след от пальца ангела. Вмятинка. Ямочка эдакая. Печать. У женского пола очень пикантная, волнующая ямочка. Мой опыт велит мне добавить, что ангел к нам припархивает не единожды, а по крайней мере дважды. Детства не помнит никто! Я и не исключение, но в отличие от других я знаю, что что-то было удивительное, что память о нем поспешно затерялась, а при этом полностью исказилась, деформировалась моя природа. Видимо, у большинства людей (обычных, так называемых, нормальных людей) вообще не бывает детства. Предполагаю, что у моего мозговитого Алика, так щедро наделенного всяческими талантами, не было детства. Ему и забывать было нечего.

Ненапрасно, знать, говорено:

«Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него».

Из всей метафизики, которую я только что тебе, читатель, подбросил на прожевывание, заглатывание и медленное усвоение, прямехонько следует, что все то, что было мною усердно, педантично, порою крохоборски и бесстрашно размусолено, НЕПРАВДА. Не в том смысле это ложь, кривда, что я намеренно тебя надувал, читатель, наболтав три короба небылиц, сознательно исказил историю, блефовал, водил за нос. Не значит, что никогда не был в Качалове, что у меня не было дедушки священника, а если и был, то не погибал в лагере под Ярославлем в начале войны. Все было. Суцая и святая летопись. Был и

крохотулечный, азартный Алик, фонтаном пускающий из носа клюквенный морс, а теперь ученый ранга бессмертных. Но не это главное, а вовсе другое. Детство, его суть я на-мертво и сразу забыл. Да оно, может, и не вырази́мо на человеческом языке («нести человеку глаголати»). Можно пастозно живописать стародавние годы, Витовские пруды, непомерных, полутораметровых, бессмертных карпов, которые в них водились, и еще прибавить историю про клады, захороненные на дне прудов; можно плести словеса о задорном клеве карасей, про грандиозногрудых качаловских кикимор; можно обстоятельно выписывать быличку про историческое бывание в нашем захолустье царя; можно еще художественно красить развлекательные анекдотики, как я плутал, не мог без мамы дойти до школы, никак не находил ее на Негорелой улице и в том месте, где ей надлежало быть. Все так. Город, школа воспринимались мною, как обрыдлие застенки, а насильственно-обязательное обучение школьным предметам, которые не только полезны, но, видимо, необходимы для ориентации в вещно-объектном мире взрослых, было сплошным мучением, придиричивым, абсурдным тиранством, непостижимой бессмыслицей, рождающей пограничную ситуацию отчаяния, ужаса, опупелый конфликт «Я» и «Оно», от которого душа испуганно рвалась прочь, искала исхода и спасения в недугах, хворях, в мистических блужданиях в «веках загадочно-былых». К 4-ому классу я сделался квелым, болезненным. А любил я только Качалово. Имел тайное мечтание стать пастухом, тихо, беззаботно жить на природе, которая ближе к небу, чем современный человек, жить среди мирных, добрых коров, безмятежно, бездумно лузгать семечки, молоко парное сосать. Так. Все это правильно. Я как раз не хочу тебя, читатель, обманывать, не намерен описывать то, чего не знаю, забыл, должен был забыть. В извилинах мозга закрепилось только то, что вонзалось в детство внешнею, злою, враждебною силою, разрушая, калеча, уродуя истинное, глубинное «я», которое в своей первосушности цельно, плотно, чисто, безгрешно. Качалово — чудный, сказочный край, земля обетованная, заповедный оазис, в котором нет ни прошлого, ни будущего, а одна интенсивная экзистенция, прозрачное, незамутненное, сверкающее, сияющее настоящее, в котором «Я» радостно ущербится, растворяется, исчезает, словно в мистическом экстазе.

Дорогие братья и сестры, вот и я отпал от простой, трогательной истины, стал таким же, как вы. Загасло солнце детства, вернее, оно было застлано плотною, свинцовою тучей, как если бы кто-то неотвязчивый и бесконечно могу-

щественный напялил черные очки на глаза, и они исказили жизнь, сделали ее пошлой, грязной, лишенной красок, радости, экстаза, трансформировали бытие в объективную реальность, во что-то ограниченное, враждебно-дискретное, своеобразно-геометрическое, почти кубическое, трехмерное, холодно-логическое, предметно-чтойное. И нет места настоящему, а одно лишь прошлое, нахраписто фабрикуемое, фальсифицируемое зацензурированной памятью, и будущее, воображаемо-возможное, конструируемое греховным, болезненным, падшим, но надменным, гордым сознанием. Ледяное, мертвое, выхолощенное время равномерно, неумолимо, вяло, уныло, тупо, как песок в песочных часах, перетекает из будущего в прошлое, минуя настоящее. В обе стороны дурная бесконечность, камуфляж, абстракция, фикция, мнимость: испорченность, фатаморгана, мираж, мертвая пустота, структурированное небытие, ложь. Хотя я порою улавливаю, что в этом новом мире, раскрывшемся мне, с его вымороченною абстрактною очевидностью, бесспорностью, вещностью не все благополучно, что здесь одни теоремы, законы Архимедов, аксиомы Ньютонов, всякие тоскливые формулы, жаркие гитики, таблицы истинности, но не признать этот мир и его чтойность не в моих силах. Да разве можно прятать голову, как страус, не принимать всерьез, что земля наша шар, преогромный с экваториальным радиусом свыше 6 тыс. км, что зиждится он не на китах, а бегаёт вокруг еще более огромной, раскаленной до миллионов градусов плазменной шарообразной громадины, называемой Солнце, Гелиос, что вместе с землею вокруг солнца болтаются все десять главных планет с остальною шушерою, включая комету Галлея и ахову комету Энке-Баклунда, что солнце — это стареющая, неинтересная звезда-карлик, которая в свою очередь куда-то несется, спешит, летит, падает в черную пустоту дряхлеющей вселенной в направлении зодикального многозвездия Козерога, куда-то к черту на кулички. Как не принять помпезности великих географических открытий, торжественно-гнетущей очевидности геометрии, науки наук, и разных прочих гитик. Не принять — значит не просто слить чуркой, дебилом, но в самом деле таким быть, притом не в возвышенном, аллегорически-романтическом смысле (Достоевский: князь Мышкин), в самом что ни на есть прямом, архибуквальном. А я не святой, не герой. Не мне переть против бесспорностей и очевидностей мира сего, его вековой, посюсторонней мудрости. Малодушно ретируюсь, уступаю. А если уж говорить, как на духу, то я просто не готов отречься от мира сего, не верю в иные истины. И кому охота обыдиотиться, задебилиться. Будем жить по

правилам мира сего, не трахаться башкою о стену. Не прошло и нескольких месяцев, а я уже хорошо притерся к миру взрослых с его здравым смыслом, житейской обусловленностью. Не несу ложку мимо рта, что бывало у меня в детстве. Не сосу тряпку в углу. Нет больше нареканий, что не спускаю уборную. Не забываю застегнуть ширинку брюк, а тем паче расстегнуть перед тем, как начать мочиться. Не смотрю с захлебывающимся восторгом в звездное небо. Чувствую себя вольготно и даже комфортабельно в вечно-объектном мире. Вовсе не рвусь его расколдовать. Зачем освобождаться от чар державного разума? А этот разум уже дискредитировал, обпачкал горную истину детства, как когда-то софисты и Сократ дискредитировали волшебные, полные таинственного смысла и судьбоносности мифы эллинов, как надменный разум просвещения дискредитировал истину христианства, объявив ее глупой сказкой для детей и невежественного темного люда; и его насилию (насилию моего интеллекта), грубому «цыц», палочной дисциплине, террору подчинилось все: моя память, мои чувства, моя совесть. И, как срамное, ядовитое проклятие над моим детством, звенит голос Александры Гавриловны: «Велика Федора, да дура!». Ужасно. Стыдно. Жгуче, чудовищно стыдно. Забыть и никогда не слышать. Это едкое, хулящее, гнетущее слово мамы Алика явилось для меня «обращающимся пламенным мечом» (Быт. 2.24) в руках бдительного Херувима, который опосля того, как я старательно застирал в Качалке трусики, гневно встал «на востоке у сада Едемского» (Быт. 2.24), преградив дорогу вспять, дорогу к звенящему, чистому счастью детства, к Качалову — к высшей истине святого откровения. Приму что угодно, злополучия, войну, смерть мамы, папы, бабушки, свою смерть, но только не быть идиотом, дефективным дебилом, кретином. Да по мне лучше смерть, чем потемки слабоумия. Путь назад закрыт. Душа темна, опоена, засорена, загрязнена, осквернена и отравлена знанием своего пола, терзаема необузданными блудными помыслами. Факт, как шеломящий выстрел из ружья: 1-ого сентября 1941-ого года в 5-й класс вошел не тот чистый, простодушный, окрыленный, блаженный, доверчивый, всегда преданный игре, всеотзывчивый, неистребимо-счастливый, серафический идиотик, над которым вы потешались и смеялись до икоты и все потому, что он не от мира сего, незстетичная неряха, болван, олух царя небесного, бестолочь, путающая все. Вошел другой малец. И этот другой уже одевается проворно, без посторонней помощи, не теряет ручек, портфелей, ушанок, а тем паче хлебных и продуктовых карточек, бодренько находит дорогу до школы, хотя теперь

(вроде упоминалось, что мы с мамой и бабушкой после ряда пертурбаций и передраг силою вещей очутились в Казани) школа далекононько от общежития КГУ — обители, куда нас, беженцев, эвакуированных, сунули. Казань, эвакуация, голод с первых дней, гул, бормотание и бульканье в пустом животе, вшивость, холод. Очереди за продуктами, злые, серые, непролазные. Мрак! С ночи занимали, маялись, каждые два часа пересчитывались. А этот сорванец уже освоился с новой действительностью, приноровился к ней, и в очередях чувствует себя как рыба в воде, ловчит, продувная бестия, где можно. Ему дается жирное начертание на правую руку. А это начертание есть ни что иное, как натуральное число. Он верит в силу числа. И это не просто число, а как бы символ: диплом, паспорт, путевка в жизнь. Без такого числа на правой руке нельзя ничего купить, даже если у тебя есть и деньги, и карточки. Тебя и в очередь никто не пустит без начертания. Небось, читатель все это и без меня знает, слышал? А в школе дела этого мальчика сносны. Памятлив, вызубрил таблицу умножения; сведущ в азбуке и может по складам разобрать печатанное, уразуметь и передать своими словами. Притом с каждым днем его толковость лавиною множится; крепнет. Учителя считают, что он фурыкает, не промах, и за него можно не беспокоиться. Очень дошлый. Если не знает урока, умеет пустить пыль в глаза. Тьма смекалистости и безудержной фантазии. Ловко использует подсказки, шпаргалит, мастерски списывает, прямо чудеса творит; дерзок. Навести тень на плетень для него — раз плюнуть. Словом, перед вами эдакий крепкий середнячок, твердо стоящий на твердых ногах, хватающий попки и хорики, а порою замахивающийся и на большее (домахался голубчик: загудел в лагерь!). Но этот мальчик не в ладу с самим собою, лишен самости и внутренней тишины, пуст, как барабан, завидуя, тщеславен, его корючит самолюбие, а в голове грезы бродят; своенравен, эгоистичен, раздражителен, неуступчив, бессердечен, черств, по-хамски груб с матерью и отцом, а особенно с бабушкой. Мальчик порчен, темен душою, мучим похотливыми побуждениями: трусливо, исподтишка, с алчным, жгучим вожделением заглядывается на девочек, прелюбодействует с ними в сердце своем, выбирая, естественно, тех, у кого начали наливать, округляться груди. Невозможно даже охватить, как велико неустройство его душевного хозяйства, как назойлив зов пола, как гипнотизируют его девичьи груди, эти вздыбливающиеся, вспыхнувшие яблочки, знаки женственности, насколько злые духи сладострастия овладели его душою. Но его арканит не арбузное сверхизобилие, мощь Кибелы, т. е.

не пышное роскошество взрослых теток, а груди девочек-подростков, маленькие, удивительные, данные робким намеком: голова кругом идет и слюнки текут. Приманка природы, точный знак, будящий инстинкт, воспламеняющий воображение, часть, символизирующая великую тайну, целое. Мне было прозрачно, почему именно через яблоко праmaterь Ева сбила Адама, и какое яблоко она ему подсуропила, и что есть это самое райское яблоко. Не претендую на оригинальность. Кому не являлась подобная мысль! Есть даже картина. Не то Тициана, не то другого какого-то старого мастера. Грехопадение. Эдемский сад. Красотища неопишная. Там и сям бродят львы-вегетарианцы, жираф, слон, зверье всякое, неведомое, птицы, вроде павлины, кот схватил и несет мышь. В центре — могучее дерево, обильно увешенное здоровенными красными плодами. На дереве разместился губитель-змея. Морда наглая, человеческая, рот до ушей, в улыбке: мол, дело в шляпе! Хо-хо! Не скажешь, глядя на эту морду, что он «хитрее всех зверей полевых». Под деревом — пухленькая, голенькая бабенка. Ева — всякий догадается. Она стремительно тянет руку куда-то вверх, за яблоком, которое оказывается одновременно и у змея, и уже в ее руке. Она подалась вся, как бы обиняком и ненароком подсовывает под руку Адама другое яблоко, свое, грудное. Адам озадачен, растерян. Опрометчиво, неловко, робко, толкуй, впервой, начинает, извиняюсь, лапать женскую пухлую грудь, вовлекается в это занятие, фактически уже соскользнул на стезю греха, уже летит в пропасть гибели. Ева — это жизнь! Ловлю связующее звено между яблоком Евы и другим (может, не вовсе другим, а тем же, но в иной культурно-исторической среде), яблоком раздора, распри, мстительной зависти, тщеславия, яблоком, загубившим великую цивилизацию. Трою. Не случайно, в этом сокровенный смысл: Парис то яблоко презентовал Афродите, богине любви (земной; Платон, поздняя античность прозревали Афродиту небесную, но не ей, а «сладкоумильной», дарующей «пьянящую радость объятий», досталось яблоко). В мои лета, когда силы воображения и телесные силы быстро идут на убыль, когда далеко позади юношеское моление о женщине (перефразирую Маяковского, «Облако в штанах»: «А я — /весь из мяса,/ человек весь — / тело твое просто прошу, / как просят христиане — / «хлеб наш насущный / даждь нам днесь».) и душу не так безумят женские груди, рискну на уточнения, которые, может, кое-кому покажутся чересчур трезво-объективистскими. Во-первых, считаю святым долгом отметить, что в дамском теле не одни груди, но все мечтательно, аппетитно, каждая ихняя бесовская кле-

точка. В этом порукой мне будет величайший мудрец и большой дока по части прекрасного пола царь Соломон (X век до Р. Х.): «Вся ты прекрасна возлюбленная моя». Надеюсь, что авторитет царя Соломона в корне пресечет споры и кривотолки. Во-вторых и главных, сдаётся мне, что иной аспект грехопадения важнее взять под увеличительную лупу. Обратите внимание, вдумайтесь, вчитайтесь: «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». (Быт. 2.16). Прямо и недвусмысленно дерево названо «деревом (древом) познания». Что сие значит? Чем является человеческая история, особенно история последних столетий, если ее разглядывать в этой перспективе? Разве яблоко Ньютона не есть еще одна ипостась плода с «древа познания»? Вкушаем и продолжаем вкушать, жадно. Уже «звезда польн» отравила источники пресных вод, о чем нас предупреждали. Не за годами великая и последняя катастрофа. И все летит в пекельную преисподню. Сказано: «Времени уже не будет». Апокалипсис! Трубный глас! Поди, не зря писано, забиритино, провещано. «Велик ты, Господи, и чудны дела Твои». Как это? Ну —

— ДЕНЬ ГНЕВА!

«Я накажу мир за зло, и нечестивых за бесчестия, и положу конец высокоумию гордых... Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его» (Ис. 13.11—13).

«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом перейдут, стихии, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3.10).

«...День Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба...» (1 Фес. 5.2—3).

«А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». (2 Пет. 3.7).

«Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего» (Мф. 13.40).

Страшны слова:

«В чем застану, в том и сужу».

Итак, я попотчевал тебя, читатель, историей своей жизни, бесстрашно рассказал о самом важном, значительном и роковом ее событии. Рискну еще кое-что присовокупить. Хочу обратить внимание, что та картиночка, которой завершается мое детство, которая определила мой переход в иное бытие, в мир взрослых, очень запечатлелась в памяти, обожгла

душу мою, стальным резцом в ней выгравировалась. Вдруг и ни с того и ни с сего (точнее, с того самого) у меня прорезался талантик, окаянный, жуткий. По вине его я, как муха, влип в кошмарную кутерьму, чуть не полетел из школы с волчьим билетом. Удержался: на лжи. И еще на нюнях и соплях. Талантишко мой такого сорта: лихо, прытко, с вычурой и смелыми, срамными реализмами я мог запросто и в одно мгновение, что ваш всемирно славный китаеза, наштриговать спаривающихся коней. Буйными, дымящимися, неистовыми и вдохновенными безобразиями я густо загадил стены уборных на двух этажах школы. Низменная сила, сцапавшая меня на перепуты, врасплох, бытийствующая не во мне, а как-то там вне меня, рядом (в последнем я абсолютно уверен и тверд), ну там в 4-ом измерении, пихала меня на дерзкие, злокаверзные шкоды. Чужую, внешнюю, inferнальную волю я ощущал явственно. Мне слышался голос, всегда где-то позади, за плечами, незнакомый, нездешний, пронизательный. Чаще это было трехкратное покашливание, вроде:

— Ферт. Ферт. Ферт.

И от этого «Ферт», если я тотчас не обезволюсь, если я со всех ног не мчусь пакостить на стенах уборных, тоска тоскучая, нестерпимая, меланхольная. Поразительно точные нашел слова Пушкин для передачи воздействия духа на материю:

— Исполнишь волею моей!

Читатель, спокойствие. Тише! Не бунтуй зря, из-за ерунды и сущих пустяков. Ты не деревенщина. В XX-ом веке не положено чему-либо удивляться. Экстрасенс. Филиппинская медицина. Йога. Бермудский треугольник. Летающие тарелки. И что спиритного в том, что я голос слышал? Сократ голоса слышал. Веня Ерофеев слышал. Маяковский — на что бодрячок («Лет до ста расти нам без старости!») — и то различал какие-то ритмически шумы, взмахи крыльев гигантской птицы, не то орла, не то страуса, когда поудобнее устраивался стихи кропать. А о Блоке и говорить не приходится. Впрочем, если ты, читатель, все это не принимаешь, пропусти, считай, что у меня шалили нервы.

Мой одноклассник, развязная пустомеля, ветрогон, бала-лайка, таратора, сорока-Якова, зубоскал, а между прочим, как я позже узнал, из очень достойной семьи, накрыл меня в момент художественного экстаза. Я услышал скрип открывающейся двери уборной, воровато отпрянул, отдернул руку. Поздно. Он видел. Все усек. Он сиял, как злое солнце. Затем посулами, прямыми угрозами принудил меня нарисовать ему в тетрадку «лошадок». И я сдуру под-



дался, нарисовал. Как назло, очень получилось. Удача. Из всех моих художеств самое художество: изысканность, эдакая нервная хрупкость рваного контура крупа Машки, изящные, легкие дамские туфельки с расфуфыренными бантами вместо банальных копыт, элегантная вытянутость пропорций. Этот эстетизм совмещен со стремительным, острым неприличием, с яростной, бушующей, brutальной динамикой. Только, значит, я закруглился, передал рисунок вместе с тетрадкой на экспертизу, в сокровенных тайниках души подсчитывая, что буду вознесен до седьмого неба (талант жиреет похвалами, нуждается в аплодисментах, как растение в поливке и солнце), а этот наглый оглоед удружил приключеньце на хобот. Не успел я дух перевести, как он пулей выдрал лист из тетрадки, сунул его девчонке-ябеде, что с ним за партою сидела. Я остолбенел. Нет даже мочи соразмерить, что проистечет? что будет? чем все это кончится? Вижу. Эта засыха отмахивается, капризно женским, нежным, тоненьким плечиком виляет, смотреть не желает; все же с досадой даванула косячка на рисунок и — стальной пружинкой выпрямилась (не в переносном, высоком, аллегорическом смысле, как то приключилось в гениальном рассказе у Глеба Успенского «Выпрямилась», а в самом прямом, физическом), выпустила изумленно-восторженно «Ах», будто у ней целка лопнула (в скобках замечу, что еще наш знаменитый баснописец Иван Андреевич Крылов в басне «Сочинитель и разбойник» показал, что границы воздействия греховного искусства непредсказуемы), похорошела, пунцово зарделась, ровно ее крутым кипятком ошпарили или новую кровь впрыснули (откуда прить взялась у этой анемичной халды), и тут же дрянь паршивая, псица прокаженная, ехидна ядовитая, скорпиониха вонючая, труперда, кобра, тарантул, каракурта черная, отволокла мое неистовое художество на стол училки. Ее подвигу не должно удивляться. Я назову десяток критиков, которые аналогичным образом поступали с любимыми и ценимыми поэтами. Ее вижу, помню: Ева Кулакова. А вот фамилию однокашника запомнил. Дозволю резон. Может, он и не был таким уж заядлым змием-Горынычем, как представлялся в ту роковую минуту. Он ведь по уши втюрился в толстоногую, рыхлую дурынду, что с ним сидела за партой. А любовь жуть, как зла. У мальчиков она частенько манифестируется в грязные, свинские формы. Девочка была для него небесным созданием, однако он назойливо допекал ее нехорошестями и пакостями, за которыми нельзя было разглядеть истинного чувства. А о проделках с упоением, хвастовством и бесстыдством рассказывал мне. Я же был болезненно застенчив, но с растре-

воженным интересом прослушивал его повести. Итак, листок на столе у училки. Сердце мое оборвалось. Потянулась за иголкой ниточка и вскоре узелком зацепила меня. А этот сукин кот, начиненный требухой похабных анекдотов, пакостник и долготязычный поганец, не подумал меня обелить и хоть маленько выгородить, как когда-то выручал, обелял Алик, друг мой ситный, а проиудил и заложил с потрохами. А ведь за язык никто не тянул. Это не значит, что он должен был вину на себя полностью взять. Вовсе не требовалось. Достаточно чернуху подпустить, сказать, что рисунок, мол, нашел в парте. Не знаю, мол, кто рисовал. Учились-то в три смены. Война. Я подсовывал эту версию. Но он на меня все опрокинул. Воображаете, какая распузырилась буча? Тарарам. Свистопляска. В учительской загнали меня в угол, сгрудились вокруг. Прижали. Лаяли. И умышленник я. И — вредитель. Объективно (очень логично выходило это у них): пособник врагу, немцу-гаду, фашисту. Мне не дорога честь школы: эвакуированный. Срамили, волчились, нудили, истово жалили кусательными словами. И все это проворачивали по несколько раз.

Дружным психопатским бабьим визгом:

— Таким не место в советской школе!

Наконец, сунули меня, голубчика, на позор и окончательную расправу в кабинет к директору. В детстве, то есть до осквернения, я вовсе не мог кривить душой и заливать галоши, до глупейшей глупости резал правду-матку, притом говорил всю правду, ничего не утаивая, но теперь я уже был ловким вралем и продувной бестией, виртуозно овладел сильным рычагом приспособления к объективной реальности, данной нам через грехопадение. Словом, я тупо и наглухо заперся в лютом солгании, сквозь оборонительно-неприступные сопли и нюни до одури фанатично гундосил:

— Не я.

Не я и — баста. Поклеп, мол. Понапралину, дескать, возводите: и рисовать-то не умею нисколечки. Ничего и близкого на уме нет. Кого хочешь спросите. В конце концов: испытайте.

Партизан прямо-таки. Зоя Космодемьянская (1923-1941).

Отчаянное, бесстрашное вранье услужило мне добрую службу, выкривило, вынесло, спасло. Директор мне не верил, но у него, видать, возникли колебания, флюгеряния. Ведь всего один свидетель. Ева Кулакова не видела. А вдруг все же не я. Да и как эти руки-крюки могли сварганить дерзкий, слаженный, замысловатый, но анатомически на удивление верный и точный рисунок? Еще добавилось стечение обстоятельств (для меня счастливое): у директора в кармане

лежала повесточка из военкомата, и он естественно думал не только о школе, но и о вечности. Вскоре его забрили. На его место двинули преподавательницу географии, молодую и шибко партийную. Она бы мою биографию покалечила со сладострастием.

Сам поверил, что проклятых «лошадок» не я рисовал, что «наказан без правды» и «страдаю невинно». Диву просто даешься, как намертво маска лжи припекается к лицу, становится бесподдельным лицом, личиной. А стены уборных забелили. Мои дерзкие вдохновения исчезли, как в мрачное европейское средневековье сгнули творения античного гения. Я же, подранок, погорелец духа, запуган, замордован, сломлен. Но не будет большою ошибкою, если сказать, что я исправился, угомонился, исцелился. Это так. Никогда уже ничего подобного я не отчебучивал. Даже для близира не балуюсь, завязал. Перестал быть игрушкой злой нечистой силы. Не слышу мерзкого, неотвязчивого, тоекратного «Ферт-ферт-ферт!». Ушел от настырного понукания к знойной порнографии. А что, если был талант? Мой Сезанн так и не распустился, закопан в землю, придавлен тяжелой мраморной могильною плитой, зацементирован, забетонирован. Но я не скорблю, что одолел гадкую, авантюристическую страсть и туго держу себя в мундштуке, поправил волю к злохудожеству в общественных нужниках.

Бедная моя мама! И колико она, великомученица, вынесла, вытерпела, выстрадала. Не могла она объять, что ее правдивое ненаглядное чадо (она все еще верила, что я, как в детстве, прост и правдив!), ее «горе луковое», смело подвигнуться на отчаянное злоплетение, ложь, криводушие, а тем паче на каверзы и сальные, дурные пакости на стенах уборных в школе.

Замордовали учителя маму.

Вот, читатель, кажется, и все, чем могу тебя развлечь и позабавить.

Ну, раз оговаривался, намекал, скажу открытым текстом, что не то в 8-ом классе, не то в 9-ом, не то в 10-ом, уже в Москве, я спутался с Кузьмою (да, с тем самым — легендарным!); в конце концов нашу компанию сгребли. Следственные тюрьмы: Лубянка, Лефортовская. По ОСО — 8 лет. Путевка ГУЛага: Каргопольлаг.

Лагерь, как лагерь: ничего интересного.

Пожалуй, для пущей избыточности недостает пары слов о бабушке.

Казань, Клыковка, общежитие КГУ, куда нас, беженцев и эвакуированных, словом всех неприкаянных горемык, сунули. Конец лета, а может, и осень 41-ого. Прыжки чужого,

колющего ветра, поднявшего невероятную пыль, на душе скребут серые кошки; сгрудились мы все во дворе толпою, задрали кверху головы, устремились к хрипящему, дребезжащему черному динамику, прилаженному неделю назад высоко на столбе. Видимо, сводка. Очередная. От Информбюро. Памятный, впечатляющий, исторический голос Левитана. Что-то там наши войска оставили. Куда-то они там отошли, непонятным фортелем выровняв линию фронта. Обычное, словом. Невеселое.

Мы с бабушкой заломили головы, стоим в гуще, напряженно ловим непонятные слова диктора, а сзади — такой занюханный, нервный (зеленое, длиннущее, нелепое кашне его, помню; голос, потерянный, беспомощный, жалобный, очень помню):

— Жмет Адик.

Еще; добавил тем же скверным потерянным голосом:  
— Просрала большевики Россию!

Вижу бабушку: белое, синее, красное. Вот так вижу. Высокая, прямая, сухая старуха-жердь. Она величественно повернула голову (на голове что-то белое, может быть, платок), посмотрела. Как посмотрела! Прожгла! Прианафемила. В порошок затерла. Кошечем бессмертным испепелила!

Совсем забыл пояснить, что с начала войны не один я, но и бабушка невообразимо переметаморфозилась, подменилась. Поражения на фронтах возбудили в ней ревностный, безрассудно-жертвенный патриотизм, раздражительность, вздорность, нетерпимость. Уныния, сомнения, теплохладность угнетали и раскипидаривали ее. Не переносила сетований, разговорчиков, что дело швах, что наши во всю драпают, что Москву решено сдавать, как в достопамятном 12-ом году. Наперекор всему, наперекор фактам она верила в русскую победу. Отец как-то не выдержал, в шутку подбросил рекомендацию, что бабушке, мол, в самую пору идти в партию.

Как топор метнула:

— И пойду!

С суеверно-брезгливым омерзением:

— Не русское у вас сердце.

Сколь раз я влетал впросак, опростоволашивался, а потом из-за такого очень переживал, страдал, каялся, и все потому, что не умел вовремя сориентироваться, уразуметь диалектику: ведь твой друг уже не в тех идеях, что прежде, уже заменил сокровенные убеждения, притом они не просто другие, а правильные, умные, прогрессивные. Линька убеждений под натиском времени, идеологических эпидемий, моды — это вполне закономерный естественный процесс, при-

знак здоровья и роста. Олени сбрасывают рога, слоны — бивни, черепахи — панцырь, змеи — кожу. Человек меняет убеждения. Но никто на моем веку не исправлял взглядов так круто, обрыно, как бабушка. Она всё простила «нечестивцам», «антихристовым душегубам», предала преподобного деда. Но не выпало на ее долю дожить до победы. Умерла в эвакуации, в Казани. Там, на Клыковском кладбище, ее и похоронили. От водянки умерла. Чайком любила побаловаться, «взбодриться», а свое отчаянное водохлебство списывала на то, что, мол, «волжанка». Ну, само собой, сахаринчиком баловалась, злоупотребляла. Тогда все на один глас пели, что сахарин абсолютно безвреден, и не то в 300, не то в 500 раз слаще сахара. Его лучше предварительно развести в каком-нибудь сосуде и добавлять в виде концентрированного раствора, а то можно зараз дать маху в дозе. И экономнее. Все так делали, словом. Но у меня и на йоту нет колебаний, что сахарин люто вреден, особенно для пожилых и старых людей, которым вообще все вредно и враждебно. В наше время не только сахарин, но и сахар называют «белым ядом».

Хочу напомнить истину, которую хотя все мы знаем, но как бы и не знаем: все мы помрем. Адам на что долго жил, вроде 930 лет. Но и он умер. Гиппократ, славный и мудрый врач, столько вылечил, столько спас от неминуемой смерти, избавил от лютых страданий, но сам занемог и на 98 году жизни увидел в ногах постели ангела-разрушителя, ощутил ледяное дыхание смерти. И те, кого он вылечил, в конце концов умерли. Умер Лазарь, брат Марии и Марфы, воскрешенный на четвертый день Спасителем — не жил после воскрешения из мертвых вечно. На небо живыми, говорят, взяты Енох и Илья-Пророк. Но исключения, читатель, лишь подтверждают правило. И моя бабушка, может, умерла не потому, что имела необузданную слабость к подсахариненной воде, доконавшей ее, а потому, что такой срок наворожен ей и записан в книге живота. Время, знать, пришло. Великий философ древности Гераклит умер, как и моя бабушка, от водянки. Но разве он уестествлял подсахариненную воду? Нет. В ту архаическую пору (конец VI-го века до Р. Х.) употребляли в пищу только натуральные продукты. Никакого сахарина в помине не было! И волжанином он не мог быть. Он, говорят, из Эфеса, Гераклит Эфесский, Темный. И к воде он относился с превеликим подозрением. Вода в некотором роде находится в оппозиции, противостоит огню. Это он пустил крылатую, долетевшую до нас хохму, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Все течет, все диалектика, все Гегель и происходит из огня. Своей философией он раз-

нится не только от моей бабушки-водохлебки, но и от отца эллинской мудрости Фалеса. О Фалесе ты, читатель, поди слышал только то, что этот мудрец глазел на забитое звездами небо, забыл о земле: споткнулся незадачливо, потерял равновесие, ухнул в колодец. Удручающий факт, если принять во внимание, что с него начинается философия. К тому же, говорят, над бедным мудрецом хохотала прехорошенькая фракиянка, пришедшая с кувшином по воду. Очень обидная ситуация. Когда над тобой смеется женщина, да еще прехорошенькая — непереносимо! Я это знаю из собственного опыта. Если ты, читатель, истерзанный мятежными, вечными, «детскими» вопросами, возьмешь в руки солидный учебник философии, то первое, что узнаешь, что философия начинается с Фалеса, что Фалес учил, что все происходит из воды! Вот бы кому умереть от водянки! Так нет же. Фалес умер от горячки. А Гераклит, который славил неугомонную огнедышащую неугасимую душу мира, полагая великий огонь источником и присноосновой сущего, алтарем Зевса (вот бы кому умереть от горячки!) умирает (о, ирония судьбы!) от водянки, завернутый в шкуру быка. Пожалуй, один Демокрит умирает, как положено, так сказать, в соответствии со своим учением: как об этом сообщает Марк Аврелий, он был заеден вшами.

1981

# ТАЙНА СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

**В. КРУПИН (писатель):**

“Взгляд автора / Федорова / индивидуален, он принадлежит только ему. Его не спутаешь с Шаламовым, Гроссманом или Со-  
лженицыным. Федоров — имя новое, но имя — ПИСАТЕЛЬСКОЕ.”

Оглядываясь назад, не могу не согласиться, что мне порядочно-таки в жизни подфартило, притом в актуально настоящем. Все дураку было дано для счастья, даже понимание, в чем истинное счастье. Хочу рассказать печальную историю, как можно все потерять и только потому, что съешь нос не в свои дела, а в чужие семейные тайны. Начну чередом и по порядку. Я, значит, десятилетку-то окончил с золотой медалью. Чего-чего, а способности были: гордость школы. Люди умные посоветовали ехать в Москву, учиться дальше. И я, значит, рванул: без экзаменов принят был в Библиотечный институт — на Левобережной (теперь он переименован и называется более правильно — Институтом культуры; но мне до сих пор любо старое, скромное название).

И вот чуть ли не в первый день занятий увидел одну кареглазую девчонку; с ходу втюрился в нее. И как втюрился: по уши. Началось; закрутилось: цветы, балдение часами у ее подъезда, жгучая, несусветная, черная, маниакальная ревность и все такое. Вы, наверно, усмехнетесь и скажете, что обыкновенная история, с кем в юности не приключалось. Не в этом дело. Я, конечно и раньше робко заглядывался на хорошеньких трясогузок, влюблялся то в ту, то в иную; Но все это были детские забавы, ерундистика, неумеренная розовая мечтательность, словом — романтика. Когда я увидел Наташу — мозги завихрились и вывихнулись, наступило помрачение. Моя юношеская, еще легко уязвимая, хрупкая психика оказалась абсолютно беззащитной перед яростным, испепеляющим демоном, злобно и властно схватившим душу, терзающим, рвущим, мучающим ее. Болезнь, прямо-таки пронзительная болезнь, и если бы Наташа не ответила на мое неистовство горячей взаимностью, не знаю, чем бы все завершилось: мог бы запросто наложить на себя руки (к такому поступку я вовсе не предрасположен).

Но все хорошо, что хорошо кончается: Наташа мучила меня не долго, и мы в конце концов расписались.

Вы, дорогой читатель, со своей житейской премудростью, конечно, предугадываете, что наша идилия закруглилась семейной драмой. Да, так. Вернее, почти так. Словом, развелись мы. Надобно и уместно будет сообщить, что женат я был еще четыре раза. Не таюсь. Только не думайте, что я какой-то сексуальный маньяк, скорее, обратное: я однолюб. Но так все получается. Все потому, что я не просто схожусь с женщинами, а хочу иметь жену. Другие ухитряются в опасный момент в окно выпрыгнуть, а я сажусь на крючок и женьюсь. Но по-настоящему я любил только один раз — Наташу; только раз мир воистину преобразился, сделался ярок, полон волшебных красок. Не жалею, что рано женился. Я вообще считаю, что жениться следует рано. А все эти разговорчики взрослых, опытных людей, что ранние браки опасны, что надо сначала погулять, перебеситься — вздор. Уж поверьте мне. Притом жениться рано хорошо не только девицам, но и юношам. А, впрочем, какое мне до этого дело! Провалились они все черемухой! Современную молодежь, смену нашу, я не уважаю. Эти акселераты бесят меня. Видеть не могу их бесстыжие буркалы, самодовольные охальные улыбочки. У меня руки чешутся — так бы и дал по морде. Нет, дорогие мои, не habeas corpus и права человека нам, русским, нужны, а — телесные наказания: публично сечь наглецов на Красной площади и еще для назидания по телевизору показывать.



Признаю: загнул малость, занесло. Но это в сердцах. Каюсь. Никто не знает (в том числе и я), что делать с молодежью, с беспросветным пьянством, преступностью. И мерещится мне, что где-то в глубине души вы со мной согласны и сами считаете, что в отдельных случаях (пусть: в отдельных! Пусть ты имеешь тело и задницу дородную, широкую, пусть. Даже хорошо, что задница широкая: сечь удобно!) ой как пользительно было бы припечь. Нет, не обойтись нам, русским, широкозадым, без порки. Не для нас благородные институты.

Хватит об этом! Баста.

Мы-то акселератами не были!

Порою глупее были, наивнее, но чище.

Лучше!

У нас идеалы были!

И великие иллюзии.

В годы моей юности все было другим. Если бы мне тогда сказали, что такой-то женится только затем, чтобы уклониться от распределения, зацепиться в Москве, а у жены есть квартира, комната, словом, жилплощадь — не поверил бы. Конечно, всегда все было. Говорят, ничто не ново под луною. А квартирный вопрос стоял острее: легче из лагеря выйти, выиграть в лотерею 100 тысяч, чем получить квартиру в Москве. Но цинизм не был нормой. Скрывали, стыдились. А ныне и не скрывают. Если кто-нибудь, не имеющий московской прописки, женится на москвичке, всем очевидно, что это фикция и мухлеж, что ни о какой любви и речи нет, что молодые разойдутся, как в море корабли, разменяют жилплощадь, каждая сторона получит свою выгоду. Конечно, есть и теперь исключения, но нормы иные, пошлые, уродливо-циничные, подленькие.

А ведь и я когда-то!..

Помню, вся школа сгрудилась на платформе; Паганель (прозвище директора), трясет руку, нелепо как-то, долго не отпускает ее, напутствует:

— Твой щит на вратах Цареграда!

Из Читы мы, сибиряки.

Как говорится — чалдоны.

Впрочем, все это давно не имеет никакого значения.

Но я отвлекся. Рассказывать-то я намереваюсь не о чем-то, что имеет хоть малейшее отношение к распущенности и наглости современной молодежи, а об отце моей первой жены, о своем тесте, значит, которого к этим гаденышам и соплякам никак не отнесешь, который являлся, можно сказать, представителем доживающего дореволюционного поко-

ления, к тому же он умер, притом умер в весьма нафанаиловом возрасте. Точнее (это обстоятельство важно, а потому прошу запомнить): утонул. Последние лет так 20 он на Кавказе осень проводил, в Новом Афоне. Для здоровья считал новоафонский воздух, солнце чрезвычайно полезными («в Пицунде уже не то»). И вообще: прогулки в горы («к паровозу»), купание в теплом море, фрукты, орехи, овощи. Мясо он, между прочим, совсем не уважал и начисто изъясил из своего рациона. Насчет убоинки у него целая теория была. И вот — несчастный случай. Полез в море во время шторма (замечу: трезвым! спиртное в рот не брал), бултыхался, плавал в волнах, стал вылезать, тут его одна волница шибанула хорошенько; напряг здоровье, поднялся — вторая, фатальная, еще мощнее долбанула, сбила с ног, волокла, крутила. У самого берега, где совсем мелко, захлебнулся насмерть (а то он мог еще лет 50 прожить, очень бодрый был). Ну — откачивали, конечно. Все — бесполезно. Говорили, что песок в легкие попал. Там, в Новом Афоне, и песка-то вроде нет, так, мелкая галька. Но факт остается фактом. На столе покойничек. Я лично в шторм никогда не купаюсь, хотя плаваю неплохо, воды не боюсь. Но зачем же, как медведю, на рожон лезть?

Повезло мне, братцы мои, не только с женою, но и с тестем. Живой, энергичный, подвижный, как ртуть. Профессор университета, оптик, весьма известный. Бородка, как у Чехова (или Леонида Андреева: все они на одно лицо! Не знаю, как вы, но я их не различаю, путаю каждый раз) и пенсне такое же, выговор старорежимный, забавный. Все-то он читал, знает; ходячий Брокгауз и Эфрон. Мило шутит, легонько подъелдыкивает; но деликатен, очень кстати цитирует всяких там Гаутам, Конфуциев, Экклезиастов. Можно без обиды сказать, что годы почтенные, уважительные; но ни старческих запоров, непроходимости: желудок, как у молодого работает. Голова ясная, память сильная, лошадиная. На что у меня острая память, а ему порою завидовал. Ни малярии, переходящего в естественный идиотизм, ни характерной для стариков сонливости, утомляемости. Правда, в последние годы с глазами у него худо стало. Но это отнюдь не по вине немилостивой старости. Я как раз намереваюсь чистосердечно, как на духу, рассказать, при каких злосчастных обстоятельствах, свидетелем и отчасти виновником которых я явился, мой потрясающий тесть утратил драгоценное зрение. Один глаз у него вовсе не видел, другой — так, кое-что, но не совсем. Уже давненько он носил не дореволюционное пенсне, а большие, темно-серые, чуть дымчатые с отливом в зеленоватое, очки. Ему их из Франции привезли. В наши дни

за такие очки любые деньги дадут. И не только длинноволосые стилиаги и пижоны, а любой. А он их носил не потому, что летел впереди моды, предопределяя стиль грядущих десятилетий, а для того, чтобы прикрыть пугающее безобразие своей вывески. Мы и в гроб его в этих самых непомерно огромных очках положили. Со мною посоветовались, не снять ли, дескать, очки? Не большой я знаток погребальных обрядов, отмахнулся:

— Пусть в очках.

Физик, знаменитый оптик: вот мы его с оптическим инструментом и хороним.

Не всем пришлось по вкусу, что в очках, и одна сердобольная старушенция принялась было у гроба так складно, ловко скороговорить и причитать:

— Покойничек-то какой хорошенький, миленький. Чистенький, красивенький, благоухает прямо. Ну, как живой наш Валентин Адольфович, ну как живой. Успение, ну прямо успение.

Перекрестилась, скромненький поклончик бросила:

— Царство ему небесное.

Что-то еще хотела добавить, но, себя перебив, шикнула безапелляционно и зло:

— Снимите очки!

Мне казалось, что надо прислушаться к слову божьего одуванчика и очки с покойника сдрючить. Но Наташа огорчилась, обиделась, проявила ослиное упрямство. Очки оставили. Ладно: в конце концов твой отец, а не мой.

Задним числом считаю, что не за чем людей в очках хоронить. Не положено, значит не положено. Понимаю тех, кому это не понравилось. Представьте себе: пришли вы на похороны, подходите к гробу, вздыхаете. Пронесаются мысли: когда-нибудь и я вот так. Коротка, как детская рубашка, жизнь; скоротечна. Не успеешь оглянуться: Гоб-доп, не вертуйся! Прожорлива, как гиена, ненасытна, как акула, лютая смерть. Вы осторожно, украдкой давите косяка на покойника. Изменился ли? И что вы увидели? Лежит Валентин Адольфович в гробу — как огурчик. Свеженький, вовсе не коснулась его уродующая, искажающая лик сила распада и небытия. Губы кривятся сомнительной улыбочкой. И в добавок, еще в эдаких пижонских очках! Невольно вы ощущаете, что отпрянули от вас горькие, строгие уместные мысли о бренности всего живого, об абсолютном законе смерти и подкатывается к горлу комочек неудержимого хохота. Смешно, потому что в очках. Смешно и только. И нельзя с собою ничего поделать.

Имеет смысл, дорогие мои, подумать вам не только о себе, когда хороните близкого или родственника, но и о возможной реакции тех, кто подойдет к гробу проститься; при этом крепко подумать, прежде, чем напяливать на покойника очки последнего крика моды. Не дурак погребальный чин завел, традиции всяческие, отходную молитву.

Уместно сообщить, что не во всем мы проявили себя такими уж лихими новаторами, напротив: Валентина Адольфовича мы даже по-старинке отпевали — в храме, что в Вишняковском переулке. Это недалеко от Новокузнецкого метро и рядом с домом Наташи. Ведь с Моховой их переселили еще тогда, когда физфак перебрался на Ленинские горы — в начале 50-х годов. Вас, я думаю, не очень шокировало, что Валентина Адольфовича отпевали? Эка невидаль. Сейчас это почти патриотично и в духе времени. А вот, говорят, в 20-е, 30-е годы это было прямо-таки опасно. Впрочем, одним опасно, а другим все можно. Из достовернейших источников мне известно, что в те самые годы отпевали великого Павлова. Того самого, который был физиологом, академиком и вообще знаменитым ученым. А он, если будет позволительно так выразиться, собственноручно открыл, что существуют одни только материальные условные рефлексы, много разных рефлексов, первая сигнальная система, вторая, третья. Словом, все материально. Условные рефлексы и шабаш. Атеизм без берегов, не только в механике, но и в физиологии, и психологии. Павлов на собачонках свои знаменитые опыты ставил, на всяких там таксах, шпицах, боксерах, дворнягах из клуба «Дружок», что без поводков бродят где попало и по закону подлежат немедленному отлову. От них, от этих самых беспризорных псов, как известно, одни неприятности, болезни, эпидемии, стригущий лишай, бешенство, глисты, блохи. Ну и, само собой разумеется, уколы. Грудным детям эти бездомные шелудивые тварюги особенно вредны. Впрочем, я ратую сейчас не за себя, а за науку, за право экспериментировать на животных. А грудных детей у меня совсем нет. А боль, уколы я хорошо переношу. Мне отнюдь не страшно. Я-то лично могу в конце концов и уколы делать. Так Павлов на этих самых беспризорных шавках всю передовую науку двигал, слюну собачью изучал, как-то там капли в пробирках собирал, считал и взвешивал по-научному. Его открытие — а это, думаю, вы и без меня знаете — признано во всем культурном мире. Даже чванливые и самовлюбленные англичане вынуждены были ему памятник отгрохать. Не то с обезьяной в руках, не то с собакой у ног. С собакой, вроде. С обезьяной, помнится, памятники нашему незабвенному баснописцу Крылову («Мартышка в старости») и Дарвину.

Обезьянью слюну Павлов вроде бы не изучал. А, говорят, между прочим, что обезьянья слюна препротивнейшая штука, притом в некоторых человекообразных видах ядовита, как у кобры. Итак, открытие нашего великого ученого твердо вошло в золотой фонд науки, и мы гордимся тем, что этот великий гений вышел из нашего народа. Благодаря таким, как Павлов, как Толстой и Достоевский, имеем полное право спесиво драть голову перед иностранцами. Спросят нас: кто такие? А мы ответим, что не лыком мы шиты. И укажем, например, на Толстого. Кто в Европе ему равен? И заткнется мазурик, потому что нечего ответить. И всем сразу ясно, что не какие-нибудь мы эскимосы, негры, эстонцы, коряки, а великий народ. И вот оказывается, что наш бессмертный академик, которым мы так гордимся перед вшивой Европой, каждую неделю в воскресенье ходил в церковь, не просто ходил поглазеть, как мы с вами на Пасху ходим, а причащался. Для него в революционном Ленинграде специально церковь держали (в смысле: не закрывали). Конечно, мы-то понимаем, что ходил он туда по привычке. Был стар. Перестроиться, перековаться, свести концы с концами, согласовать передовое, научное мировоззрение с вековой отсталостью не смог: не получилось. А скорее не просто не смог, но и не хотел (а те, кто хотели, быстренько перековались). Представьте себе, русскому человеку при жизни отгрохали истукана, да еще в Англии, а? Каково? Такое не может не запроказить психику. И спиться ничего не стоит. Вообразить себя пророком, учителем жизни, чайником. От сатанинской гордыни ум за разум зайдет и спятишь. Вот вам бы отгрохали? Или мне? Не скрою, если бы мне, я бы тогда покуралесил, пофанфаронил. Решил бы: нет на меня управы. И начал бы всех учить и ноги на стол класть. Что можно со мной сделать, когда там мой истукан красуется? Ясно, как день божий, что со мною не совладаешь. Эх, пофрондировал бы я! Я бы потребовал, чтобы восстановили храм Христа Спасителя и для меня одного там служба шла, а когда я вхожу, чтобы хор пел: «Благословен грядый во имя господне». Нет, на меньшее я бы никак не согласился. Почудил бы я во славу. Впрочем, конечно, и академик немало чудил, юродствовал: и к иконам, говорят, прикладывался, и яйца красил, и блины с икрою красной жрал. А эта религиозная трясина страшно затягивает, уж поверьте мне. Прямо — петля. Не успел оглянуться, а уже и сам не знаешь, где у тебя горячий искренний порыв и ты не можешь иначе, а где ты для показухи Ваньку ломаешь, выкобениваешься, кривляешься, актерствуешь. Тем паче, если все на виду, на людях. Одно слово: литургия. Что в переводе с греческого, если Валентин Адоль-

фович не спутал, будет: общее дело. А по-нашему: обедня.

Так вот, мой тесть, как и великий Павлов, был человеком прошлого, еще дореволюционной начинки. Ну, подумайте сами: возраст нафанаилов. Я вроде сообщил, что он утонул во время шторма; да, так. Но представляете, ли, сколько ему было от роду? Ну? Догадайтесь. Ему, знаете ли, тек 101-й годик. А, каково? Я не оговорился. Да, да, сто лет ему было! Сознайтесь, что удивлены? Смущены. Не верите мне. А тем не менее, факт.

Но это еще цветочки: ягодки будут впереди.

Итак, давайте вместе мозговать, что же там было сто лет назад? Ведь это же черт знает, когда было! Цари сплошные. Кто же тогда царствовал? Какой-нибудь царь-горох, которого наши замечательные герои-народовольцы Желябов и Софья Перовская ухлопали? Да, да, именно он, каналья, тогда тиранил, изгибался над нашим народом. Александр II, так называемый Освободитель, очередная бездарность на Российском престоле. Возвращалось, значит, это самое Красное солнышко с развода Саперного батальона и чаепития в Михайловском замке с любимой кузиной Екатериной Михайловной, летело — в Зимний, в медовые объятия княгини Юрьевой, капризной и несравненной Катеньки.

А тут сюрпризик: бомбочка. Трах-тах-тах!

И еще одна. Тю-тю!

Все люди смертны, даже цари. Умрешь и, как говорится в народе нашем, с собой не возьмешь. Прощай великое царство, прощай конституция Лорис-Меликова, прощай, любимая женщина и тайная супруга, ненаглядная Катенька!

Вы, наверно, уже подумываете, что у меня опять закидончик, и я намертво запамятовал, о чем собирался рассказать. Признаюсь, что со мной такое бывает: увлекающийся я человек. Однако на этот раз я совсем даже не отвлекся в сторону, а напротив, твердо и уверенно держу генеральную нить повествования. А дело-то, мои распрекрасные, как раз в том, что мой вездесущий, всезнающий и потрясный тесть еще будучи трехлетним карапузом присутствовал на том самом месте, когда народоволец Рысаков зафугасил бомбу в карету царя и видел все своими собственными детскими невинными карими глазенками. И все, значит, если выразиться фигурально, на ус намотал.

Ну, не предупреждал я вас, что ягодки будут впереди!

Гуляло нежное, пухлое, трехлетнее, очаровательное дитя со своей преданной няней по Никольской набережной, увидели они царский кортеж.

— Валя, Валя, смотри — цари!

Звали няню моего тестя Ариной Родионовной, кстати

(легко запомнить), как у Пушкина, но была она, к слову сказать, куда более расторопна, чем та, которой выпало великое счастье нянчить нашу славу, нашу гордость, словом, того, кто был, есть и будет наиболее полным воплощением духовных сил России: бухнулась Арина Родионовна, няня моего тестя, на колени перед царским кортежем и дитяту на коленки прямо в снег подтолкнула, жилистой рукой труженицы даванула головушку дитяти, эдак сильно и энергично, нагнула, словом, пред помазанником божьим, и в ту же минуту что-то брякнуло, звякнуло, рвануло, загрохотало почему зря, словно нечистая сила. И сверкнула кровь на головке дитяти, закричало испуганно дитя, но, слава богу, осколок исторической бомбы только милостиво прошипел, только слегка поцарапал головушку моего тестя, сбил только шапочку, а взрослый мальчик-разиня, простофиля, оболтус, невежда, болван, что не стал на колени, а, разинув хайло, стоял и восхищенно глазел на великолепный, несущийся как черная грозовая туча, царский поезд, теперь валялся рядом, вопил неистово и корчился и извивался от боли, как червяк на крючке у опытного рыболова, а на грязном снегу под ним увеличивалось кровавое пятно.

Какие ошеломительные совпадения! Вы, наверно, сразу вспомнили другую историю, как няня нашего Пушкина прогуливала где-то на берегах Невы нашего бессмертного Сашу; повстречавшись с императором Павлом I, потерялась, как этот взрослый мальчик, смертельно раненный бомбой народовольца Рысакова, отключила челюсть, фары выкатила, полные восторга и удивления, даже забыла снять картуз с малолетки-поэта — за что справедливый выговор от самого величества схлопотала. А представьте себе, что в те идиллические времена лютовали бы народовольцы и метнули бы бомбочку в императорскую особу, то все, конец бы нашей великой литературе. Разорвало бы на клочки будущего невольника чести, погиб бы он, зайчик, не осчастливив нас с вами ни одной строчкой. Или, наоборот, представьте себе, наш Александр Сергеевич Пушкин, будучи трехлетним дитятей, гулял бы со своей няней по Никольской набережной 1-го марта 1881 года в три часа пополудни, и не поставь его няня на колени перед царским кортежем, не сними с него картуза, не подтолкни гордой непреклонной кудрявой башки, не нагни ее силком — все, конец. Не читать бы нам с вами «Песни о вещем Олеге», не знать простых волнующих, вдохновенных слов:

Кудесник, ты лживый, безумный старик!  
Презреть бы твое предсказанье!

И не было бы семнадцати увесистых и громадных кирпичей академического собрания сочинений, юбилейного, полного; не украшали бы его золотые переплеты книжные полки наших знаменитых пушкинистов.

Хочу еще сообщить, что до того, как осколочек народо-вольческой бомбочки злобно, но слегка царапнул головку трехлетнему ребенку, сбив шапочку, этот ребеночек еще и не ощущал себя, как личность, существовал только физически: ел, пил, справлял на горшочке малую и большую нужду. Но вот — гром взорвавшейся бомбы, злобный свист осколка, боль; животный вой смертельно раненого мальчика, сбегаящая толпа... — и новая личность пробудилась, раскрылась, озарилась светом сознания и самосознания.

— С тех пор себя помню, — рассказывал Валентин Адольфович.

Но нам-то с вами, людям, живущим на исходе XX-го века, века бешеного технического прогресса, космических полетов, пенициллина и водородной бомбы, трудно даже себе вообразить и осязаемо представить мутную психо-мифо-идеологию тех, кто жил в эпоху царей, застоя, когда, как выразился другой наш гениальный поэт, «Победоносцев над Россией простер совиные крыла». Но все же давайте немного напряжем воображение и раскинем мозгами, чтобы представить себе людей столь отдаленной эпохи, людей, которые жили после рокового события 1-го марта 1881 года, того события, которое засветило сознание и самосознание моего тестя, Валентина Адольфовича. Представьте себе мрак, обскурантизм, невежество, поголовную безграмотность. Пусть на меня не обижаются дорогие соотечественники, но я рубану правду-матку: темен был наш великий народ. Ой, как темен. Прямо-таки: дремуч. Во что только ни верили в те далекие времена. Ни о каких великих географических открытиях, ни о каких Колумбах и Магелланах, ни о каких маятниках Фуко и слыхом никто не слышал, а все, как бараны, слепо и поголовно верили в единого бога-отца вседержителя, творца неба и земли, всего видимого и невидимого; верили в Иисуса Христа, сына божьего, рожденного „прежде всех век“, притом именно рожденного, а не сотворенного, а все остальное мироздание, растительный, животный мир и человек через него имеют свое начало, смысл, бытие и сущность; ради нас, людей, и ради нашего спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от духа святого и девы Марии и вочеловечившегося; распятого за нас при Понтии Пилате; страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день, как об этом свидетельствует Евангелие; и восшедшего на небеса, и сидящего справа от бога-отца; и придет еще раз со славою



судить живых и мертвых, его царствию не будет конца; верили в духа святого, господя, животворящего, от бога-отца исходящего, которому поклонялись и славили вместе с богом-отцом и богом-сыном, который говорил через пророков; верили в единую святую, соборную и апостольскую церковь; исповедовали единое крещение во оставление грехов; чаяли воскресения мертвых и жизнь будущего века... И еще верили в пророка и предтечу Иоанна Крестителя, в святых и апостолов, которых почитали как преподобных и богоносных отцов своих; во вселенских учителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста; в патриархов александрийских Афанасия и Кирилла; в премудрого чудотворца Спиридона, в великомучеников-воинов Георгия и Димитрия, в чудотворца Николу, архиепископа Мирликийского; в праведных Иоакима и Анну, в славных чудотворцев бессеребренников Кузьму и Демьяна, Пантелеймона и Ермолая; верили в равноапостольского князя Владимира, святителя Руси, в учителей словесности Кирилла и Мефодия; в Петра, Алексея, Иону и Филиппа, российских чудотворцев, в великого чудотворца российского преподобного Сергия Раронежского и во всех святых.

Надеюсь, вы проявили должную смекалистость, давно и без моих комментариев доперли, что историческое допотопие я описываю со слов своего сногшибательного тестя, ныне покойного Валентина Адольфовича. За что купил — за то, как говорится, и продаю. Естественно, не слово в слово, как слышал (хотя мог бы: хорошо помню), а интерпретирую, стараюсь максимально приблизить к нашему времени, перевожу на доступный, понятный язык, местами адаптирую. Но не настолько я прост, чтобы не предвидеть возражений. Притом, с прямо противоположных сторон. Скажут, что я образованец, беспочвенник, пришелец, чалдон, что у меня нет корней на Средне-русской равнине, а потому нет и любви к прошлому России, что я скольжу на легком катере по поверхности событий. Слышал звон, да не знает, где он. Вот пришелец, и хочет судить! Предчувствую и другой, еще более обидный упрек, противоположный. Мол, слишком уж подробно излагаю то, что чуждо и непривычно современному уху. Что Валентин Адольфович не то, чтобы наехал и раздавил меня своим ретроградством, а хитрым образом внушил мне то, что положено отвергнуть с порога. Что я предоставил трибуну человеку, которому следовало без церемоний заткнуть рот кляпом... Отвечаю, притом сразу тем и другим. Готов даже согласиться, что Сибирь это не Россия, во всяком случае та Сибирь, которую я помню по детству. У нас и церквей-то не было! Может, где и были, но я не

помню, а помню я, как правило, все. Но давно я не чалдон, а настоящий русак, москвич, в Сибири не был с тех пор, как школу окончил, да и Сибирь-то сейчас, говорят, стала такая же, как все остальное, нивелировалась. И не образованец я. Да и что такое образованец? Я учился: знаю языки; уйму читал. Много думал по разным вопросам. И вообще. Да я и не претендую на высшее проникновение в душу народа, имеющего тысячелетнюю трагическую историю. И не историк я вовсе. Не собираюсь им быть. Но книжки я люблю. Это — моя слабость, страсть, а, если угодно и, профессия: библиограф я. И личная библиотека у меня хорошая. Есть даже редкие книги. И «Женщина в белом» есть, и «Граф Монтекристо». И «Апостол». И «Протоколы сионских мудрецов», 1942 г., Рига, а? У вас наверняка нет. И все я читал. Я и в Библиотечный поступил потому, что люблю читать, люблю книгу, читаю быстро и все подряд. Не филолог я, верно: филология — медленное чтение. А я не знаю человека, который читал бы быстрее меня. Притом, все прочитанное я хорошо помню, не то что некоторые. А упреки в том, что лучше не выпускать джина из бутылки, я понимаю, принимаю близко к сердцу, постараюсь учесть. Но поймите и меня. Я хочу рассказать об удивительном, прямо-таки неправдоподобном человеке, которого знал хорошо лично, хочу рассказать о фантастических перипетиях и метаморфозах его жизни, о его завидном долголетии. А что касается его страшного ясновидения, то об этом я умолчу. Во-первых, чтобы сдержать перед вами слово, а во-вторых, потому, что оно проявилось и развернулось во всю мощь уже после того, как он утратил зрение. Кивая на Демокрита, отца материализма, Валентин Адольфович шутил: «Зрение очей мешает прозорливости ума». Амба, хватит об ясновидении. Хватит. Объяснимо и с материалистической точки зрения. Не в нем дело. Пусть я чалдон, не имеющий корней, образованец, пришелец, но материал я получил из первых и верных рук, от живого свидетеля и очевидца, а это чего-то стоит. И, если я порою буду казаться вам чересчур прямолинейным, даже грубым, так знайте, что это не из-за отсутствия такта, культуры, а преднамеренно: как Китоврас — хожу прямо, не хочу сглаживать углы, причесывать, прилизывать истину. Да, я груб с теми, кто трусливо бежит правды. Вот так-то! Я принадлежу к тем несносным людям, у которых отличная память, которые помнят то, что другие предпочитают подзабыть. И, если вы, дослушав мой рассказ, скажете: «Он не стремился применять тонкие выражения, но слова истины написаны им верно», — буду глубоко удовлетворен. Романтизм, идеализм — чужды моей натуре, как всякая ложь. Па-

тока лжи — вот с чем упорно воюю все время. Конечно, жизнь прожить — не поле перейти. Не побоюсь признаться, что и мне приходилось врать. И по-крупному. Но по своей нравственной природе я рожден не для лжи. Трудно лгу. Плохо. Печенкою чувствую, что на свет божий вылупился для высшей правды. И если бы объективные обстоятельства не вынуждали меня к лукавству, а порою прямо к брехне, я всегда бы резал правду-матку. Вот какой я человек! И так, я объявил, что народ наш в ту далекую эпоху был дремуч и темен. Да, это так. Факт. Но речь-то в дальнейшем пойдет не о русском мужике, а моем бесподобном тесте. И вы, мои разлюбимые, опять догадались, куда я гну. Да, не совру и в этот раз. Все обстоит так, как вы и думаете. В сущности, я бы мог дальше и не распространяться на эту сомнительную тему, но чтобы не было недомолвок, недоразумений и экивоков в мой адрес, переломлю себя и мужественно поставлю все точки над *t* и черточки над *i*. Роковое событие 1-го марта 1881 года не прошло бесследно для впечатлительного, экзальтированного дитяти и не только не выветрилось временем из памяти, а напротив: чем заметнее взросло дитя физически, тем яснее ощущало мистический, таинственный смысл происшедшего. Царапина физическая скорехонько зажила, зарубцевалась, но другая царапина, психическая, в сфере души, а то и прямо духа (кто его знает) превратилась в глубочайшую рану, которая не только не заживала, разрасталась непомерно, гноилась, гвоздила, саднила. И в этом нет ничего неожиданного, странного. Впечатления детского возраста упорны, как клопы, порою деспотически определяют психический строй человека. Да и как не быть им таковыми. Ну, представьте себя ангелочком, трехлетним дитятей, карапузом, который только и знает, что любовь и ласку... и —вдруг! И эта самая деточка остается жива, невредима все только потому, что ее замечательная, преданная, бывшая крепостная, няня, Арина Родионовна, поставила на колени (не в пример пушкинской тупице и оряси-не) перед величественным царским кортежем: не только на колени поставила, но властно, грубо наклонила детскую головку. Все представляется символическим, таинственным, невероятным, а тем более поза дитяти, спасающая жизнь ребенку. Ну как тут не усмотреть мистического знака, предопределения? Я хочу сказать, что мой тесть был не просто верующим человеком, каким в те времена мрака и невежества было большинство народа, даже не таким, каким был этот самый академик, фрондирующий, юродствующий, но твердо знающий, что раз там в Англии есть памятник, здесь ему ничего не будет, тем паче за такую ерунду, как красить яйца

на пасху. Я чистосердечно признаю, что мой тесть был глубоко верующим человеком, скажу более: прямо-таки набожным. Притом должен честно отметить, что его набожность не только не дрогнула под яростным натиском передовой науки и прогресса, но с годами возрастала, взвинчивалась, крепла, а в последние десятилетия, когда я за ним следил издали, так как с Наташей мы расстались, сочеталась с мощным провиденческим ясновиденьем, многих смутившим и пуганувшим. Многих, но не меня. Да и что он мог предсказать? Я и без него знал все. Тоже мне — кудесник из темного леса! Да не нужно быть Тересием, чтобы угадать, что уже ни с кем не будет у меня симфонии, как с Наташей, что навсегда утратил я и счастье, и рай. А касандрить, что в прикупе и ему — увы и ах! — не дано. И никогда не поверю, что можно знать, что в прикупе. А если ты знаешь, ты просто шулер, подлец, а никакая не Касандра. И гнать тебя надо в шею из приличного общества.

Я в конце концов хочу оправдаться.

Все разъяснить, снять недоразумения.

С чего же лучше приступить?

Я уже говорил, что Валентин Адольфович недавно утонул, были похороны, отпевание, захоронение на Востряковском кладбище и все такое, поминки, естественно, были. На поминках, я несколько подраспустился, приналег на спиртное, что со мною, к сожалению, бывает, и под воздействием алкоголя сильно расслабился, впал в слезливо-сентиментальное настроение, к которому очень даже склонен, когда под градусом, принял на себя роль тамады и, ликвидируя гомон подвыпивших гостей, толкал длинные, витиеватые тосты и все в том роде, что, дескать, я лишился самого дорогого и искреннего человека, прозорливца, тайновидца, мудреца, нашедшего эликсир молодости, здоровья. Если бы не проклятый шторм, жить бы ему и жить сквозь годы мчась. Может быть, еще сто лет прожил, а может, и двести. А тайна вечной молодости — в правильном питании, в голодании, в чередовании растительной пищи и животной, в полном отказе от животной пищи и, конечно, от бобовых.

— Уже великий Пифагор знал, что от бобовых только живот пучит, — со слезами на глазах говорил я.

Дня через два позвонила Наташа, попросила, чтобы я вместе с секретарем Валентина Адольфовича просмотрел и разобрал бумаги, оставшиеся от отца. Получалось вроде бы, что я сам предложил услуги. И что-то подобное завещал покойный. А я к этому времени давно протрезвел, опавшись от мучительной головной боли и уже не находился

в том приподнятом, прекраснородушном настроении, когда я всех любил и все мне казались дорогими и близкими. Вспоминая поминки, был противен самому себе, порицал себя. Какая гадость!

Может, отказаться, сослаться на сверхсрочные, горящие и неотложные дела?

Болтанул спяну, наобещал с три короба — придется расхлебывать.

А что если — не все блеф и покойный действительно знал секрет бессмертия? Вот бы мне такой талисман! Если уж не бессмертия в теле, здесь, на земле, по крайней мере, сдюзить и отсрочить надвигающиеся черною тучей все эти инфаркты, инсульты, гипертонии, маразмы, ну, словом, все то, что определено старостью, дряхлостью. Отодвинуть эту гадость лет так на тридцать-сорок-пятьдесят-шестьдесят.

А идти к бывшей жене жутко неохота.

И вот я наконец заскочил.

Секретаря Валентина Адольфовича я уже знал по поминкам. Впрочем, и раньше пересекались. Это Владик. И вы, наверно, его знаете. Кто не знает Владика! Есть такие люди, которых знают поголовно все. Он вообще-то математик, но перекинулся в филологию, стихи пишет, а в последнее время увлекся допетровской историей, какие-то открытия, вроде, сделал, какой-то интересный доклад о Никоне прочитал на каком-то частном семинаре на частной квартире в Ленинграде, и об этом докладе было много разговоров в обеих столицах. Недавно крестился и воцерковился. Последнее, заметим, не помешало ему бросить жену с двумя девочками, жениться на девятнадцатилетней дуре. А ему — 40 с хвостиком. Опасный возраст.

Владик уставился на меня, воображая, видимо, что видит насквозь и глубже:

— Я с вами полностью в ладу. Приснопамятный Адольфович был не только ясновидцем, тайновидцем, человеком сугубой оккультной чуткости, но и человеком редкого благоутробия, бессеребрянником. А может быть, святым. Вы не видели его в последние дни. Такой же живой, остроумный, неугомонный, полный юношеской энергии. Смерть всегда ужасна. Не зря душа наша ее боится. Но все полнее убеждаюсь, что свою смерть Адольфович предвидел, смело шел ей навстречу. Вы читали Голубинского «Как умирал Толстой и как умирают святые?» Очень интересное, серьезное исследование. Я не равняю Адольфовича с Иоанном Кронштадским или даже с Мечевым. Тем не менее.

Посадив голос:

— Я начал о нем книгу.

Совсем тихо, словно нас могли подслушать, а из этого неминуемо проистечет неприятность:

— Житие.

Не по душе мне Владик. Фальшивый, приторный, и каждое его слово — фальшивка. В церкви уверенно подгундошивал священнику, картинно-картинно крестился; гибким туловищем поклоны поясные махал, словно утренней зарядкой здоровья и сил на день набирался. Кстати, на панихиде была масса всякого люда, со свечками стояли; между прочим (я обратил внимание) многие крестились, даже совсем юные. А после кладбище эта публика на поминки поехала. Наташа молодец: всех позвала, не поскупилась.

Нет, на трезвую голову этот тип невыносим. С такими я и резок, и груб, и тяжел, деспотически несговорчив. Это под мухой я расслабился и вляпался в маниловщину и гуманизм. Урок: не пей. Спьяна ты можешь обнять врага. Итак: внести ясность в наши отношения. И унасекомить.

Начал я первым (так было надо!):

— А что, вы во все это серьезно верите?

Он театрально взметнул брови, как бы желая внушить, чтобы я остановился пока не поздно; но я продолжил:

— Во всю эту лабуду?

— Не понимаю вас.

Так-таки и не понимает. А я могу и пояснить, не трудно:

— Ну все это, православие, воскрешение Лазаря, церковность, богоедство.

С чувством собственного достоинства и несколько демонстративно он заявил, что верит; а я эдак спокойненько:

— Да не может быть. Бросьте! Неужто верите?

— Почему вы так со мной разговариваете? — сухо, уже агрессивно.

— А жену-то зачем бросили? С детками? А заповеди? Для дураков? Факультативны? С одной стороны — непосильный максимализм (кто без греха?), с другой — все дозволено. По Лескову получается: «поп простит». Хорошо, молодой человек, устроились!

Он явно не ожидал такого оборота, выдавил ущербную улыбочку:

— Слаб человек.

Вдруг — лучезарно просиял:

— Но ведь и вы вроде...

Я прервал, не дал закончить:

— Пять жен, да?

Он имел в виду именно это. Улыбка его неистово цвела. Сколько высокомерия, торжества, яда. Буду справедли-

вым: хороша улыбка; и получается, что не он, а я унасекомлен. Так-то.

Завелся я: выдал ему по первое число.

Говорил, что и в грош не ставлю его веру, что все это забавы взрослых шалунов, фальшь, лицемерие, двоедушие, фарисейство, мерзость, тухлятина. И, если бы я верил, что Христос воскрес, я бы жил не так, как вы. А как святой Франциск! Цветочки! Уж во всяком случае, не клубничка. Не заглядывался бы на девок, не соблазнял их. Не бросал бы жену с детьми. Фальшивомонетки, вот кто вы! Во лжи живете. Седина в бороду — бес в ребро. Свины, грязные свиньи!

— Если бы я верил!.. — гремел я, раздухарясь.

Ну почему они все такие препротивные? Я имею в виду не верующих старух, не Валентина Адольфовича. Старухи в церкви мне даже понравились. Бабки, как бабки. Такие и на рынке. В платочках. Такими они и быть должны. Даже священник ничего, симпатичный — глаза умные, добрые, хитроватые. Не гневался, что наш покойник своими гигантскими очками традицию нарушает. Не знаю, как другим, но, по мне, проповедь чересчур темно говорил. Зачем-то Канта приплел, категорический императив, априорность этики, несколько раз пускал под купол храма:

— Трансцендентально!

и это словечко эхом возвращалось назад, красиво плыло над нашими головами. Со слуха я не все усек, что он говорил. Да и неважно. Интересно, что старухи поняли? И на кого он всю эту заумь и красноречие рассчитывал? Неужто на интеллипуцию, что на панихиду заявила?

Нет, Владикам я не попутчик. И если что и интересует меня в бумагах Валентина Адольфовича, так это только хитрый элексир. Как это старику удалось прожить 101 год и при этом сохранить работоспособность, память, ясный ум? Неужели так благотворны южное солнце, новоафонский воздух, купание в целебном теплом море?

Поднокаутированный и заметно слинявший Владик тупо скосоглазился на меня, даже начал заикаться, на какое-то время лишившись дара речи, издавал странный звук, сильно напоминающий весеннее кваканье лягушки: «Кэк-кэк, кэк...»

Наконец, через пень-колоду выговорил:

— Как же мог Адольфович дневники-то вам доверить?

— Мне?!

□ □ □

Я один в кабинете Валентина Адольфовича, Взял дневниковые записи, открыл на 48-ом годе.

Словно разверзлись хляби небесные — хлынули воспоминания, и я, неожиданно для себя, размяк, раскис, как рефлексирующий неврастеник. И даже пожалел, что Владика отбрил.

Мне дураку, 50 лет. Самое время опомниться, подвести предварительные итоги. А какие к черту итоги? Жизнь прошла, по-глупому прошла. Способности были, немалые. С золотой медалью школу сбросил. Может, вы думаете, что там, в глухомани, не нужно иметь трех пядей во лбу, чтобы отличником, медалистом быть, что там все медалисты? Как бы не так. Да, я и в Москве экзамены, как орешки, трахал. И всегда первым шел, без подготовки, не то что маменькины сынки, интеллигентские хлюпики. Но кому много дано, с того много и спросится. Не зарывай, подлец, талант. Диплом с отличием. Аспирантура. В 24 года — кандидат. Блестящий и нашумевший доклад о Рангатане. А дальше? Пустоцвет. Ну, около сотни скучных, серых, никому не нужных статей. Впрочем, как и у других. Трясина. Вот если бы эту жистянку получить во второй раз, я бы знал, как жить, я бы сумел прожить ее ярче, смелее, дерзновеннее, плодотворнее. Я бы жил так, чтобы не было горько, досадно, стыдно за попусту прожитые годы, чтобы на этой самой площадке космонавтов, на которой все мы рано или поздно будем хватать последние глотки воздуха, во весь голос гаркнуть:

— Eхegi monumentum!

Это вроде из Горация, латынь. «Не оспаривай глупца» — так, кажется, калькируются эти величественные слова. Впрочем, ни в школе, ни в ВУЗе латынь, греческий мы не проходили. За точность перевода не ручаюсь. Конечно, при моих-то способностях к языкам мог бы и сам латынь освоить. Но к чему? Из принципа не буду! Мертвый язык.

Мы-то с вами, культурные люди, знаем, и себя не будем убаюкивать и обманывать, что никакого другого бессмертия, кроме «не оспаривай глупца», нет и быть не может. А потому все живое неистово и страстно рвется воспроизвести себя в потомстве или оставить след в памяти потомков. Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит. Последнее и есть истинное бессмертие. Да, именно: в заветной лире, в творчестве, в созидании, в строительстве, в названии городов, улиц, пароходов. Словом, как проскулил некогда Маяковский, а эта заковыка насчет бессмертия явно царапала и подперчивала раны его души: «Умирая воплотиться». Я, конечно, имею в виду не лавры Герострата, не всех тех бесчисленных Чингис-ханов, Наполеонов, Гитлеров, чьи дикие, оголтелые, дисциплинированные



орды ломались на нас, проливали кровь нашего народа, а настоящие памятники бессмертия. Но порою начинает казаться, что лучше уж лавры Герострата, чем полное, плотное, глубокое забвение, ледяное, безмолвное небытие.

Эх, вторую бы попытку!

Эх!

(Еще бы раз ухнул: «Эх!», да боюсь, что пуристы обвинят меня в цыганщине.)

Вдруг я прозрел, словно вышел из темной пещеры на свет, увидел не через гадательное зеркало, а прямо, ясно, что и вторая попытка ничего не изменит. Если жизнь мне будет дана второй раз, все повторится. И сколько бы мне ее ни давали, все будет циклиться, повторяться. И не выйти из этого заколдованного, проклятого цикла, не уйти от судьбы, как не мог уйти простодушный князь, которого летопись называет «вещим».

Все суета сует и томление духа. Все, да не все. Существуют простые, истинные, подлинные, вечные ценности: любовь, семья. И все это я имел. Не только имел, но и ценил. Нет, не сейчас, когда мне 50 лет и я у разбитого корыта, пуст, а тогда, когда я полюбил Наташу и женился на ней, я был по-настоящему мудр, постиг то, до чего Пушкин допер только к 30-ти годам, а Толстой — к 40-ка. Толстой, может, и не допер, а только притворялся. Так-то вот. Фортуну хоть в руки не возьмешь, но цеплять ее надо на проторенных дорогах: в семье. Вам, конечно, такое открытие покажется смешным, хоть «Войну и мир» вы читали, любите, в школе проходили. И вы надменно лыбите: эка, мол, премудрость, обывательщина сплошная. А я вам на ухо шепну:

— Остолоп!

Не обижайтесь. Все будет между нами, и никто не узнает. Я же любя. Просто в вашем возрасте пора жить своим умом, а не прописными трафаретами. А она, истина, не сложна, не запутана, а напротив: проста. Потому-то мы порою проходим мимо нее, не замечаем, ловим крикливых журавлей в небе.

Все потому-то.

А я все имел и все потерял из-за феноменальной мнительности. Ой, дорого бы я дал, чтобы никогда не открывать тот судьбоносный альбом с семейными фотографиями, не совать нос в чужие дела и тайны. Но в том-то и дело, что не мог я не сунуть туда носа, а потому, сколько бы раз я ни начинал жизнь сначала, все повторится, возвратится на круги своя.

46-ой, год, 47-ой, 48-ой.

Счастливым времячко. Я с головою ушел в семью. На антресолях — наш брачный чертог. Простите мне столь вычурный образ, но именно его мне приспичило употребить по отношению к нашему супружескому ложу — огромной, тяжелой, дубовой, двуспальной кровати; с ножками в виде диких козлиных, хищных, клыкастых зверей; с четырьмя витыми колоннами по углам, на которых сохранились следы былой позолоты; с резьбой, изображающей кисти винограда и листья не то дуба, не то клена; с выцветшим пурпурно-лиловым балдахинном и такого же цвета пологом, местами сильно протертым; с одной — вторая утрачена — тяжелой, позолоченной кистью. Кстати, я описываю не какую-нибудь старомодную, банальную кровать, а исторический памятник, реликвию, которую семейная традиция относила к XVII веку; вроде бы на этой самой кровати мрачный злодей Мазепа предавался любовным утехам с молоденькой дочкой Кочубея, не то с Матреной, не то с Марией: забыл, как ее, позорницу, звали. Ну хрен с ней, а вот к нам из исторического музея приходили ученые сотрудники, реликвию нашу изучали, обмеряли, разглядывали со всех сторон, что-то в блокнот себе записывали, экзальтированно охали и ахали, приобрести даже за деньги захотели для музея. Я не сноб, но решительно воспротивился и отверг посягательства науки на нашу реликвию. Перебьется музей. Потерпит и наука. А в экспозицию они наше супружеское ложе все равно выставлять не намеревались. Меня-то понять проще простого. Для меня это тоже мемориальчик. Не всемирно-исторический, а, так сказать, личный, т. е. интимненький. На нем я познал впервые женщину, свою Наташу. Одно слово — брачный чертог. А мой тесть, который знает абсолютно все, сказал, что где-то (забыл где) в Святом писании брачному чертогу уподобляется царство божие. Не правда ли, гениальный образ: царство божие подобно брачному чертогу! Мне показалось, что я в рай попал, когда первый раз совершил соитие, и другого рая не надо, и не может быть. Прелесть у меня женушка. И душой хороша, и телом. Чудо просто. А чутка! Ну, Мессинг, прямо Мессинг. Нет, не отдам музею исторический мемориальчик, да и кто расстается с такими вещами перед денежной реформой.

Быстрой стрелой пролетел безумный медовый месяц. И еще один — так же быстр. А там и год. И уже второй на исходе. Начал меня тесть малость журить.

— Внуков, — говорит, — хочу няньчить.

— Стараемся, — соскользнуло с языка: сказал пошлость — краснею до корней волос.

— Плохо стараетесь.

Внутренняя стыдливость толкает меня на наглость, и я говорю ему, что очень даже стараемся, все ночи напролет.

— Вижу, вижу, — говорит тесть. — Ты ее слишком любишь, потому и нет детей.

— А я думал... — начал беспечно я; прикусил язык: смысл его слов не сразу дошел до меня, а когда дошел, я содрогнулся: то, что Валентин Адольфович еще присказал, как обухом по голове садануло:

— Детей не бывает, когда мужчина слишком любит женщину. Иаков любил Рахиль более нежели Лию, и потому Рахиль была неплодна. Тайна сия велика. А еще в Святом писании сказано: что жена дана человеку не для удовлетворения плоти, а как жена. Нельзя, Володя, так и с таким жаром. Всему должны быть граница и мера. Не неистовствуйте. По ночам спите. Ваша любовь смахивает на занятие онанизмом вдвоем.

Я снова покраснел, словно был пойман за онанизмом, что-то начал бормотать малосуразное, оправдывался. Я же, мол, не один, не все, мол, от меня одного зависит. Можно обидеть. Валентин Адольфович отнесся с пониманием к моей невнятице. Конечно, воздерживаться следует по взаимному согласию.

Сказал:

— Сам наш батюшко святой апостол Павел учил, что тело мужа принадлежит жене.

Это еще не все. Упрекнул меня тесть и в том, что я веду преступную по отношению к своему здоровью жизнь. Сплю до 12. И еще после обеда. Не бываю на воздухе. Злоупотребляю спиртными напитками. (ну, насчет спиртного я и сам знаю!). И питаюсь неправильно. Излишне много ем мяса, колбас, масла, сыров, сахара. Гублю себя. Конечно, покуда я молод, организм справляется со всем этим «ядом», но к тридцати я потучнею, а в 40 буду безошибочно знать, с какой стороны сердце, лишусь доброй половины зубов. Надо есть больше овощей, фруктов; один день в неделю должен быть рыбным — удобнее пятница, в крайнем случае среда. От мяса вообще отказаться надо. Неплохо иметь один в неделю день разгрузочный: за сутки — стакан воды с ложкою меда.

Нет, это не для меня. Еще вчера только карточную систему отменили. Я еще досыта не наедался. Сколько ни ем — голоден. А тут — ограничения всякие и чуть ли не добровольное голодание. Я, конечно, старику не стал возражать, но усмехнулся: «чем 300 лет питаться мертвечиной» — да пропади все пропадом.

В одном слова его защемили мою душу. К семье я относился серьезно, любил Наташу, хотел ребенка. А вот оказывается, для того, чтобы быть настоящим мужем, нужно уметь не только доводить женщину до состояния экстаза и эйфории, но и иметь волю воздерживаться, терпеть, уклоняться от соития. Тяжела ты, шапка Мономаха! Наверняка, было бы правильным обсудить эти заковыки с Наташей, найти соглашение. Я и хотел обсудить. Но в самый последний момент постеснялся: язык не повернулся. Словом, в ту ночь я симулировал усталость и ускользнул от супружеских обязанностей.

Помню, на другой день во время обеда взял в руки семейный альбом, не торопясь перелистываю, вглядываюсь в пожелтевшие фото, тихо радуюсь, когда узнаю чьи-нибудь знакомые черты.

— Положи! — ни с того, ни с сего взорвалась жена.

— Тебе жаль? — продолжаю упрямо разглядывать фото.

Она грубо рванула альбом:

— Зальешь!

Такой я ее не знал. Она, моя козочка, кроткая, чуткая, внимательная, отзывчивая, ласковая и добрая превратилась в какую-то фурию, в бешеную кошку. Ничего не понимаю. Передо мною другая женщина, не моя Наташа: этой ведьмы я не знаю, боюсь, пасую.

— Домострой предписывает лупить жену не всем, что под руку попадет, а только плеточкой, — шутит Валентин Адольфович.

А кто-то мне говорил, что если женщина не удовлетворена физически, она может и убить. Поведение Наташи я объяснил тем, что в эту ночь мы не были мужем и женою.

Мне бы на этой версии и остановиться!

Но тут, черною лентою обвив, тяпнула мое сердце гробовая змея подозрения.

Почему у меня альбом отобрали? Не просто отобрали, а вырвали. Что-то тут не то. И мне уже кажется, что от меня что-то скрывают, прячут, не вверяют, что у них есть свои тайны.

Теперь, когда нет никого дома, я шкодливо, как тать, прокрадываюсь в столовую, беру с полки альбом семейных фотографий, пытливо его исследую. Я, конечно, засек место в альбоме, на котором его у меня грубо и хамски изъяли. Старая, пожелтевшая, с протертыми углами фотография. Всмотревшись, можно разобрать:

Москва

На Большой Лубянке

фотография М. Волкова, 1894

На карточке — полковник с вылупленными глазищами и свирепым лицом, с громадными, каких не бывает или какие могут быть лишь на карикатурах, усами и миловидная женщина в подвенечном наряде, очень и очень смахивающая на мою Наташу. Те же гладко причесанные волосы, ровный пробор, чувственные усики над верхней губкой, тот же бесконечно милый и немного рахитичный вырожденческий подбородок, который безумно волнует меня, воплощая все тайны женственности. Если бы не дата, конец прошлого столетия, если бы не этот старорежимный солдафон, уверен был бы, что на фото моя Наташа. Разительное сходство. Почему мне нельзя знать, кто этот полковник и кто эта женщина? Почему у меня вырвали альбом? Я даже не успел и вопроса закинуть. Растрavляю воображение, мучаюсь, но ни на один вопрос нет ответа. Никудышный я криминалист. Нет, не выйдет из меня Шерлок Холмса.

А может, просто, без обиняков и энивоков, не мудрствуя лукаво, спросить?

И я, значит, решил.

Наталии дома не было: я взял альбом (так вот где таилась гибель моя!), раскрыл его, ловко подсунул — аж он вздрогнул — Валентину Адольфовичу.

— Кто это? — при этом я конфузливо кашлянул, подмигнул заговорчески.

Мне почудилось, что и тесть подмигнул понимающе мне; нет, видимо, только померещилось: не было подмигивания. Он тоскливо смотрел на меня, стал разглядывать фото, словно видел его впервые, а моего вопроса не слышал.

Я пер напролом:

— Кто эта миловодная особа, так похожая на нашу Наталию?

— Володя, мне бы не хотелось отвечать на ваш вопрос. Но тут словно кто вонзил мне шило по рукоятку в зад.

— Прошу вас, — я поймал его руку.

— Милый, не просите.

Я бухнулся перед ним на колени.

— Скажите, ради бога. Я вам руку поцелую.

Не успел он отдернуть, а я уже целовал, как ошалелый, его руку, ощущая, что рука старчески шершава и неприятно холодна. Тесть засопел, прокряхтел, видимо, уже сломался под моим натиском:

— Володя, милый, вам лучше не знать. Умножая познания — умножаешь скорбь. Встаньте, пожалуйста.

Правы, стократно правы мудрые Экклезиасты: умножая познание — умножаешь скорбь. Бездонность этой истины я, баламут и безмозглый идиот, познал на собственной шкуре.

И Наташа была права, прозорлива, когда вырвала из моих рук семейный альбом. Нельзя было мне знать вашу тайну, именно мне, вашему несчастному, глупому мужу — человеку слабому, патологически мнительному. Почему же ты не забросила подальше этот поганый альбом, не сожгла его? Ведь и тогда, когда ты выхватила его у меня, когда побелели твои карие глаза и посинели губы, ты уже чужала беду, чужала, что здесь наша погибель — моя и твоя. И лишь я, кретин, чурка, ничего не ведал, мучил старика и вот своего добился.

— Встаньте же, — повторил Валентин Адольфович.

И вот, когда я утонул в кресле, тесть тихо произнес загадочные слова:

— Это я.

Нетрудно представить мою растерянность, недоумение. Ведь я-то спросил его о той особе, что на фото в подвенечной фате, словом, о женщине, а Валентин Адольфович, видимо, чего-то не поняв, уверяет, что это, мол, он. Думается, что и вы, пронизательный читатель, в этом месте пасуете, сбитый с толку и на вашей интеллектуальной физии выступила робкая странно-растерянная улыбочка. Думаю, что вы поймете меня, войдете в мое положение, оправдаете известную тупость, потерянность. Я, значит, продолжаю утопать в мягком кресле, слабоумно-идиотски, как debil, и во весь рот улыбаюсь. Беспомощно напрягаю серое вещество. Ничегошеньки не секу, и ум за разум заходит. Хлопаю, значит, глазами. Может, я ослышался? Может?... Во рту начинаю ощущать что-то тошнотворно-кислое, что-то уже горькое, препротивное, как лекарство в детстве, которое никак нельзя проглотить, а можно только выплюнуть. Силюсь и судорожно глотаю горькую слюну — обильнейшее слюновыделение.

— Кто это? — переспрашиваю, растерянно, уже без храпа.

— Милый, Володя, я же сказал, что это я. Да. я. Чему вы удивляетесь? Что вы не понимаете?

Тесть вразумляет, что превращение полов, дескать, весьма распространенное явление, общее место. Удивляться нечему. Такие превращения случаются во много раз чаще, чем непорочное зачатие.

Так, наверно, ощущал себя армянин в зоопарке, когда пялил глаза на жирафа:

— Такого не бывает!

Нет и не может быть. Ахинея. Галиматья какая-то. А может, меня разыгрывают? Может, злая шутка? Не верю. Не хочу верить. Не хочу. Но тесть приподнялся, неумолимо протянулся к книжной полке, осторожно, двумя руками вынул фолиант — с золотым обрезом, подавляющих размеров и

толщины; листал; меловая бумага, готический шрифт, картинки, переложенные тончайшей папиросной бумагой — впечатление тяжести, основательности, научности; быстро отыскал нужное, зачитал.

Смутившись:

— Володя, вы же владеете немецким? Не делайте вид, что вы ничего не поняли.

Немецкий я знаю в совершенстве. Но, представьте, в эту страшную минуту забыл начисто. Ничего не понял. Если бы меня попросили перевести «Анна унд Марта баден» — не смог бы.

Тестю пришлось переводить.

Затем:

— А куда делся Форель? («Половой вопрос» Фореля взял я; как всегда — забыл на место поставить.) Но по крайней мере, что у рыб бывает, вы знаете? Вы же рыбовод. Сабанеева «Жизнь и ловля пресноводных рыб» вы же читали? А вот эту книжку — я видел — вы все время в руках держите.

Он принялся листать «Аквариумное рыбоводство», ткнул меня в строчку.

«...Рыбы, как правило, разнополы. Однако, некоторые рыбы двуполы... Бывают случаи превращения одного пола в другой...»

— А у моржей бывает?

— Володя, причем тут моржи? — и тесть утробно захохотал, видимо, поймав зигзаг моей мысли.

Валентин Адольфович рассказал о себе. Оказывается, на свет божий он явился, увы, девочкой. Назвали пророчески-перспективно — Валечкой. В трехлетнем возрасте Валечка гуляла со своей няней Ариной Родионовной по Никольской набережной и случайно очутилась на месте покушения народовольцев на императора. И осколочек той бомбы слегка царапнул ее головку. Впечатление сильнейшее — травма. Валечка росла нервным, экзальтированным ребенком, намеревалась идти в монахини, но вдруг вместо того, чтобы стать христовой невестой, 16-ти лет выскочила замуж за человека, который ее много старше — на целых 24 года. Муж сделал блестящую карьеру, генеральство и все такое. За участие в Брусиловском прорыве — Георгий 4-й степени; вскоре ранен, легко. После госпиталя назначен начальником Пехотного училища в Петрограде. Февральская революция оборвала его карьеру, жизнь; взбунтовавшимися солдатами убит, сброшен с Каменноостровского моста.

Как и Брусилов, он был сторонник железной дисциплины и даже телесных наказаний для низших чинов.

Женщина в глубине недр своей психики мечтает стать мужчиной; сожалеет, что родилась девочкой, а не мальчиком. Притом — каждая женщина, даже красивая, даже счастливая в любви, в семейной жизни, в материнстве. Все это давно известно психологам, хорошо изучено. Надежда Дурова — наглядный примерчик этого психического синдрома. Но Дурова только дилетантски драпировалась под мужчину, ей не хватало воли, упорства, настойчивости, умения толково организовать духовную жизнь. Не такой оказалась Валентина Адольфовна. Ее заветные, тайные мечты не разошлись с делом. Оставшись вдовой, она поставила себе высокую цель: стать на 100% мужчиной. Она изучила вопрос, поняла, что не следует мельтешиться, торопиться. Поспешешь, как говорится, и людей насмешишь. Ведь в духовной жизни опасны крутые подъемы, скачки и прыжки вверх. Только постепенный, осторожный путь через воспитание воли, посты, молитвы приведет ее к вожделенной цели. После 8 лет духовных упражнений наконец осуществилась сладчайшая мечта. Она трансформировалась в мужчину. Сменила имя, стала — Валентином. Намеревалась даже принять сан священника, но православная церковь проявила свойственную ей осторожность, консерватизм, отказалась его рукополагать. Женился, родилась дочка: та, что ныне моя жена.

— В семейной жизни я был счастлив и женщиной, и мужчиной, — так завершил Валентин Адольфович диковинную повесть своей жизни.

То, что мать Наташи умерла в Казани во время эвакуации, я знал и раньше.

Его рассказ произвел ошеломляюще-гнетущее воздействие на мою психику. Конечно, ни в какие там посты, духовные упражнения, медитации, левитации, Иисусову молитву я не верил и верить не мог. Старый воробей: на мякине не проведешь. Дуриком не собьешь. Метаморфоза объяснима другими причинами, вполне земными, материальными, которые еще слабо изучены наукой. Может быть, питанием. Вообще то питанию, разнообразию и качеству пищи Валентин Адольфович уделял большое внимание. Два раза в неделю, в среду и пятницу, он вообще не притрагивался к еде, и я от него часто слышал, что возраст отступает перед голоданием, что после голодания как бы черная туча сходит с вашей души. Но, конечно, питанием и голоданием всего не объяснишь. Скорее превращение связано с наследственностью, глубинною предрасположенностью, со всякими фокусами наследственного вещества. И ни к чему тут примешивать и приплетать «гегемонию духа над материей». Именно так. И только так. Прирожденная, наследственная предрасположенность.



Придавлен.

Увял, значит. Сник.

От судьбы, говорят, не уйдешь. Помните, как тот легендарный князь пытается избежать судьбы, как даже расстанется с любимым и верным конем, от которого по предсказанию ему суждено погибнуть (вроде: дело в шляпе! Да не тут-то было!). На самом-то деле оказывается, что он делал все, чтобы сбылось предначертание, которое кудесник прочел острыми духовными глазами на «светлом челе» князя. Ведь что же в конце концов получилось? Выражаясь фигурально, этот самый вещий Олег собственными руками (в летописи, у Карамзина и у Пушкина: ногой. Князь тихо на череп коня наступил и молвил: «Спи, друг одинокий!») приблизил свою гибель, кончину:

— Мне смертию кость угрожала!

Наташа учуяла неладное пронзительным бабьим нюхом. Как она безудержно выла в ту ночь:

— Ты оскорбляешь меня как женщину.

Но в чем я виноват? Любовь? Откуда она приходит и куда улечучивается? Я с первого взгляда клюнул на Наташу, а рассказ тестя о «его чудовищном превращении» сдул мое чувство, как сильный, злобный порыв ветра сдувает и гасит пламя. Я увидел жену словно при ином освещении. Ее фигурка казалась нелепой, нескладной, угловатой, лишенной женственности: ноги, как спички, худые, по отношению к торсу непропорционально длиннющие; ягодички — острые, как у блокадника, изъеденного дистрофией; груди мизерные — торчат два трюфеля. А эти черненькие усики над верхней губкой, которые еще вчера неистово волновали меня, ныне, после фантастического рассказа тестя, стали внушать мучительно-жгучие подозрения. Почему у нас нет детей? Может, все поэтому? Я тянул резину, не ложился, ждал, когда же она уgomонится и уснет, а она все не засыпала, ворочалась, металась. Я сделал над собой усилие, на ватных ногах подошел к историческому мемориальчику, который еще недавно с гордостью величал брачным чертогом, разделся и, как в ледяную воду, полез под одеяло. Прикосновение ее куриной ноги вызвало мучительный приступ аллергии, словно кто крапивой провел от голени до бедра. Я испытывал к женщине, которая лежала рядом со мной, непреодолимое чувство гадливости. Почему-то я ждал, что она здесь, этой ночью превратится в изголодавшегося самца, злобно на меня накинется, изнасилует.

□ □ □

На даче, в Свистухе.

Погода стояла гнусная: не летняя, июньская, а прямо-таки осенняя — сыро, холодно, ветер с дождем. Не выходил бы, да уборная во дворе. Борясь с проклятым лихолетьем, я напялил на себя все, что было, и все равно зябнул. Чтобы на душе не так тошно было — потягивал коньячок, который всегда в нашем доме водился, хотя Валентин Адольфович в рот хмельного не брал. Кремень. С воспаленными от ночных слез и очередной бессонницы глазами жена варила на керосинке варенье в маленькой эмалированной кастрюльке с длинной ручкою. Не помню, как всплыла эта дурацкая тема. Поначалу вроде все текло тихо и мирно. Скучно, лениво толковали о том, кто какое любит варенье. Я защищал земляничное, которое как раз варилось, и почему-то настаивал, что и на самом деле оно самое вкусное, потому что с горчинкой.

— Вишневое, без косточек, вкуснее, — упиралась жена.

Мне бы, дураку, уступить. Не все ли равно. Чего перечить. Ведь знал, что у нее на душе кошки скребут. Будучи уже под градусом, я не уловил приближающегося урагана, а как назло подлил:

— Не, земляничное.

— О вкусах, Громов (никогда она прежде так меня не называла), не спорят — сказал кобель, облизывая свои яйца. Опуел я: ушам не верю.

Как это брутально, противно. Не выношу, когда женщина сквернословит. Увольте меня, ради бога, увольте. Со своим милым папенькой сквернословь, а меня уволь. А еще интеллигенция, солью земли себя считают.

А ее бесценный андрогинный папенька почему-то тоже поперхнулся, закашлялся; затем еще глубже уткнул нос в басурманскую книженцию. Вроде бы его и нет, притворяется. В нашем высокоинтеллектуальном споре он и до этого не принимал участия.

— Папа, — дурным голосом извлекла Наташа отца из книги. — Ты мудр, как царь Саваоф. Володя тебя хотел спросить, да и мне интересно.

— Деточка, ты, видимо, хотела сказать: как царь Соломон. Саваоф не царь, а бог. Царь небесный. А Соломон действительно был мудр. Сказано: И дал господь Соломону разум и мудрость весьма великую и обширный ум, как песок при море.

Посмотрел на меня, ожидая вопроса.

Я выразительно пожал плечами: мол, ни о чем я не хотел спрашивать и не знаю, что она там мелет.

— Папа, ты мудр, как царь Саваоф, — остервенело и ис-

ступленно повторила Наташа: она летела в пропасть и ничего уже не могло задержать ее (видимо, наш разговор с самого начала имел для нее опасный подтекст), — скажи мне, дурынде, кто получает при совокуплении большее удовольствие, мужик или баба?

— Женщина — с ликующим воодушевлением и ни секунды не колеблясь, ответил Валентин Адольфович.

Я как-то гнусненько подхихикнул, прихлебнул коньячку. И еще прихлебнул. Ну и вопросик, черт побери. Ведь этот царь Саваоф, ее батя, и за женщину... хе-хе! Как бы это пристойнее, приличнее выразиться? Ну, словом... Ну, вы понимаете, что я имею в виду и хочу сказать? И как мужчина, так сказать, победы одерживал. Дочку настрогал. И смех, и грех. Ну и семейка! Хе-хе. Внутренний, субъективный опыт имеет. Я бы сказал: не опыт, а — сверхопыт. Может сопоставлять, взвешивать, сравнивать. И ответ хорош. На тебе, крапива ядовитая, получай на чай, сама, ехидна, нарвалась.

Когда я глянул на Наташу — хмель мигом слетел. Лицо ее сделалось полоумным; большие темнокарие глаза поблекли, помутнели и вдруг как бы превратились в две стеклянные колбочки с неистово бурлящей жидкостью, то грязно-серой, то мутно-бурой. то ярко-вишневой.

Ее папаня зажмурился, как кот. Предался, видно, медовым воспоминаниям, анализирует свой сексуальный сверхопыт, взвешивает; на лице выскочила старчески-блудливая ухмылка, неприличная нарочитой откровенностью (с этой ухмылочкой, между прочим, он и в гробу лежал). Мелькнула эта непристойная улыбочка и тут же была насильственно загашена, как окурочок папиросы. И он глянул на дочь, торопливо, покорно снял с носа чеховское пенсне, как бы принимая Голгофу, разоружаясь, сухим, почти механическим голосом, но с какими-то странными, ритмическими подвываниями, ему совсем не свойственными, взятно, как по шпаргалке, продолжил:

— Часть лишь одна из частей десяти наслаждения на долю мужу отходит, а все остальное жене достается. Так счастливо устроена женщина.

Я чуть было не заорал что есть мочи:

— Стойте!

Но вместо этого закрыл ладонями лицо. Секунда растянулась до вечности. Наконец-то я слышал задыхающийся, захлебывающийся хрип, затем — я даже не узнал голоса ее папеньки, мудрейшего царя Саваофа... — такое я слышал раз, когда Джильда, собачонка моих родителей, у меня на глазах попала под заднее колесо трехтонки.

Наталия плескнула в глаза родителя кипящее земляничное варенье.

□ □ □

Разумеется — о чем говорить — все объяснили несчастным случаем. Что там ни толкуй, а дело семейное. Валентин Адольфович долго лежал в больнице. Затем ездил лечиться в Одессу. Там, говорили, глазные врачи хорошие. Чудеса творят, Может, и хорошие. Но медицина, видимо, не все-сильна. На один глаз он так и не стал видеть, а другим — слегка, мутно. Вообще-то он приспособился, лекции читал, экзамены как-то у студентов принимал. Даже вот плавал. Впрочем, для того, чтобы плавать, наверно, и не требуется хорошее зрение, достаточно знать, в какой стороне берег, а там, на Кавказе, можно и по солнцу плыть. Я видел, как один слепой лихо, как дельфин, плавал. Заплывал так, что его, подлеца, было не видно. Наверняка по солнцу определял, куда плыть. У слепых, я слышал, обостряются чувства, компенсируется потеря зрения, и даже вроде развивается какое-то шестое чувство. Они как-то хитро ориентируются.

□ □ □

С Наташей после долгой и унижительной волокиты мы развелись. Я, кажется, уже говорил, что еще был женат четыре раза. Но, поверьте мне, никакой я не юбочник. У меня за всю жизнь и было пять баб, притом все они были зарегистрированные, как говорится, законные мои жены. Надо мною, знаю, посмеиваются; а кое-кто и просто считает чудовищем. А я всего-навсего несчастный, жаждущий вернуть или обрести вновь то, что однажды имел. Ведь с каждой из них я хотел пестовать семью. Не получалось. В каждой хотел найти то, что было в Наташе. Нет, рай утерян. Никто не может мне ее заменить. И уверяю вас, что так называемое «жизнелюбие», все эти донжуанские списки, победы у женщин — чепуха. Не от полноты счастья, это, а, напротив, от тоски, неудовлетворенности. А мне ни с кем так хорошо не было, как с Наташей.

И всему виной моя идиотская мнительность.

И не превратилась она в мужчину. Вскоре вышла замуж. Даже как-то обидно быстро. Не знаю, счастлива ли она была с другим. Мне ее муж люто противен.

1977 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Жареный петух	5
Былое и думы	145
Тайна семейного альбома	221

**Е. Б. Федоров «Жареный петух»**  
**Редактор М. Фрейдкин**  
**Художник Е. Фунтова**

**Подписано в печать 23.04. Формат 60×90/16**  
**Бумага типографская № 1. Печать высокая.**  
**Тираж 30 000 экз. Цена договорная. ТМК РФ**



**Ю.ЗЛОТНИКОВ (художник):**

“Существует фантастика российского бытия. По разному она звучит в ”Фаталисте” Лермонтова, в фантазмагии Гоголя, в жутком мире салтыковской Пошехони. Федоров в этом ряду. Его волнует крайняя физиология плоти. А она и будет той удивительной лестницей Иакова, которая так характерна для всего лучшего, что есть в русской литературе.”

**“Независимая газета”:**

“Журнал ”Нева” вынес на свет божий последнее, неизвестное до сих пор произведение серьезной русской литературы.”

**Г.ПОМЕРАНЦ (властитель дум):**

“...эстетика публичного дома привносится в семью (голенькая в чулочках, голенькая в поясочке).”

“Литературная Россия”:  
“/Федоров/ — главный порнограф современности...”